НЁМАН

2/2011
ФЕВРАЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 9.02.2011 г. Формат 70×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,80. Тираж 3531. Заказ 362.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии,
публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



АЛЕКСЕЙ ДУДАРЕВ

Белые Россы

Киноповесть

Зимний лес дремал.

Холмистая прямая дорога рассекала пущу пополам и на горизонте вонзалась в сонное зарево восхода.

Посередине дороги, не торопясь, шел пожилой человек.

Андрей Ходас подбросил в печь дров, посмотрел на огонь и прилег на лежанку.

Рыжие отблески пламени плясали по стене.

На стене в рамке висел портрет отца Федоса Ходаса и под стеклом старые фотографии. Были там и отец с матерью, еще молодые совсем, и сам Андрей со своими братанами Сашкой и Васькой, еще пацанятами, Сашка с автоматом наперевес в солдатской форме, общая фотография со свадьбы Сашки, где Андрей стоит рядом с молодыми вместе со своей бывшей женой Ириной. «Кобра», как ее звал брат Васька.

Тикали старые отцовские часы на стене.

Андрей прикрыл глаза.

И приснился двум людям, находящимся за тысячи километров друг от друга, один и тот же сон:

Бесконечное заснеженное поле.

Из-под снега выступают золотые макушки копен соломы цилиндрической формы.

И на каждой копне по малому ребятенку.

Рябая корова жует солому…

Колодец, из которого струится сизый парок…

И какой-то сумасшедший аист, соорудивший себе гнездо прямо на снегу и беззаботно стоящий в нем, поджав под себя оранжевую правую ногу.

А рядом с аистом стоит очень красивая зрелая женщина, в которой легко можно узнать бывшую жену Андрея, и держит в руках большущий снежок.

И море шумит.

— Андрей… Андрей… — позвала женщина.

И проснулась.

На южном побережье Новой Зеландии шумел океан, а из океана выползал багровый диск солнца.

Мягким колоколом в гостиной пробили часы.

В спальню вошла горничная.

— Доброе утро, леди… Как вы спали?

Горничная отдернула тяжелую бархатную штору, и в спальню хлынуло утро.

— Сана, ты держала когда-нибудь снег в руках? — спросила женщина.

— Нет… — ответила смуглая Сана. — Но думаю, что он холодный и это вредно.

Андрей во сне прошел мимо озябшего аиста, улыбнулся мальчику, который в шортах сидел на копне соломы, погладил корову по спине и зачем-то заглянул в дымящийся колодец.

— Дедуська, дай сладину, — попросил мальчик.

А из колодца послышался глухой голос:

— Андрю-юха-а-а!

Андрей открыл глаза.

Дрова в печи догорали.

— Андрюха! Ходас! — доносилось с улицы.

Андрей подошел к окну, отодвинул занавеску и через заиндевевшее стекло увидел своего бывшего однокашника-односельчанина, а потом и соседа по подъезду Петьку Струка, который безуспешно старался открыть калитку.

— Чего тебе? — спросонья спросил Ходас.

— Чего-чего? В гости пришел… — сообщил Струк. — Здоров! Пенсионеру так крепко дрыхнуть неприлично… Да что это за засов у тебя?

— Сейчас, — Ходас пошел встречать гостя.

Город украшал себя к Новому году.

На Центральной площади уже стоял металлический остов будущей пластмассовой елки.

На улицу Белые Росы падал тихий снег.

Дом № 1 по этой улице переживал свой первый капремонт и был закован в металлические трубчатые леса.

По этим лесам на четвертый этаж с цветами в руке карабкался Артем Ходас, сын Сашки и Верки.

Перекрытия на лесах не везде лежали, и парню приходилось быть местами виртуозом-акробатом и канатоходцем.

В одной из квартир седая старушка на кухне готовила себе кофе.

По лесам мимо ее окна, балансируя, прошел Артем.

Кофе из турки бежал на плиту, а старушка, раскрыв рот, смотрела на незваного гостя за окном.

Артем приложил палец к губам.

Старушка покорно кивнула.

Артем подтянулся и исчез куда-то вверх.

Старушка бросилась к телефону.

Красивая темноволосая Галюня в цветастой пижамке сладко спала в своей комнате.

На город неохотно накатывало зимнее утро.

Мобильный телефон на столике заиграл «грустную канарейку».

Галюня взяла телефон.

— Да... — с закрытыми глазами сказала она.

— Галюня? Это я.

— Чего тебе, Артем?

— Ты не спишь?

— Ну как я могу спать, если с тобой разговариваю? — раздраженно ответила Галюня. — Чего тебе?

— Выгляни из окна на кухне.

— Зачем?

— Ну, я тебя прошу...

— Ой, Тема, ты меня достал...

— Ну, пожалуйста...

— Хорошо...

Галюня лениво выбралась из-под одеяла и, позевывая, пошла на кухню, держа возле уха мобильник.

Машинально включила свет, направилась к окну.

— Ну что? — сказала в мобильник и вдруг в ужасе вскрикнула: — Ой!

Артем висел перед окном кухни, держась правой рукой за перемычку лесов, а левой держал мобильник и букет алых роз.

— Я пришел к тебе с рассветом, рассказать, что солнце встало... — продекламировал он в мобильник.

— Ой, дурр-а-ак! — выдохнула Галюня.

— Ну, а ты меня за это обзываешь как попало...

— Сорвешься ведь!

— Не боись! Гюльчатай, открой окошечко. Окошечко-то открой.

— Больной! — Галюня стала открывать окно. — Я ведь голая могла выйти...

— Кла-а-асс! А чего не вышла?

— Все! Пошел к черту! — Галюня забрала букет и закрыла окно.

Артем, используя все возможности своего лица в артикуляции, промолвил беззвучно через стеклопакет:

— Я... тебя... люблю-у...

Галюня махнула на него букетом, горько вздохнула и вернулась в свою комнату.

— С кем это ты? — спросила из своей комнаты Маруся.

— Да Артем дурью мается... — Галюня положила букет на свой письменный стол, села на кровать и руками обхватила колени.

— Он твой брат, Галюня, — сдавленно промолвила Маруся.

— Я знаю, мама...

Когда Артем проделывал по лесам обратный путь к земле, ему опять пришлось пройти мимо окна старушки.

Испуганная бабуля стояла в своей кухне, вооружившись блестящим кухонным топориком, и готовилась защищать свое имущество до последней капли крови.

Артем улыбнулся, опять приложил палец к губам и по узкой металлической лесенке стал спускаться вниз.

Как только он спрыгнул на землю, во двор дома влетела патрульная милицейская машина и сразу же резко затормозила.

Выбросились все четыре дверцы.

— Стоять!

Артем понял, что приехали за ним.

— Вот старуха Шапокляк! — с досадой промолвил он и задал стрекача в арку.

— Стой!

Началась погоня.

— Раз! Два! Три!

На небольшой спортивной площадке воспитанники младших классов детского дома-интерната делали утреннюю зарядку.

— Раз! Два! Три! — проводил зарядку воспитанник постарше.

Уходя от своих преследователей, Артем перемахнул через ограду спортплощадки детдома, в долю секунды сорвал с себя куртку вместе со свитером и майкой, сунул все это в рыхлый сугроб и, голый до пояса, стал рядом с маленьким Дениской делать зарядку:

— Раз! Два! Три! Раз! Два! Три!

И тут же появились запыхавшиеся стражи порядка:

— Ребята, здесь мужик пробегал?

— В красной куртке? — спросил Дениска.

— Ага!

Артем старательно делал зарядку.

Дениска указал направление милиционерам.

Те убежали.

— Ну, спасибо, друг, — сказал детдомовцу Артем.

— За что они тебя?

— За любовь.

— Не понял.

— Подрастешь — поймешь.

Артем оделся и быстро зашагал во двор соседнего дома.

Возле мусорного бака стоял старый Мишук.

— Уважаемый, — обратился он к Артему. — Дайте пару рубликов… На пузырек не хватает.

— Ты бы лучше просил голодного больного песика дома покормить, — посоветовал ему Артем.

— Так ведь совру…

— А врать не умеешь?

— Не, живу по правде. Так теплее…

— Теперь понятно, почему дошел до жизни такой.

— Дайте рублик…

— На, — Артем дал аж целую десятку. — Купишь себе пузырек, а на остальное купишь еды. Даешь слово?

Мишук молчал.

— Давай слово или гони назад деньги, — строго сказал Артем. — Даешь?

— Даю. А жрачку можно закусью назвать?

— Можно.

— На все остальное куплю закуси.

— Будь здоров.

— Спасибо, уважаемый… С вами Бог.

— Слышь, старик, давай про Господа возле мусорного бачка не вспоминать. О'кей?

— Ес, — тоже по-английски сказал Мишук.

Туман ярам, ярам-даліною,
Туман ярам, ярам-даліною…
За туманам нічога ня відна,
За туманам нічога ня відна.

Над деревней неслась песня.

Ходас и Струк, уже «хорошенькие», сидели за столом и пели.

Со старых фотографий на стариков смотрело ушедшее поколение.

Струк вдруг перестал петь, грустно-грустно посмотрел на Ходаса и по-детски всхлипнул.

— Слышь, Андрюха, возьми меня в батраки. А? В дворники… В садовники… будем вместе жить. Не могу я больше в этой богадельне… Каждый день одно и то же… Одно и то же… «Проходите на завтрак! Проходите на обед! На прогулку! Принимать лекарство…» Это не моги! Это вредно! Тьфу! А что для нас в нашем возрасте полезно? Для нас уже все вредно… Давай еще дербалызнем…

Ходас стал наливать из пузатой бутылки с этикеткой «Белые Росы».

— До краёв! Мне до краёв! — игриво процитировал покойника Тимофея Струк.

— Будь жив, — поднял чарку Андрей.

— Буду.

Чокнулись. Выпили.

Струк закусил колбасой, посмотрел на портрет старого Ходаса на стене, спросил:

— А дядька Федос с какого года?

Андрей на секунду задумался, а потом с удивлением ответил:

— Сто лет в этом году будет… Было бы… Аккурат перед самым Новым годом. 31-го.

— Давай помянем… Моему тоже за девяносто бы стукнуло.

Налили. Помянули. Помолчали. Струк взял в руки бутылку, стал рассматривать золотистое название «Белые Росы» на этикетке.

— Какая деревня была! А, Андрюха? Помнишь? А нас, как баранов, взяли всех и в железобетонный гроб. А мы еще и радовались… Ты радовался?

Андрей промолчал.

— А я радовался, — признался Струк. — А сейчас… Пропади все пропадом! Так я у тебя переночую сегодня… А, Андрюха?

— Ночуй…

— За туманам нічога ня відна,
За тума-анам нічога ня відна…

Сашка сменился с дежурства и шел домой по предновогоднему городу.

Возле магазина «Белые Росы» остановился, достал мобильник, нажал кнопку.

— Я уже домой… В магазине ничего не надо?

Артем увидел себя во сне семилетним пацаном с тяжелым букетом гладиолусов.

Мать его в школу в первый класс собирает.

Рубашка беленькая, ни разу не одеванная, школьная форма синяя, ботинки жмут.

Верка, радостная и красивая, присела возле него, поправляет воротничок, пробует усмирить непокорный вихор на макушке, берет его за руку и выводит из подъезда на улицу. А на улице солнечный потоп, море цветов и пушистых бантов. И все это стекается к школе.

Немного оглушенный, но бодрый, прижимая левой рукой увесистый букет к груди, Артем шагает по бетонной дорожке и слушает наставления мамы Веры.

Верка все говорит, говорит, но Артем ничего не слышит. И вдруг:

— Артем! — донеслось откуда-то сверху.

Артем поворачивает голову вправо и видит, что в школу его ведет за руку не мама, а дочка дяди Васи и тети Маруси Галюня. Только взрослая. Он малый, а она взрослая.

— Артем, — ласково и нежно позвала Галюня, а потом хрипловатым и строгим голосом отца приказала: — Артем! Службу проспишь!

— Ты только поаккуратнее, — донеслись до Артема слова матери.

— Поаккуратнее… — фыркнул Сашка. — Тема!

Артем окончательно проснулся и выскочил из-под одеяла:

— Всем по доброму утру!

— Иди умойся, — сказал Сашка. — Разговор есть.

Сидели на кухне.

Напряженно пили чай.

— Тебе что, девок не хватает? — грубовато спросил Сашка.

— Не понял, — улыбнулся Артем, хотя все прекрасно понял.

— Она твоя сестра! — Сашка старался быть грозным.

— Все люди братья, — улыбнулся Артем.

— Тёма! Я не посмотрю, что ты… самбист-каратист.

— Ремня дашь? Вызову службу спасения. Ибо телесные наказания запрещены законом. А вот браки между родственниками в четвертом колене разрешены во всех цивилизованных странах.

— Ты понимаешь…

— Понимаю. Тетя Маруся пожаловалась маме… Мама! Иди сюда, ты же вчера вечером свои цветики поливала…

На кухню вошла Верка.

— Так вот, тетя Маруся пожаловалась маме, мама — тебе, ну, а ты мне устраиваешь разбор полетов.

— Перестань паясничать! — резко встряла в разговор Верка. — Мы серьезно…

— Куда уж серьезней! Всю жизнь знать, что знаешь, а делать вид, что не знаешь. При этом зная, что все знают, что мы делаем вид, что не знаем… Это даже агенту 007 не под силу. Дядя Вася, братцы мои, тоже знает, что все знают, и делает вид, что…

— Заткнись, щенок! — Сашка попробовал отвесить сыну оплеуху.

Артем, как теннисный мячик, поймал левой рукой правую руку отца. И тут же отпустил ее.

— Извини, батя… Это у меня профессиональный рефлекс. Давай со второй попытки…

И закрыл глаза.

Сашка и Верка стояли над ним.

Артем продолжал говорить, не открывая глаза:

— Жить по правде, какой бы она ни была, — выгоднее. Как говорил Достоевский: должен же в этом доме кто-то сказать правду! Лжи во спасение не бывает. Из дяди Васи всегда делали Иванушку-дурачка, забывая при этом, что дурачок в финале любой сказки всех одурачивает и становится царем.

Артем открыл глаза.

— Это во-первых… — И обратился к отцу: — Что, трепка мне не светит?

— Да пошел ты…

— Минуточку, — Артем вышел из кухни и тут же вернулся и положил перед родителями старую-престарую фотографию: — А вот это во-вторых… Фото первой половины прошлого столетия.

На пожелтевшей фотографии с обожженным уголком, держа велосипед за руль, стояла в полный рост Галюня в белой кофточке, с бусами на шее и в длинной юбке.

— Риторический вопрос: кто это? Риторический ответ: уж точно не моя бабушка Матрена, которую я помню, и не баба Стеша, то бишь твоя мама, папа. Так, ребята, я побежал. На ночь не ждите. Но это, батя, не по девкам… Служба.

Артем чмокнул Верку, вышел в прихожую и вернулся. Указал пальцем на фотографию:

— И, в-третьих… Я ее люблю…

Ушел.

— Мент поганый! — крикнул ему вслед Сашка.

Артем возвратился.

— Я не мент, батя… Я просто помогаю людям чувствовать себя комфортнее в этом несовершенном мире. И хочу оставить своим детям какое-никакое наследство. В отличие от тебя. Все! Ушел!

Дверь хлопнула.

— Вырастила обалдуя! Воспитала! — набросился на жену Сашка.

— А ты его воспитывал?! — огрызнулась Верка, помолчала, взяла в руки фотографию. — Вылитая Галюня… А кто это?

— Киселиха… — буркнул Сашка.

— Какая Киселиха?

— Мать Мишки Киселя… До войны еще…

— А-а-а…

— Бэ-э-э…

Несколько хат исчезающей деревни со всех сторон обступали коттеджи.

Струк ретиво исполнял обязанности дворника во дворе Андрея.

Чистил от снега дорожки.

И даже новую дорожку прочистил от крыльца к старому засохшему дубу без коры, на вершине которого была огромная лохматая шапка пустого гнезда, припорошенная снегом.

Струк отбрасывал снег и пел:

А хто ж ета вядзерца дастане,
А хто ж ета вядзерца дастане…

Появился Андрей. Он нес воду из колодца.

— О, помещик пожаловали, — Струк снял ушанку и поклонился в пояс. — Дорожки чистим-с, барин… Марафет наводит ваш верный холоп…

— Заканчивай, сейчас обедать будем…

— Сей минут! Слышь, Андрюха, а давай вон на ту елку бутылок и консервных банок под Новый год навешаем и захороводим: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла-а-а…»

Андрей молча вошел в хату…

Струк воткнул лопату в сугроб и, задрав голову, стал смотреть на пустующее гнездо аиста на мертвом дереве.

Дверь в сени резко распахнулась, показался Андрей:

— Иди сюда! Тебя по телеку показывают!

— Чего-о?!

Удивленный Струк вбежал в хату.

Андрей не обманул. На экране стареньког телевизора действительно маячила седоусая грустная физиономия Струка.

— …что он страдает провалами памяти, — заканчивала комментировать телеведущая.

— Фигня! — возмутился Струк. — Нету у меня никаких провалов!

— Администрация дома-интерната № 28 обращается с просьбой ко всем, кто знает местопребывание этого человека либо встречал его, позвонить по телефону 1223630 либо 102. А сейчас о погоде…

Андрей грустно смотрел на Струка.

Тот хлопал глазами.

— Ну все, дружок, ты в розыске, — грустно сказал Андрей.

— И что за это будет?

— Посадят.

— За что-о?!

— Ну кто ж так делает! — перестал шутить Андрей. — Они же отвечают за тебя… Как дите малое, честное слово. Я уверен был, что ты всех предупредил.

— Я соседу по палате сказал…

— Что сказал?

— Что пойду к Ходасу.

— А сколько Ходасов у нас в районе?

— Много.

— Так. Сейчас же собирайся и дуй в интернат. Они уже трое суток на ушах стоят.

Струк побледнел. Всхлипнул.

— Я боюсь…

— Чего?

— Не прогоняй меня…

— Да что они, убьют тебя?

— Нет…

— Так чего ты?

— Я, наверное, помру скоро… К земле тянет. В деревню. В Белые Росы… А там… Там хорошо… Там чисто… Там дров не надо… Но так, блин, холодно…

— Навязался ты на мою голову!..

Андрей в сердцах сорвал с аппарата трубку, набрал номер.

— Добрый день… это интернат № 28? Милая, я только что рекламу… по телеку… то есть… это… как его… Ну, пропал у вас кто-то! Да! Струков Петр… Подождите… Как твое отчество?

— Демьяныч… — сказал Струк.

— Петр Демьянович… Нигде я его не встречал. Он у меня живет… то есть, остановился… то есть, ночевал… Тоска на него напала. Вон, плачет даже… Ходас моя фамилия… Андрей Федорович… В деревне живу… Могильно… Да не шучу я! Она в самом деле так называется! Конечно, может… — Андрей сунул трубку Струку. — Вас к телефону!

Струк робко взял трубку.

— Але… Я… А, это ты, Ритуля… Все путем… Одноклассник, друг мой. Нас в армию вместе призывали… Меня на Колыму, а его в Магадан. Матрос он… Да… чувствую себя. Так я ж Котельникову сказал. Ну, загулял… До Нового года… Так сколько там осталось?.. — Струк повернул голову к Андрею: — Спрашивает, а ты готов меня кормить до Нового года?

— Готов…

— Готов, говорит… — сказал в трубку Струк.

Андрей вырвал у него трубку:

— Девушка, завтра я его привезу… Передайте директору, что он жив-здоров, чего и вам желает.

— Я не поеду… — всхлипнул Струк.

Руководитель одной из крупнейших фирм Русаченко вышел из казино в сопровождении директора одного из своих дочерних предприятий, которого непонятно почему все называли детсадовской кличкой Бодя и к которому Русаченко благоволил. Тоже непонятно почему.

«Вышли» это, конечно, громко сказано. Скорее «выплыли» с ощущением неслабой качки.

— Шеф, машину… — махнул рукой таксисту Бодя. — Для шефа, шеф…

— Отбой, — сказал Русаченко. — Я… с народом. Мамаше перед смертью слово дал: раз в месяц с работы и на работу ходить пешком. Или, на худой конец, на общественном транспорте. Чтоб с народом. Понял?

— Не понял… — гласные у Боди почему-то не выговаривались.

— А че ты кривляешься? — возмутился Русаченко.

— Не понял…

— Че под пьяного косишь? Артист… О-ой, — Русаченко провел рукой по лицу. — «Фернет» стопудово лишним был…

— А я… говорил…

— Что? Что ты говорил?

— Не говорил. Слышь, шеф, а про меня этот Пупсик из отдела сбыта эту фондограмму… или как ее… написал… Хочешь, прочту? День рождения был. Клюквенную пили… На стройке у нас. Где наши россы будут… Ну-у… там… коттеджи где… В деревне. Прочту?

— Ну…

Бодя собрался и начал «представление».

— Типа, он говорит, Пупсик, мне:

Давай-ка, Бодя, наливай нам с клюквой!
За деревеньку, что на берегу!
А теперь, типа, я отвечаю:
Я выпью, тяпну, может, даже клюкну
И дербалызну! Если встать смогу!
Опять, типа, он:
Я знал, что ты от друга не отстанешь!
Дай поцелую, Бодя, дорогой,
Но что же делать, если ты не встанешь?
И опять я:

Не встану?! Ну, тогда пойдем домой!

Бодя заржал очень заразительно. Русаченко тоже захохотал.

Смеялись долго. И вдруг Русаченко резко стал серьезным.

— А чего мы ржем?

— Ну, типа, не встану, а домой пойдем…

— Ну и пойдем… Домой…

Галюня возвращалась домой с подработки очень поздно.

В троллейбусе не было никого.

На одной из остановок троллейбус проглотил Русаченко.

Бодю почему-то потянуло в переднюю дверь, которая захлопнулась у него перед носом.

Троллейбус укатил.

— Не понял, — удивился Бодя.

Русаченко тяжело опустился рядом.

Галюня узнала своего шефа и чуть заметно улыбнулась.

Русаченко взглядом перехватил ее улыбку.

— Девушка, а как вас зовут?

Галюня ничего не ответила и отвернулась.

— Го-о-ордая, — зло улыбнулся Русаченко. — А проводить вас можно?

— Нет. Спасибо.

— Нельзя. Хорошо. А вы меня можете проводить?

Галюня посмотрела на пьяного мужчину в упор и ничего не ответила.

— Нехорошо, роднуля. Нехорошо оставлять беспомощного человека в беспомощном состоянии… Значит, никак?

— Никак.

— А за сто евро?

Галюня отвернулась.

— Хорошо. Двести.

— Вы серьезно?

— Абсолютно. И кофе в постель… мой. Вместе с шампанским… И машина утром в любой уголок нашей необъятной Родины… Не согласна? А пятьсот?

— Только деньги вперед.

— Не вопрос.

Русаченко достал из портмоне пять радужных купюр.

— Пересчитай.

Галюня взяла деньги, пересчитала их, переложила в левую руку, а правой отвесила своему шефу звонкую оплеуху.

— Ты что? — засмеялся Русаченко. — Мало, что ли?

— Мало. — Галюня переложила деньги в правую руку, а левой съездила ему еще раз.

— Если мозги отпил, так хоть душу не пропивай. — Скомкала купюры и всунула их в верхний карман пиджака под расстегнутой курткой.

И вышла из троллейбуса.

Троллейбус завыл и покатил дальше по разноцветному городу.

Несколько секунд Русаченко тупо смотрел перед собой, потом достал мобильник, наугад потыкал пальцем по клавишам и сказал радостно:

— Але. А это я номером ошибаюсь… Девушка, меня только что побили… Спасибо. И вас… С наступающим!

Город сиял.

Андрей с большой хозяйственной сумкой шел по предпраздничному городу.

Новогодние елки, мигающие лампочки в витринах, рисованные деды морозы и снегурочки лезли в глаза со всех сторон.

Возле Парка культуры и отдыха Андрею встретилась молодая пара, которая катила перед собой коляску.

В коляске с перебинтованной лапкой, одетый в нарядную собачью жилетку, лежал симпатичный песик.

Андрей даже остановился.

Андрей вошел в здание детского дома, сказал что-то дежурной вахтерше.

Та окликнула одного из воспитанников, который повел Андрея по коридорам.

Снилось черт-те что!

Русаченко спал и видел во сне, что он спит.

У себя дома.

На своей кровати. Сладко спит.

И тут из кухни аист вышел с красными ногами.

Лягушка из пепельницы спрыгнула на пол.

Аист ее долбанул клювом и с удовольствием сожрал, задрав голову к потолку.

С балкона вышел Бодя в пушистой дохе, без штанов и в белых кроссовках.

— Не понял… — сказал он аисту и опять ушел на балкон.

У ног стояла мать-покойница. И плакала.

А возле комода из красного дерева, на котором стоял портрет матери, сидела эта психопатка из троллейбуса.

Она сосредоточенно вязала на спицах детскую пинетку.

Мать поднесла платочек к заплаканным глазам.

Русаченко открыл глаза.

Все исчезло, кроме материнского портрета на комоде.

Ленивый зимний рассвет вползал в комнаты.

На комоде перед портретом матери валялись измятые купюры евро.

В небольшом актовом зале детского дома воспитанники дошкольной группы готовили программу к встрече Нового года.

Песни, танцы, игры.

В зал вошли директор детдома и Андрей. Официантка из столовой на большом подносе несла нарезанный на квадратики сотовый мед и салфетки.

— Елизавета Борисовна, — обратился директор к воспитательнице, — сделайте перерыв…

— Перерыв!

— Здравствуйте, дети!..

— Зра-а-авствуйте!.. — хором ответили малыши.

— А скажите-ка мне, кто это к нам скоро в гости придет?

— Де-ед Моро-оз!

— Правильно. А еще кто?

— Снегурочка.

— Тоже правильно. Так вот, Дед Мороз прислал к нам дедушку Андрея… Помните, он нам яблоки осенью от Деда Мороза привозил…

— Да-а…

— Вот и сейчас он его к нам прислал вместе с гостинцами. Давайте спросим у дедушки Андрея: что ему велел передать нам Дед Мороз?

Андрей вышел вперед и сказал:

— Дед Мороз велел передать вам, чтобы вы хорошо учились, не шалили, слушались своих воспитателей, сказал, что на Новый год придет сам и принесет много гостинцев и подарков… А чтобы вы не заболели к Новому году… Они уже успели покушать?

— Да, Виктор Иванович, мы после обеда.

Андрей повернулся к подносу:

— …чтобы были здоровыми и крепкими, Дедушка Мороз прислал вам вку-усное лекарство… И попросил меня, чтобы я проследил, чтобы вы это лекарство обязательно съели… Ну, кто самый смелый?

— Дедушка Андрей — я! — улыбнулась воспитательница.

— Не-ет, Дед Мороз сказал, что это лекарство только для детишек… Ну…

Подошел щекастый карапуз с кудряшками.

Андрей подал ему соты на салфетке.

— Держи-и… Тебя как звать?

— Анлей Кузинов…

— Те-езка, — Андрей погладил его по кудряшкам.

Воспитательница тут же провела инструктаж, как есть «лекарство».

Следующим подошел стриженый и худющий мальчик с глазами на пол-лица.

Андрей подал ему мед на салфетке, но не погладил.

Тогда пацан наклонил голову, чтобы посланцу Деда Мороза было удобнее.

Андрей понял свое упущение и провел рукой по стриженой голове…

Остальные детдомовцы тоже подходили к Андрею, брали мед и склоняли голову для ласки.

Андрей правой рукой вручал квадратик сотового меда на салфетке, левой гладил.

Что было в его собственных глазах — это надо было видеть…

В кабинете Андрей и директор пили чай с медом.

Хорошо о чем-то говорили.

В это время одна из воспитательниц старалась изо всех сил разнять дерущихся на коридоре двух мальчишек.

— Денис! Прекрати немедленно! Паша! Ты же старше! Что я вам сказала?!

Мальчишки не слушали, «что она им сказала», и продолжали мутузить друг дружку.

Через минуту воспитательница привела Дениса в кабинет директора.

— Вот! — тяжело дыша, сказала она. — Полюбуйтесь, Андрей Федорович, на вашего любимца!

У «любимца» была исцарапана рожа, а под левым глазом занимался фингал.

— Что он натворил? — спросил директор.

— Избил Пашу Коровчука из старшей группы…

— Кто начал?

— Он, — сказала воспитательница. — Чуть глаз не выбил!

— Ты начал? — спросил директор.

— Я, — признался Денис.

— Ну что, Андрей Федорович, — вздохнул директор. — Хорошо, что вы зашли. Разбирайтесь…

— Выходи на коридор, — грозно приказал мальчишке Андрей.

Под лестницей Андрей поставил пацаненка в угол и стал допрашивать:

— Ты чего бандитничаешь?

Денис молчал.

— Я тебя спрашиваю! — повысил голос Андрей.

— Он обзывается.

— Фу ты-ну ты! Обзыва-ается! И за это глаз вышибать?

— За это.

— И кем же он тебя обозвал?

— Не меня. Он мою маму обозвал.

Пауза была. Потом Андрей спросил:

— А что он сказал?

— Я забыл.

— А откуда ты знаешь, что он обозвал?

— А у него глаза были нехорошие. Когда говорил.

— И что, ты всем у кого глаза нехорошие, морду бить собираешься?

— Собираюсь.

— Ух, ты! Дон Кихот нашелся.

— Кто?

— Это я тебя тоже обзываю.

Денис посмотрел на Андрея и улыбнулся.

— Короче, вот что, мужик: запомни раз и навсегда, если двое дерутся, то, значит, оба дураки. Но один из них дурак вдвойне!

На этих словах Андрей прикоснулся указательным пальцем ко лбу мальчика.

— Который? — спросил Денис.

— Тот, кто умнее. На первый раз прощаю. А в следующий раз задам трепку.

Дениска засмеялся.

— Ты чего хихикаешь над старшими?

Дениска достал из кармана измятый листок и протянул его Андрею.

— Это я нарисовал.

На листке была изображена юморная сцена. Бородатый старик лупил ремнем лохматого пацана.

У пацана был раскрыт рот, а из глаз до самого неба фонтанировали слезы.

— В нашей стране, старик, мечты всегда сбываются… — Андрей аккуратно сложил детский рисунок и легонько шлепнул мальчика по макушке.

Русаченко в приемной своего кабинета подписывал бумаги, которые ему подсовывала секретарша Лера, и одновременно разговаривал по мобильнику:

— Да все я понял, дружбан! По-онял! Я просто глупо выгляжу, а так вообще-то, соображаю. У меня тоже мама умерла, но я по этой причине в карманы к друзьям не лазил. Понял? Человек человеку друг, товарищ и брат только до той поры, пока один из человеков свиньей не становится! И тогда уж получается: человек человеку скот!

Русаченко подмахнул последнюю бумажку и вошел в свой кабинет.

Дверь осталась приоткрытой.

— Слухай сюды, как говаривал мой батька. Если до… — Русаченко мельком взглянул на календарь. — Не до Нового года, а до католического Рождества на моем счету денег не будет, я на тебя Чайчица натравлю! Знаешь такого? Он по стоимости адвокат даже не золотой, а бриллиантовый! Будет ездить к тебе в международных вагонах, жить в Президент-отеле. А оплатишь все ты! Как мои судебные издержки. Понял? Он себе бунгало за городом возводит, так что твои бабки ему будут в кайф! Будь здоров.

Русаченко швырнул мобильник на стол и устало выдохнул:
— Урод…

В этот момент в приемную с бумагой в руке вошла Галюня.
Секретарша Лера в это время разговаривала по городскому телефону.
Галюня подошла к двери и осторожно прикрыла ее.
Но Русаченко успел рассмотреть девушку.
Он нажал на какую-то кнопку.
На мониторе появилось изображение приемной.
Галюня передала бумагу Лере и что-то ей объясняла.
Русаченко смотрел.
Потом девушки весело засмеялись.
Русаченко смотрел.
Галюня махнула рукой и вышла из приемной.
Русаченко нажал на следующую кнопку.
На мониторе появился коридор.
По коридору спиной к видеокамере шла Галюня.
Русаченко выключил наблюдение и вызвал секретаршу:
— Лера, зайдите.
Секретарша вошла.
— Слушаю, Сергей Григорьевич.
— Кто сейчас был в приемной?
— Наша сотрудница. Из отдела литографии.
— Давно работает?
— Порядком.
— А почему я ее раньше никогда не видел?
— Не знаю. Она увольняется.
— Пригласите ее.

Когда секретарша вышла, Русаченко включил видеокамеру в отделе литографии.
Галюня сидела уже за своим столом и говорила с кем-то по телефону.
Русаченко смотрел.

Она вошла в кабинет руководителя фирмы с заявлением в руках.
— Здравствуйте, Сергей Григорьевич!
— Здравствуйте, Галина Васильевна… Садитесь.
— Спасибо, я постою, — сказала Галюня и протянула шефу лист.
Русаченко взял его, прочитал.
— А что, вас зарплата не устраивает? — спросил он.
— Устраивает.
— Обидел кто-то?
— Нет.
— Тогда в чем дело?
Галюня молча смотрела на Русаченко.
— Из нашей фирмы, Галина Васильевна, по-английски не уходят. Объяснитесь.
— Я думаю, что это наиболее оптимальный выход после того, что произошло вчера.
— Я вчера и в офисе-то не был. Что тут произошло?
Галюня пристально смотрела в глаза шефу и старалась понять: или он в самом деле ничего не помнит, или играет.

Но взгляд Русаченко был чист и светел.

— Так что тут без меня произошло?

— Я опоздала на работу, — соврала Галюня. — И постоянно опаздываю.

— Всего-то. Ну, это уж пускай Старовойтов с вами воспитательную работу проводит, выговоры объявляет, премий лишает… — Он посмотрел внимательно на Галюню. — Прямо жест гимназистки какой-то… На вас не похоже… А я-то думал…

Русаченко порвал заявление и выбросил его под стол в корзину для мусора.

— Садитесь.

Галюня села.

Русаченко включил селектор:

— Слушаю, — послышался строгий голос.

— Николай Михайлович, ты чего зверствуешь так? Сотрудницу довел, сидит в слезах, увольняться пришла…

Галюня возмущенно встала:

— Сергей Григорьевич!

Русаченко резко махнул рукой.

— Какая сотрудница? — послышалось из селектора.

— Ходас Галина Васильевна.

— А чего это она?

— Да вот жалуется на тебя…

— Я не жалуюсь! — закричала Галюня.

— О, признаться боится. Ты уж как-нибудь с ней поласковей. Ну, подумаешь, опаздывает! В ее возрасте вообще нельзя вовремя приходить. Она что, тебе не нравится?

— Нравится.

— И мне нравится.

Русаченко выключил селектор, широко улыбнулся и сказал:

— Свободны, Галина Васильевна!

Андрей шел мимо спортплощадки.

Детдомовцы гоняли мяч. Один из них был с двумя кровоподтеками под глазами. Как будто в солнцезащитных очках.

— Коровчук! — позвал Андрей.

Мальчик остановился.

— Иди сюда.

Подошел:

— Чё?

— Не чё, а здравствуйте, — строго сказал Андрей.

— Здравствуйте.

— Хочешь меда? — Андрей достал из сумки увесистый сверток.

— Спасибо.

— Держи. Я Денискин дед.

— А чего он… — начал было ершиться Пашка.

— Слушай внимательно. Тебя Пашей зовут?

— Пашей.

— А я дед Андрей. А Дениска мой внук. Так вот, Пашка, не надо его оскорблять. Прошу. А если еще раз попробуешь, я разозлюсь и сделаю с тобой то, что когда-то сделали с Павликом Морозовым.

— А чё с ним сделали?

— Спросишь у воспитательницы. Ты все понял?

— А то!

— Будь здоров.

— Будь здоров.

Мишук вместе с приятелем, таким же, как и он сам, только помоложе, доканчивали «пузырек» в подвале недостроенного дома. На разостланной газете лежала щедрая закусь.

Мишук сдержал слово, данное Артему.

Он рассказывал и плакал:

— Чего ты?

— Ты знаешь, кто у меня папаня? Знаешь?

— Ну?

— Командир ракетно-зенитного катера «Отважный». Капитан второго ранга…

— Помер, что ли?

— Не-е, на пенсии, ты что!

— Так чего ты плачешь?

— А маманя заслуженная артистка… конфедерации. Лауреат.

— Померла?

— Ты что-о-о!

— Так чего ты плачешь?

— Сеструха есть, брательник. У меня куча племянников… Один на Евровидении даже выступал… Живут все вместе под одной крышей. Коттедж в три этажа… Представляешь? Озеро рядом, сосновый лес… Грибов немерено. Дятлы на каждой сосне… Меня ждут.

— Так хорошо же! Чего ты плачешь? Поехал бы к ним…

— А я… — Мишук горько всхлипнул. — Я… я адрес забыл.

Вместе со своими коллегами Артем отрабатывал приемы рукопашного боя в спортзале.

В зал заглянула спортивного вида девушка:

— Артем! Адмирал зовет!

В кабинете его приветствовал Адмирал:

— Привет, Артем. Как жизнь?

— Нормально.

— Когда жениться думаешь?

— Жду благословения.

— Не дают?

— Не дают.

— Ну, ничего… Позже женишься — позже разведешься... Работа есть. С нами связались наши партнеры из Новой Зеландии… В общем, какая-то одинокая ихняя золотая леди летит на личном самолете в Европу… На пару дней задержится у нас. Просят охрану, сопровождение, размещение. Ну и все такое… Справишься один?

— Смотря какая леди.

— Я же сказал, золотая… А вообще-то, и золотая, и платиновая, и бриллиантовая… Наследника мужу не родила, и все миллиарды достались ей одной… Зацени. — Адмирал подал Артему фото.

С фото глянула бывшая жена Андрея Ходаса. Ирина.

Вся большая семья старого Ходаса, за исключением Васьки и детей, сидела за столом на квартире у Васьки. Андрей был за старшего.

— Как там Васька? — спросил он у Маруси, кивнув почему-то на гармошку.

— Ничего вроде… Галюня вчера по телефону с врачом разговаривала… Готовят к операции… К последней…

— Не разговаривает?

— Нет.

— Через столько лет его этот Чернобыль догнал, — вздохнул Сашка. — И на кой черт ему надо было тогда геройствовать? Комсомолец-доброволец…

— Помолчи, умник… — одернул его Андрей. — Не ему, так кому-нибудь другому пришлось бы геройствовать…

— И ради твоей семьи тоже… — добавила Верка.

— Да я что… Я ничего…

— Ну и молчи.

— А что я сказал? Что я сказал? Что вы наезжаете на меня… — стал ершиться Сашка.

— Тихо! — чувствовалось, что Андрей тянет на роль главы рода. — Вот чего я зашел… тридцать первое скоро…

— Ну, — кивнул Сашка. — Новый год…

— Новый го-од… — передразнил его Андрей. — Сколько бы твоему батьке стукнуло, если бы Бог жизни дал?

— Сто, — после небольшой паузы удивленно сказал Сашка. — Точно, сто…

Все с теплыми выражениями на лицах посмотрели на фото возле гармошки, на котором в обнимку стояли Федос с Тимофеем, а у их ног лежал верный Валет.

— И вот чего я подумал… — продолжил Андрей. — Может, соберемся все 31-го у меня на хуторе… Посидим, помянем, поговорим.

— А может, у нас? — предложила Маруся.

— Ага, — съехидничал Андрей. — В ресторан еще пойдем с цыганами. Он в этом каменном мешке и прожил-то без году неделя, так что поминать его тут… — Андрей ухмыльнулся. — Вот судьба у нашей деревни! Снесли, городом сделали, магазин и улицу ею обозвали… Под старость перебрался за город — и тут достали… Коттеджный поселок строят… Опять переселяйся!

— Да пошли ты их! — посоветовал Сашка.

— Послать-то можно, — вздохнул Андрей. — Не пойдут. А знаешь, как этот поселок для крутизны будет называться?

— Ну?

— Белые Россы.

Галюня на работу на этот раз не опоздала, но все-таки сверила свои часы с офисными и вошла в свой отдел.

У нее на столе перед монитором стояла изящная ваза, в которой пылали алые розы.

— Что это за цветы? — спросила у соседки Галюня.

— Уборщица забыла, — хмуро ответила соседка.

— Галка, тебя Русаченко вызывает… — заглянула в кабинет секретарь-референт Лера. — Ой, какие ро-озы!

— Прямо сейчас?

— Угу.

Галюня встала из-за компьютера и пошла по длинному коридору офиса фирмы.

— Здравствуйте, Сергей Григорьевич!

— Здравствуйте, Галина Васильевна. Сегодня не опоздали?..

— Я больше не опаздываю.

— Это обнадеживает. Где собираетесь Новый год встречать?

— Как всегда. В кругу семьи.

— А давайте нарушим традицию. Наши зарубежные партнеры объявили 31-го числа новогодний корпоратив… На Мальдивах… Я вас приглашаю. Встречали когда-нибудь Новый год в купальнике?

Пауза.

— А что, — спросила Галюня, — Лера… не сможет?..

Русаченко тяжело посмотрел на сотрудницу:

— Руководители всех фирм нашего холдинга будут на новогоднем корпоративе со своими женами.

Еще большая пауза, после которой Галюня сказала:

— Сергей Григорьевич, а вам не кажется, что в вашем положении делать мне такое предложение, мягко говоря, некорректно?

— В смысле?

— Вы же знаете: я должна нашей фирме деньги.

— Какие деньги?

— Я взяла ссуду на лечение отца за границей…

— А-а-а… Кстати, как он?

— Готовят к операции.

Пауза.

— Но вы же верите, что мое предложение и ваша ссуда никак не взаимосвязаны.

Галюня посмотрела на шефа и сказала с полуулыбкой:

— Верю…

Шеф тоже улыбнулся.

— Галя, вы вынуждаете меня произносить сакраментальные фразы… Как говаривали в прошлом и позапрошлом веках, у меня по отношению к вам серьезные намерения… Вы мне снитесь. Я не шучу. Раньше мне, кроме матери, никто не снился.

— О-о-о, Сергей Григорьевич, это еще хуже…

— Почему?

— Заклятие на нашем роду лежит… Во всяком случае, на его женской части…

— И что за заклятие?

— Женщины в нашем роду могут рожать только от тех, кого любят… Несколькими поколениями проверено. А я очень детей хочу…

Пауза.

— Убедительнее не скажешь… — вымученно улыбнулся шеф.

— Простите, Сергей Григорьевич…

— За что?

— Я пойду?

— Ради бога…

Галюня подошла к двери, а потом вернулась.

— Сергей Григорьевич, мне, в самом деле, наверное, лучше уволиться.

Русаченко зло сверкнул глазами:

— Еще чего! Проехали и забыли. А если уволитесь, поставите меня в положение слабака и слюнтяя. А я им никогда не был. И потом… Неужели вам ничего от этой жизни не надо? Я бы многое мог вам дать.

— Все настоящее, Сергей Григорьевич, человеку дается бесплатно…

— Вы свободны.

Галюня вышла. Русаченко стал механически пить чай.

В кабинет ворвался исполнительный директор Бодя.

— Шеф, докладываю, — радостно потирая руки, затараторил Бодя. — Исполком прошли… Белые Россы — наши!

— Утвердили?

— Утвердили. Один ветеран-депутат, правда, фордыбачился… Да что так-о-ое! Это историческое название деревни, в городе улица такая есть, магазин, а тут, понимаешь, коттеджный поселок для крутых так называть. А я ему на это: а преемственность? А сохранение традиций? А культурное топонимическое наследие страны? И потом «росы» это не «россы»! В первом случае — природное явление, типа травка под утро потеет, роса! А во втором — народ! Люди! Не малые и не великие, а белые! Чистые, блин, верные, свои! Он: так назовите свой поселок по названию деревни, которую вы сносите. А я: да деревня-то называется Могильно… Папаша, говорю, чтобы жить в поселке с таким названием, надо быть конченым оптимистом… Шеф, а чего это ты?

— Что?

— Как в казино продул…

— Так…

— Хочешь, анекдот расскажу? Полный отпад… Один мужик запал на бабу… Ну, в отруб! А она ни в какую. Он ей и брюлики-шмулики, торты-курорты, парады-серенады, зебру купил, а ей все фиолетово… У мужика короткое замыкание, крыша едет, яйца кипят вкрутую… Решил в наглянку. Прижал ее как-то в темном углу, а она ему: «Мужик, не парься… Трусы с меня ты все равно не снимешь…» Тот: «Почему?..» А она ему… — Бодя захохотал сам: — «Потому что я их не ношу!»

Русаченко выплеснул остаток чая в чашке на сотрудника.

— Ты че? — Бодя подавился своим смехом.

— Извини, старик... — ласково и виновато промолвил Русаченко. — Это очень плохой анекдот…

— Ну… виноват…

— Так что там с поселком?

— Название утвердили… Аборигенов…

— Жителей, — поправил шеф.

— Жителей устроили… Кого куда… Один только старикан кочевряжится… В дом престарелых не хочет… Однокомнатную обещали в городе — ни в какую… Аистов возле хаты пасет на дубе… Цену набивает, наверное… Без аиста он, видите ли, жить не может… Аиста ему подавай!

— Ну так и купи ему хату! С аистом! И пересели его к чертовой матери!

— А если он опять в полный отказняк?

— Ты не знаешь, как это делается?

— Как?

— Сожги его на хрен вместе с дубом и аистом! А потом благотворительную помощь окажем для приобретения жилья.

Вытираясь носовым платком, Бодя вышел в приемную и спросил у секретарши:

— Че это с ним?

Секретарша Лера многозначительно развела руками.

Артем ждал Галюню у здания офиса в своей машине.

— Привет.

— Привет…

— Поехали обедать?..

— Поехали.

Поехали.

— Ты чего такая смурная?

— Шеф предложение сделал.

— Какое?

— Замуж зовет…

— Так чего же ты в осадке?

— Он хороший человек. И по-настоящему влюбился. Я чувствую.

— Так, может, сходи… Я подожду.

— Тема! Я твоя сестра… Все! — сказала Галюня.

— Галюня! Я тебя люблю. Все! — сказал Артем и перешел на шутливый тон. — Ты же знаешь, вся знать в Европе в средние века женились и выходили замуж исключительно за кузенов… От французского — двоюродный…

— Вот поэтому все теперь и вырождаются…

Артем остановил машину.

— Галка…

— Поехали… или я выйду.

Артем молча включил передачу.

— Даже если бы я сошла с ума и… Я же старше тебя!

— Давай выйдем сейчас из машины и у ста человек спросим. И если хоть один из них скажет, что ты старше… Моя бабушка тоже была старше деда Федоса… И тем не менее, как он говаривал: «Без малого пятьдесят годов душа в душу! А вы… любовь-любовь… сю-сю… ля-ля и на развод!» Гены пальцем не сотрешь… А самое главное…

— Я ничего не хочу слушать!

— Самое главное я скажу притчей… На руках у праведника умирал великий грешник… И так страдал, так маялся, что праведник в сострадании вознес молитву ко Всевышнему: «Господи, переложи часть его грехов на меня, грешного». Но явился ангел и сказал Праведнику: «Отзывай назад свою молитву, дурак! У тебя и своих грехов выше крыши…» Мне продолжать?

— Не надо.

В деревне, по соседству с деревней Андрея, Бодя покупал хату.

— Документы в порядке? — спросил он у хозяина.

— Только подписать.

— С сельсоветом все решил?

— Абсолютно.

— Нежданок не будет?

— Обижаешь.

Бодя открыл барсетку и выложил на стол несколько пачек.

— Как договаривались… — Положив на пачки еще несколько купюр, он добавил: — А это на флору и фауну.

— Не понял.

— Пошли во двор.

Вышли.

Бодя подошел к машине, открыл багажник, достал новое велосипедное колесо и большой черный пакет.

— Оплетешь это колесо ветками, хворостом каким… Короче, гнездо сварганишь.

Мужчина засмеялся:

— Зачем?

— Слушай и не перебивай… Сделаешь большущее гнездо… Усёк? Потом… — Бодя задрал голову. — Срежешь верхушку вон на той липе.

— Это тополь.

— Какая разница! Затарабанишь гнездо на верхушку и примостыришь там…

Мужчина продолжал смеяться.

— Ты че ржешь?! — вскипел Бодя. — Я ему, блин, триста баксов на халяву, а он ржет! Повтори, что я сказал!

— Сделать гнездо, затащить на тополь. А за это триста долларов…

— Во-во… И ничего смешного! Если тебе отстегнуть по-крутому, ты и яйцо в этом гнезде снесешь…

Бодя достал из черного мешка большого пластикового аиста и его две ярко-красные тонкие ноги.

Собрал.

— Смонтируешь это чучело в гнезде. Надежно чтоб. Когда заселяться можно?

— Хоть завтра.

— А птица в гнезде когда будет?

— Тоже завтра.

— Заметано.

Бодя захлопнул багажник, сел за руль и укатил.

Струк кормил Валета. И воспитывал его.

— Повезло тебе, мужик… Вон хибара какая просторная… Вагонкой обшита… На войлоке спишь… О, ряху какую отъел… Гла-адкий… А знаешь, сколько твоего брата в городах по мусоркам шастает? В подворотнях ночуют. Под машины попадают. А ты вон и сыт… и пьян…

Валету надоело выслушивать нотации Струка.

Он облизнулся, потянулся и, гремя цепью, залез в свою, в самом деле, шикарную конуру, улегся на войлоке и сладко зевнул.

— О! Кум королю… Не доел даже… И это у тебя-то собачья жизнь? А вот тебя бы в здоровенную конуру… Чтобы справа жил старый Барбос, слева старый Бобик… Сучек мно-о-ого… И все старые, дряхлые… Барбос с утра до ночи рассказывает, как хорошо жилось при царе Горохе, а Бобик все про сучек, все про сучек да про сучек… Тебе хочется поваляться, а тебе на прогулку, тебе жрать не хочется, а тебе в столовую, тебе выпить хочется, а тебя на медосмотр… Ты знаешь, что к тебе никто не придет, а жде-ешь, жде-ешь… Вот, если бы тебе так… А? Ты бы волком взвыл…

Послышался звук подъезжающей машины.

Струк встревоженно поднял голову.

К хате подъезжал Бодя.

— Та-а-ак… — обреченно сказал Струк. — Это, Валет, по мою душу едут… Иди сюда!

Струк вытащил пса из конуры, торопливо снял с него ошейник, схватил Валета за загривок и поволок к калитке.

Валет упирался лапами и визжал.

— Лежать! — приказал Струк.

Валет послушно лег возле калитки.

— Лежать и никого не пускать! — приказал Струк. — Понял?

Валет положил голову на лапы.

Струк засеменил за угол хаты.

Бодя вышел из машины и направился к калитке.

— Хозяин! Хозя-яин!

— Гуа-ав! Ав! — лениво выполнил приказание Струка сытый Валет.

— Ну, че ты, Шарик? — спросил у него Бодя и обворожительно улыбнулся.

Добродушному Валету понравилось, наверное, что его назвали Шариком. Он перестал лаять и завилял хвостом.

— Бездельник! — зло прошептал Струк и посмотрел куда-то вверх.

— Хозя-яин! — Бодя в сопровождении Валета прошелся по двору, взошел на крыльцо и обратился к Валету: — Что он, спит еще?

Бодя открыл дверь в сени.

— Хозяин!

Струк нервно взбирался куда-то по лестнице.

Бодя вышел на крыльцо, поинтересовался у Валета:

— Слышь, Шарик, а твой дед не помер часом?

Валет задрал к небу свою круглую морду и несколько раз пролаял.

Бодя тоже задрал свое круглое лицо к небу и промолвил в крайнем удивлении:

— Опа!

Струк сидел на верхушке мертвого дуба в заснеженном гнезде аиста.

Валет опять облаял Струка.

— Сскотина! — сквозь зубы сказал сверху Струк.

— Не понял! — грозно промолвил Бодя.

— Это я не тебе! Это я этому… шакалу…

— А че ты на Шарика так?

— Валет он.

— Так ты Валет? — спросил у Валета Бодя.

Валет утвердительно гавкнул.

— Слезай, дедунь.

— А мне здесь хорошо.

— Поговорить надо!

— Я и отсюда тебе все скажу… Слухай сюды: если вы попробуете меня забрать отсюда… Я вот прямо из этого гнезда улетаю в жаркие страны!.. Понял? А записку я уже оставил. Там написано, кто довел меня до самоубийства…

— Дед, давай без понтов и фанатизма. Лады? Я задаю вопросы — ты отвечаешь… Думаю, договоримся… Мне доложили, что в дом престарелых ты ни при какой погоде? Да или нет?

— Да, — ответил из гнезда Струк.

— Заметано. В город тоже не хочешь?

— Не хочу.

— Не вопрос. Давай тогда так раскинем колоду: я тебе покупаю хату в соседней деревне… Тут, за леском… Как, блин, она называется… Забываю все…

— Чирино?

— Ну… Покупаю, значит, тебе хату… В этих… Чириках… Со всеми удобствами и с аистом на липе. Оформляем все чин-чинарем на тебя… А ты мне дашь расписку, что отсюда в течение недели съезжаешь. О’кей?

— И все?

— И все.

— А чего это ты такой добрый?

— А я мизантроп.

— Кто-о?

— Ну, типа спонсор…

— Кто-о?

— Тот, кто любит бабло бедным раздавать… на халяву.

— Обманешь?

— Ты че?! — искренне возмутился Бодя. — Честное пионерское. Мамой клянусь и падлой буду… Даже косарь дам на обустройство.

— Чего дашь?

— Тысячу баксов.

— А нашими можешь?

— Не вопрос.

Бодя достал портмоне, отсчитал купюры, помахал ими.

— По сегодняшнему курсу.

— Положи к Валету в будку… Слезу — посчитаю.

Бодя сунул пачку в собачью конуру и достал ручку с блокнотом.

— Для договора купли-продажи нужны фамилия, имя, отчество. Диктуй.

— Струков… — продиктовал сверху Струк.

— Струков, — записал Бодя.

— Петр…

— Петр.

— Демьянович.

— С мягким знаком?

— С мягким.

Бодя записал и громко прочитал:

— Значит, Струков Петр Демьянович. С мягким знаком. Правильно?

— Правильно.

— Я сейчас сгоняю в сельсовет, все оформлю. Через часок буду. Вспрыснем покупочку и по-трезвому все обсудим. Сала отстегнешь?

— Не вопрос!

— С чесночком?..

— Будет.

— Баньку ты топишь?

— Я.

— По-черному?

— По-черному!

— А мне копчик можно будет погреть?

— Ну, а то!

— Заметано. Жди меня, и я вернусь.

— Хорошо.

— Ты ж только смотри шею не сверни, когда слезать будешь, — крикнул Бодя, садясь в машину, — а то хата наследникам достанется!

— Нету у меня наследников, — тихо сказал Струк.

— Ну, а кто мне «с легким паром» скажет?

Бодя укатил.

Струк стал осторожно слезать с дуба.

Слез, подошел к собачьей конуре, сунул в нее руку, достал пачку новеньких крупных купюр, понюхал ее, вытащил одну на выбор, посмотрел на свет. После этого спросил у Валета:

— Ты что-нибудь понимаешь?

Андрей и Маруся сидели в парке на скамейке.

— Прямо не знаю, что делать, Андрюша, — грустно сказала Маруся.

— Пусть Сашка со своим поговорит, по-мужски.

— Говорил. Без толку. Он же весь в деда.

— Знаю, упрямый. Его надо было Федосом назвать, а не Артемом. Прикажи, чтоб держалась от него подальше! Сестра и точка!

— Легко сказать… Она его тоже любит… Я это чувствую. Девке столько лет, красавица. От парней отбоя нет, а она как монашка…

— Тогда ничего не сделаешь. Пусть женятся. Что, таких случаев в жизни не бывает?.. С одной стороны вроде… — Андрей не нашелся, что сказать, и зло выпалил: — А что им, ждать его смерти? Тоже паскудство!

— Ваську это добьет…

Помолчали.

— За все платить надо, — вздохнул Андрей. — За все. Ну, не брат они с сестрой! Все это знали. И батька-покойник знал… Только запретил всем даже думать об этом. Думаю, и Васька это знает… Только знать не хотел, что знает… Что тебе посоветовать… Жизнь все расставит по местам… Приезжайте тридцать первого… Помянем старого Ходаса.

— На кладбище надо бы съездить…

— И на кладбище съездим. Пойду я. Ты Петьку Струкова помнишь?

— Помню. Он в доме престарелых.

— Сбежал. У меня кантуется. Пойду утрясать историю. Бывай.

Андрей ушел.

Маруся тоже медленно пошла по предпраздничному городу.

Остановилась возле церкви, постояла и нерешительно вошла в нее.

Служба уже закончилась, и церковь была пуста.

Маленькая сгорбленная старушка гасила свечи.

Маруся опустилась на колени перед образом Богоматери.

Она не молилась. Просто смотрела на светлый лик.

А Дева Мария, прижимая к груди еще маленького Спасителя, сострадательно смотрела на Марусю.

Бодя и Струк голые вошли в баню.

— У меня пяточный нерв расстроен. С детства в расстройстве, — сообщил Бодя и указал на место чуть ниже спины и чуть выше ягодиц.

— Но пяточный нерв, по идее, должен в пятках находиться, — предположил Струк.

— Это вредный нерв с ответвлениями. У меня сюда ответвление.

— А в другие места бывает?

— Во все бывает… Это вредный нерв.

Бодя улегся на полку.

— Лечим… Кладешь березовый веник на ответвление.

Бодя показал куда.

Струк накрыл веником.

— После этого берешь круглый камень с каменки. Вон тот.

— Горячий же.

— Не рассуждай.

Струк надел перчатки, снял камень и уложил его на веник.

Камень зашипел.

— Прикрывай дубовым!

Из-под веника клубами попер пар.

— У-у-у-у!!! — взвыл Бодя. — Уж я с ней и так, и эдак… Со словами и без слов!!! У-у-ж я с ней… У-у-уж я с ней!

Маленький, словно игрушечный, частный самолет совершил посадку в Национальном аэропорту и стал выруливать на стоянку.

По аэродрому к самолету катила машина представительского класса. Рядом с водителем сидел Артем и разговаривал по мобильному телефону.

— Шеф, забыл спросить, а как к ней обращаться?

— А так и обращайся, — пошутил шеф. — Госпожа золотая леди.

— Может, она баронесса какая? — спросил Артем.

— Нет, она пролетарского происхождения. Зови как хочешь: леди, мадам… миледи… Ду ю андестэнд?

— Йес, сэр!

Ирина вышла из самолета на трап и… остановилась. Закрыла глаза, глубоко вдохнула морозный воздух.

К трапу подкатила машина.

Артем с букетом цветов взбежал по ступенькам и приветствовал зарубежную гостью по-английски:

— Хэлло, миледи! Наша фирма рада приветствовать вас в нашей стране. Как долетели?

— Спасибо, хорошо… — тоже по-английски ответила «миледи», обернулась и что-то сказала темнокожему пилоту.

Тот с улыбкой передал лакированный саквояж Артему.

Поддерживая гостью за руку, Артем свел ее с трапа самолета и усадил на заднее сиденье машины.

Машина неслась в сторону города. По обочинам громоздились бигборды, с которых сытая физиономия Мишки Киселя обещала: «Я вас сделаю счастливыми!»

Кто-то из конкурентов-юмористов зачеркнул слово «счастливыми», а после слова «сделаю» поставил жирный восклицательный знак. «Я вас сделаю!»

Водитель, восхищенно разглядывавший Ирину в зеркало заднего вида, тихо сказал Артему:

— Вот что значит быть миллиардершей… Тетя-то в серьезном возрасте, а как классно выглядит!

— Это оттого, что никогда никого за глаза не обговаривала, — на чистом русском языке сказала Ирина.

У водителя глаза стали квадратными.

Артем зло посмотрел на него, обернулся к даме и автоматически попросил прощения по-английски, тряхнул головой и сказал по-русски:

— Он у нас на стажировке, простите, пожалуйста…

— За что? Хоть и угловатый, но все-таки комплимент.

— Меня Артемом зовут.

— Ирина Владимировна.

— А без отчества можно?

— Можно, — улыбнулась Ирина.

Андрей сидел в одном из кабинетов горисполкома. Рассказывал:

— Я его еще года два назад заприметил… Их тогда в кукольный театр вели… Стоим на красном светофоре, ждем… И они гуськом, как цыплята. Дениска последний, флажок красный держит… Сопли-ивый… Я посмотрел на него, улыбнулся, а он… — у Андрея навернулись слезы на глазах, — тоже посмотрел на меня и просит шепотом: «Дедуська, дай сладину». Шепотом, чтоб воспитательница не услышала. Я в гастроном, шоколадку накупил… И знаю, что не голодные они все, и сладким их кормят… Но ему не сладкое нужно, а сладина!! Той же весной я пасеку завел. Чтоб сладина, значит, была… Постоянно.

Андрей достал из кармана Денискин рисунок.

— О, смотрите, что рисует… Это он… Я знаю! Это он по подзатыльнику от отца тоскует… Отца не было… А он тоскует… А подзатыльник от отца-а… Это… Я знаю… Получал.

— Андрей Федорович, дорогой… У меня даже ком в горле… Честное слово… Но к моему огромному сожалению, мне не только нечем вас порадовать, но даже обнадежить. Все упирается в ваш возраст. Органы опеки и слушать ничего не желают. Законодательство не обойдешь.

— Я помирать не собираюсь. У нас в роду все долгожители по мужской линии.

— Законом четко определена верхняя граница возраста человека, после которой усыновление недопустимо.

— Ну, нельзя усыновить, давайте я его увнучерю… Какая разница? Мог быть у меня такой внук? Мог. Мог остаться без родителей? Мог. И жил бы с дедом…

— Остроумно, забавно и трогательно, но… невозможно.

— Валентин Степанович, я же… Он привык ко мне. И если его кто-то другой заберет… сбежит. Я его знаю. Он шалопут еще тот. Представляете, его мама бросила еще в роддоме, отказалась от него, а он в морду бьет каждому, кто о ней плохое слово скажет.

— Андрей Федорович, я собственного ребенка отдал бы вам со спокойной душой, но… закон есть закон.

— Хренотень это, а не закон.

Машина подъехала к подъезду пятизвездочного отеля «Европа».

Артем выскочил, галантно открыл дверь и подал Ирине руку.

— Я в вашем полном распоряжении, Ирина… Какие у нас планы?

— Через день мне надо быть в Гамбурге. Вы смогли бы сопровождать меня?

— Нет проблем.

— Это буквально туда и обратно.

— Гамбург… — задумчиво проговорил Артем.

— Что, не получается?

— Нет, нет, все в порядке… Ирина Владимировна, а мы смогли бы взять в самолет одну мою знакомую?

— Если у нее все в порядке с паспортом, какие вопросы?

— Понимаете, у нее отец на лечении в одной из клиник Гамбурга. Это и мой дядя тоже…

— Ноу проблем, Артем… А знакомая, выходит, твоя двоюродная сестра?

— Да. Спасибо. Сейчас в отель?

— Мне надо разыскать одного человека, — вместо ответа сказала Ирина.

— Давайте данные. Найдем.

— Ходас Андрей Федорович.

У Артема удивленно вскинулись брови.

— Уже нашли, — сказал он. — Я его племянник.

— Тесен мир… Значит, Артем Васильевич?

— Нет, Александрович… А вы кто?

— Твоя тетя… Несостоявшаяся… Как Андрей… Федорович поживает?

— Нормально. Живет за городом. В лесу. Один.

— А с Василием что случилось?

— Герой Чернобыля.

— Понятно…

Андрей подходил к своему дому по холмистой длинной лесной дороге, которая на горизонте упиралась в освещенные солнцем облака.

Еще издали, со стороны своего подворья, он услышал разухабистую песню:

Ой! Ой! Ой! Ты да душы прыпала,
Ой! Ой! Ой! Ты наша родна сала,
Ой! Ой! Закускі лепшае не маем,
Гэй, налівай, душа спявае!
Ой! Ой! Ой! Ты наша родна сала!
Ой! Ой! Ой! Цябе не будзе мала,
Ой! Ой! З табою наш народ гуляе,
Ой, душа спявае!

Андрей подошел к своей калитке и остановился в крайнем изумлении.

Под навесом баньки был накрыт стол.

Хлеб, сало, огурцы, чеснок, банка маринованных грибов. И аж две бутылки виски. Одна была уже пустая, так как лежала возле сала плашмя.

На скамейке, держа в руке дорогой блестящий мобильник, сидел хорошо одетый, плотный круглолицый молодой мужик и прихлопывал по мобильнику в такт песне.

Валет притоптывал у его ног и пробовал подпевать. Подвывал. Его малость пошатывало.

Довершал картину Струк.

Полураздетый, раскрасневшийся, он лихо выплясывал возле собачьей будки и изо всех сил старался перепеть, а вернее, перекричать того, кто пел в мобильнике:

Ой! Ой! Ой! Ты наша родна сала!
Ой! Ой! Ой! Цябе не будзе мала!
Ой! Ой! З табою наш народ гуляе!
Ой! Душа спявае…

От его распаренной спины клубами валил пар.

— Андрюха-а-а! — узрев приятеля, бросился к нему Струк. — Родной!

Валет радостно тявкнул и нетвердой походкой тоже поплелся к калитке.

Струк сочно расцеловал Андрея, а Валет еще раз тявкнул.

— Андрюх, хочешь узреть счастливого человека? — У Струка от радости и виски даже глаз не было видно. — Хочешь? Совершенно счастливого человека. Хочешь? Смотри!

Струк принял позу манекена.

— Кто это? — кивнул Андрей в сторону Боди.

— Друг, товарищ и брат, — восхищенно сказал Струк. — Вот говорят, что все крутые… тупые и сволочи… Не верь! Не верь, Андрюха. Клевещут… Завистники… Пошли вискаря шандарахнем!

— Это с какой такой радости?

— А я, Андрюха, теперь олигарх. Собственник собственной хаты в Чирино. Так что мы, братан, с тобой соседи! Пошли! С классным мужиком познакомлю. Мизантрёп. О! Я у тебя сальца чуток откроил, грибочков там, огурчиков взял. Не боись! Все будет оплачено… по прейскуранту. Бодя! — позвал Струк. — Иди сюда! Хозяин приехал!

Подошел пьяный Бодя.

— Кто приехал?

— Хозяин…

— А ты кто?

— А я Струк…

— Не понял… — Боде и впрямь трудно было сообразить, и он задал уточняющий вопрос, указав пальцем на хату: — Это чья фазенда?

— Моя, — сказал Андрей.

— Его, — подтвердил Струк.

— А ты кто? — спросил Бодя у Струка.

— Струк я…

— Ты не хозяин?

— Он хозяин!

— А что ты тут делаешь?

— А я…. у него… в примаках живу…

— Но ты же, блин, говорил мне, что в детдом… в смысле, престарелый дом… не поедешь?

— Не поеду. Он мне остохренел за пять годов.

— А зачем я тебе хату в Чириках купил?

— Ты ж добрый. Мизантрёп…

— Я купил, чтобы ты переехал отсюдова!

— Так перееду. Я ж тебе расписку дал.

— Все ясно, — сказал Андрей Струку. — Я тебя на сутки оставил, а ты уже успел мою хату загнать? — А потом обратился к Боде: — От вашей конторы тут уже несколько раз приходили. Я им сказал и тебе повторяю: никуда я отсюда не съеду. Ни за какие деньги.

— Так я ему и денег дал. Тысячу баксов.

— Отдай ему его доллары, — приказал Андрей Струку.

— Никаких он мне долларов не давал, — сказал Струк. — Я валюты в жизни в руках не держал. Перекреститься могу.

Валет неожиданно стал облаивать Бодю. Бодя набросился на Струка.

— Чего ж ты не сказал, что ты не хозяин?!

— А ты у меня спрашивал?

— Нет.

— Все, — сказал Андрей. — Концерт окончен. Отдай все, что взял у него, — приказал он Струку.

Струк без энтузиазма отдал Андрею договор и пачку денег.

Андрей всунул все в руки Боде.

— Пересчитай.

— Слышь, старик, — обратился к нему Бодя. — Может, все-таки с тобой договоримся?

— С наследниками моими будешь договариваться. А пока я жив — здесь будет мой дом, и здесь будет жить мой аист. Гуляй, Вася…

— Бодя, я… Блин, так лажануться…

Зимний день угасал.

Солнце уже скатилось за лес и оттуда своими последними лучами окрашивало в малиновый цвет заснеженное гнездо аиста.

Спал в своей конуре ленивый Валет.

Спал на лежанке подгулявший и несостоявшийся домовладелец Струк.

Старый седой Федос Ходас с портрета смотрел на пылающий в печи огонь.

Андрей лежал на диване и тоже смотрел на огонь.

Машина, на которой Артем встречал Ирину в Национальном аэропорту, с зажженными фарами летела по бесконечной холмистой дороге в сторону хутора Андрея.

С бигбордов сытая рожа Мишки Киселя нагло смотрела на трассу.

«Я вас…», остальное было залеплено снегом.

— Андрей Федорович! — весело сказал Артем, входя в хату. — Подъем! Дед Мороз пришел!

— Здорово, Тёма… Чего это ты на ночь глядя…

— А Дед Мороз только на ночь глядя и приходит. А кто это у тебя?

— Сосед… Еще по Белым Росам. Ты не знаешь.

Струк замычал во сне и повернулся на лежанке.

— Значит так, дядя Андрей… Костюм, галстук, шляпу… И лысину расчесать!

— С чего это вдруг?

— Представительствовать поедем.

— Никуда я не поеду. Выдумал.

— Надо, старче, надо! Если я тебя не доставлю — меня со службы вытурят. Зачем тебе безработный племянник? Давай-ка мыться, бриться, одеваться!

— Да скажи ты толком!

— Не уполномочен. Ну, живо, живо!

Через полчаса тщательно выбритый дядя при полном параде стоял перед зеркалом, а возле него суетился племянник.

— У тебя ж костюм с этикеткой! Ты что, не надевал его ни разу?

— Нет.

— На смерть припас, что ли?

— Ну, а то…

— Дядя Андрей! У тебя, можно сказать, жизнь только-только начинается, а ты… Парфюм какой-нибудь имеется?

— Посмотри в комоде.

Артем открыл верхний ящик комода, достал запечатанную в целлофан красивую коробку.

— Это же я тебе на юбилей дарил! Тоже на смерть бережешь?

Артем лихо вскрыл упаковку и стал обильно орошать Андрея французскими мужскими духами.

— Хватит! Хватит! — защищался Андрей. — Могут подумать, что я балерун какой-нибудь…

Струк проснулся, сел на лежанке и стал наблюдать за превращением своего друга в сельского денди. Он был лохмат и с похмелья.

— Красавец! — подытожил Артем, венчая голову Андрея новенькой шляпой. — Вперед, гламур!

— А вы куда? — хриплым голосом спросил Струк.

— По бабам, — ответил Артем. — На всю ночь.

— Смотри не торгуй здесь больше… — напутствовал Струка Андрей и обратился к Артему: — Представляешь, пока я вчера в город ездил, он мою хату загнал.

— Пошли, пошли. Время — деньги.

— А ты когда вернешься?..

— Он не знает, — ответил Артем.

— А… а ты?

— И я не знаю.

Артем усадил своего дядю в машину, сам сел впереди, хлопнул дверцей.

Машина понеслась по холмистой зимней дороге.

Слева, прыгая по верхушкам сосен, елей и голых берез, бежала полная луна.

Струк вышел на крыльцо.

Лунный свет заливал подворье, заснеженное поле, лес, гнездо аиста.

Звезды на небосклоне дрожали от холода.

Струк подошел к столу возле дуба. На нем так и осталась стоять начатая бутылка виски.

Струк налил себе чарку.

Валет в своей будке подал голос.

— Будь здоров, — сказал ему Струк.

И выпил рюмку.

Луна смеялась.

Машина катила по ночному городу, который был похож на юбилейно-праздничный торт со свечами.

Огни, огни, огни…

Ирина стояла перед большим окном шикарного гостиничного номера-люкс и смотрела на ночной город.

Официантка из ресторана сервировала маленький столик на две персоны.

Подъехали под козырек пятизвездочного отеля «Европа».

Молодой швейцар подбежал и с улыбкой открыл дверцы.

— Добро пожаловать!

Андрей выкарабкался из представительского лимузина. Осмотрелся.

Артем в машине с кем-то разговаривал по телефону.

Из ярко освещенного холла «Европы» вышел очень высокий, плотный парень.

Артем вышел из машины.

— Игорь, — обратился к нему Артем, — проводи, пожалуйста, господина Ходаса в 612-й номер. Его там ждут.

— Я без тебя не пойду, — испугался Андрей.

— Пойдешь, где ты денешься! Только шляпу сними.

Андрей послушно снял шляпу.

— Это мой родной дядя, — сказал Игорю Артем. — Робкий и скромный от природы. Смотри, чтобы его никто не обижал.

— У нас не обижают и не обижаются, — пробасил Игорь. — Пошли, батя.

Андрей обреченно, как некогда сватать Верку за Сашку, побрел за могучим Игорем.

Артем набрал номер на мобильнике.

— Ирина Владимировна, объект на месте. Через пару минут будет. Я, чтобы не смущать его, с вашего позволения пойду. Машина в вашем распоряжении. Если какие вопросы — я на связи. Спасибо. До завтра. Когда вылет? Ясно. Пока-пока.

Артем набрал еще один номер.

— Галка, привет. Завтра во второй половине дня летим к отцу. Будь готова.

Андрей вместе с Игорем поднимался вверх в зеркальном лифте.

Потом шел по мягким коврам шестого VIP-этажа.

Игорь деликатно постучал в дубовую дверь 612-го номера.

— Да! — послышалось из-за двери.

Игорь осторожно приоткрыл дверь и спросил:

— Разрешите?

— Пожалуйста…

— Заходи, батя, — тихо сказал Андрею парень, пропустил его вперед и после этого бесшумно закрыл за собой дверь.

Огромная гостиная люкса была ярко освещена.

Спиной к двери возле большого окна стояла темноволосая женщина в ярком длинном платье. Она медленно-медленно повернулась. Глаза у женщины были влажными.

— Здравствуй…

Андрей ее сразу узнал, но почему-то долго-долго не мог вымолвить:

— Здравствуй… Ира.

Дочь и мать сидели на кухне.

За окном хозяйничала зимняя предновогодняя ночь.

— Он уехал, я осталась одна… — говорила Маруся. — А через пару недель поняла, что не одна… А тут Васька… твой папа… Господи, что я говорю!

— Мама, ты все правильно говоришь, — сказала Галюня.

— Он меня со школы любил…

— Я знаю… Только не любил, мама, а любит.

— Прости… Теперь ты все знаешь.

— А я с детства это знала.

— Кто тебе сказал? Сашка?

— Никто мне ничего не говорил! — вдруг вспылила Галюня, но быстро взяла себя в руки и сказала: — Мама, у нас по женской линии все знахарки… Я, как и ты. Больше сердцем чувствую, чем знаю… Так вот, из всех бабуль в Белых Росах я больше всего любила старую Киселиху… И она при каждой встрече мне конфетки совала…

— Помнишь, как ты ей куклу носила, чтобы папку не обижали?

— Помню… Куклу Люськой звали.

Помолчали.

— Когда вы завтра летите?

— Под вечер.

— На работе отпустят?

— Отпустят, — грустно сказала Галюня.

Сашка и Верка уже легли спать, когда в прихожей щелкнул замок и вошел, стараясь не шуметь, Артем.

Разделся, прошел на кухню.

— Джеймс Бонд явился, — буркнул Сашка.

Верка только вздохнула.

— Пойду поговорю… еще раз. По-мужски.

— Только, я тебя прошу, не ори. Люди спят.

— Когда это я орал?.. У меня голос такой. Спи.

— Борщ в холодильнике. Скажи, чтоб разогрел.

— Хорошо. Спи.

Сашка встал, засунул ноги в тапки и в трусах пошел на кухню.

— Привет… — открывая дверь, сказал он.

— Привет, батя…

— Поговорить надо, — довольно громко, чтобы слышала Верка, сказал Сашка, прикрывая плотно кухонную дверь.

— Давай, — сказал Сашка.

Вместо начала разговора Сашка заговорщицки подмигнул сыну и изобразил пальцами правой руки кружку. Дескать, будешь?

— Давай, — тоже перешел на шепот Артем.

Сашка встал на стул, открыл самый верхний кухонный ящик и достал из его нутра толстую книженцию под названием «Гражданская война и интервенция в СССР».

— Как дежурство прошло? — изображая серьезный «мужской» разговор.

— А я не дежурил сегодня…

— А что делал? — Сашка развернул массивную книгу в сером переплете.

В ней обнаружился тайник: страницы были вырезаны по форме плоского штофа, а в тайнике лежал сам штоф с водкой «Белые Росы».

— Я сегодня встречал богатую клиентку. Между прочим, твою бывшую родственницу, — сказал Артем, доставая рюмки.

— Какую родственницу? И почему только мою, а не твою тоже?

— А я еще не родился, когда она перестала быть нашей родственницей. Это жена дядьки Андрея.

— Кобра? Иди ты! Неужто приехала? — Сашка налил.

— Прилетела. На личном самолете.

— Чего-чего? И что, сама за рулем?

— Да не-ет, у нее пилоты. Ну, давай…

Артем поднял рюмку и… замер.

Сашка тоже замер с рюмкой в руке.

В дверях кухни стояла грозная Верка:

— Огурчиков принести?

Оплывала свеча в стеклянном подсвечнике.

Таял лед в ведерке с шампанским.

За окном погасли огни новогодней иллюминации.

Ирина и Андрей сидели за столиком в номере.

Андрей рассказывал:

— Ну, а потом, когда в стране начался этот бардак, я понял, что места при этом «социализме с нечеловеческим лицом» мне нет и не будет. Квартиру продал, купил себе хату за городом и съехал отсюдова к чертовой матери. Хата есть, пчел развожу, аист во дворе живет…

— А это далеко?

— Да не очень.

— А как деревня называется?

— Могильно.

— Веселое название.

— А сейчас еще веселее! Столичная крутизна это место выкупила, будут строить коттеджный поселок под названием… каким бы ты думала? Белые Россы! Всю деревню уже подкупили, кроме меня.

— Так, может быть, стоит согласиться?

— Аиста жалко…

— Давай выпьем.

— Давай.

Выпили.

— Так что, как видишь, — закусывая, говорил Андрей, — ничего я в жизни не достиг…

— А ты думаешь, я достигла? Кажется,Чехов где-то сказал, что самым естественным содержанием старости должны быть дети… Если нет детей, человек должен занять себя чем-нибудь другим… либо впасть в детство, когда хочется деревца сажать, ордена носить…

— …И разводить аистов… — грустно договорил за нее Андрей.

— Ты семью заводить не пробовал?

— Не-а.

— Зря мы с тобой развелись.

— Наверное…

— А может… — смущенно предложила Ирина, — я вот закрою тут все дела, продавай ты свою хату, да и поедем доживать на Южное полушарие…

— Это куда?

— В Новую Зеландию.

— Море всегда меня угнетало.

— А там не море… Там очень красивое озеро, похожее на наши озера. Викатипу называется. Великана так звали. Мешал людям жить. Ну, люди обозлились и, дождавшись, когда великан уснет, а спал он, как и положено великану, аж целый месяц, обложили его хворостом и подожгли. Великан сгорел, на месте, где он спал, образовалось озеро, а на самом дне озера до сих пор бьется его сердце. И от этого уровень озера то поднимается, то опускается… Поедем? У меня там домик в горах…

— А в качестве кого ты меня приглашаешь? В качестве евнуха?

— Дурак ты…

Андрей вздохнул и грустно продекламировал:

— У крестьянина три сына… младший умный был детина, средний был и так и сяк, старший вовсе был… дурак…

Ирина решительно взяла свой бокал, вылила из него остатки шампанского в ведерко со льдом, откупорила бутылку коньяка, налила сама себе, залихватски выпила и тоном, не терпящим возражений, сказала:

— Поехали!

— Куда? — испугался Андрей.

— Поехали к тебе на хутор! Покажешь своего аиста…

— Аист в командировке… Отгулы взял…

— Поехали…

— У меня там грязно… и неубрано.

— Клопов нету?

— Клопов нет.

Ирина нажала на клавишу мобильника:

— Игорь, машину!

Машина неслась по дороге, которая надвое разрезала залитое лунным светом заснеженное поле.

По всему полю слева и справа из-под снега были видны неубранные осенью валки соломы.

— А я это видела, — прижимаясь плечом к Андрею, сказала Ирина.

— Где ты могла это видеть?

— Во сне… Только на этих стожках еще дети стояли…

Пораженный Андрей уставился на свою бывшую жену.

— Что? — ласково спросила Ирина.

— Мне тоже это снилось…

— Не надо нам было расходиться…

Верка, в самом деле, принесла с балкона соленых огурчиков, поставила на стол, собственноручно налила своим мужикам по второй, решительно закрутила пробку и пошла в спальню.

— Куда ты ее? — попробовал остановить жену Сашка.

— Под подушку.

— А по третьей?

— Экономить надо. Кризис во всем мире.

— Вер…

— Все, я сказала! — Вера закрыла спальню.

— А мы, батя, по половинке. Чтобы и на третью осталось.

— Не могу я. Твой дед Федос завещал нам два «до»…

— Это как?

— «До» краев и «до» дна! — Сашка тяпнул рюмку и захрустел огурчиком.

Артем завет деда проигнорировал и, выпив половинку рюмки, стал хлебать борщ.

Сашка смотрел на сына.

Артем почувствовал его взгляд.

— Батя, — сказал он. — Давай я с тобой по-мужски поговорю. А?

— Валяй.

— Помнишь, ты как-то сон свой рассказывал?

— Какой сон?

— Ну, когда еще молодым был… На Курилах… Когда тебя землетрясением завалило.

— А-а-а, — вспомнил Сашка. — И что?

— Расскажи.

— Ну… — Сашка сморщил лоб, — вроде твоя бабушка Стеша набрала воды из колодца, а мы с Андреем и Васькой пьем из одного ведра… Вода вкусная… Ну, и баба Стеша зовет меня: Сашка-а-а… Я голову поднимаю, а это Верка… Ну, значит, мама наша… И чего? Я про нее тогда и не вспоминал, и не думал ни разу…

— А мне, знаешь, что снится… Мама ведет меня в первый класс. Я маленький… голову поднимаю, а это не мама…

— А кто?

— Угадай с одного раза.

— Давай по третьей, — не стал угадывать Сашка.

Артем пододвинул ему свою рюмку.

— Такими дозами только лекарство пьют, — Сашка воровато глянул еще на один кухонный ящик. — Сейчас мы ету монашку уделаем…

— Батя, я не буду, мне завтра с ранья за руль. А потом за границу.

— А ты чисто символически… — Сашка встал на стул. Стал открывать ящик. — Ведь я же, Зин, не пью один…

— Она тоже у меня под подушкой, — открыв дверь на кухню, сообщила Верка.

— Обложила… — буркнул Сашка.

Когда Андрей и Ирина проезжали через Чирино, Ирина закричала:

— Смотри! Смотри!

— Ни фига себе! — в крайнем удивлении воскликнул водитель.

Андрей через ветровое стекло посмотрел в направлении, куда указывала Ирина.

На фоне лунного диска, на самой вершине озябшего тополя, в заснеженном гнезде, поджав ногу, стоял аист. Это было сооружение, воздвигнутое по указанию Боди.

Машина промчалась мимо.

Андрей резко повернулся и стал смотреть через заднее стекло.

— Полный шиз… — резюмировал он.

Когда машина остановилась возле калитки Андреевой хаты, все трое, и водитель тоже, вылезли из машины и уставились на гнездо на мертвом дубе.

Гнездо было пустое.

— Он же околеет там, — кивнула в сторону Чирино Ирина. — Мороз…

— Ну, не ловить же его нам! — сказал Андрей.

— Все перемешалось на фиг, — сокрушенно вступил в разговор водитель. — В Африке снег, у нас Африка… Аисты с ума посходили… Конец света! Вас ждать?

Андрей и Ирина посмотрели друг на друга.

— Жди, — после небольшой паузы сказала Ирина и первая поднялась на крыльцо.

Андрей пошел следом.

Струк, мирно дремавший на лежаке, был разбужен включенным светом.

— Доброе утро, — приветствовал его Андрей.

— Здорово…

— Здравствуйте, — кивнула ему Ирина.

— Привет… — Струк был несколько удивлен, игриво улыбнулся Андрею: — А я думал, вы схохмили насчет баб…

— А это кто? — спросила у Андрея Ирина.

— Присмотрись…

Ирина стала присматриваться.

Струк прищурился тоже.

— Постой, постой… — Струк расплылся в улыбке, лицо его стало сахарным. — Кобра! Ируня!

— Какая я тебе кобра, Петюня? — узнала также его Ирина.

— Узнала?

— Узнала, Стручок!

— А ты че, вернулась к нему?

— Вернулась.

— Зря.

— Хватит трепаться! — сказал Андрей.

— Да, — спохватился Струк. — Ну, ладно… Загостился я у тебя, Андрюха, а меня дурдом… то бишь мой дом ждет… Пойду я, чтоб вам не мешать…

— Куда ты пойдешь?

— В свое заведение.

— Глянь на часы…

— Ну и что? К утру доберусь.

— Еще окочуришься по дороге, а мне отвечай…

— Так это… Ты с ба… с женщиной… Я — третий лишний… А может, в будку к Валету? А?

Ирина захохотала, достала из сумочки мобильник, нажала на кнопку:

— Игорь, доброй ночи… Я тут близкого родственника своего встретила… Такие обстоятельства, что ему ночевать негде сегодня. Я отправлю его на машине, встреть, пожалуйста, проводи в мой номер… Я только утром буду.

Струк вышел на крыльцо. Андрей и Ирина вышли проводить его.

— Так сказать, бывайте здоровы, живите богато, я тоже… по бабам поехал куда-то!

Он подошел к машине, влез на переднее сиденье, хлопнул дверцей и важно сказал водителю:

— Крути педали…

Водитель окинул взглядом фигуру Струка, опустил стекло и недоверчиво спросил:

— Серьезно?

— Серьезно… — ответила Ирина.

Водитель закрыл стекло, еще раз оглядел Струка и спросил:

— И куда поедем?

— В Европу, — отважно выдохнул Струк.

— Ну, в Европу так в Европу…

Машина укатила в лунную ночь.

Ирина и Андрей молча смотрели на звезды.

Ирина протянула руку и отломила нависшую над скатом крыльца сосульку.

Поднесла ее к губам.

— Помнишь, возле школы было много берез… Весной, когда подмораживало, с них сосульки свисали. Сладенькие-сладенькие… как леденцы… Мы за них дрались даже. А что там сейчас?

— Ледовый дворец.

— Покорми меня чем-нибудь. Я с утра только пью.

— Сало будешь?

— Будешь.

— Грибы? Капусту?

— Будешь.

— Медовуха есть…

— А давай напьемся? А?

Звезды на небе звенели.

В отеле «Европа» водитель сдал Струка дремлющему Игорю.

— Игореха, к тебе… Давай деду ключ.

— А-а-а… Батя, а ключ не у тебя, что ли?

— Не. Во, корочку какую-то хозяйка дала, — Струк показал магнитную карточку. — Пропуск, наверное…

— Это и есть ключ. Пошли.

Игорь повел Струка к лифту. По дороге объяснял:

— Я тебя запускаю на шестой этаж. Выйдешь, сразу направо. 612-й номер. Повтори.

— 612-й, — повторил Струк.

— Вставляешь в прорезь ключ… Вот так вот… чтобы стрелочка сверху была. Понял?

— Понял.

— Загорится зеленая лампочка… Открывай, входи и чувствуй себя как дома.

— Что, и спать можно?

— Все можно.

Струк вошел в лифт.

Игорь нажал на кнопку.

Старика понесло вверх.

Бодя, нетвердо ступая, вышел из 622-го номера гостиницы «Европа» и стал прощаться с зарубежными партнерами своей фирмы.

— Гуд бай, Б-о-одья, — пошатываясь от славянского гостеприимства, чуть выговаривал лысый, маленький и толстенький человечек. — Сэнк ю… Си ю…

— Будь, Рич… — обнял его Бодя. — Ю си… Ту мора.

— О'кей, Бод!

— Все. Иди слип, — Бодя сложил две ладони и положил на них свою круглую голову. — Баю-бай, баю-бай.

— О Ес! Бай-бай! — обрадовался толстячок. — Бай-бай!

— Все, закрывайся.

Бодя пошел по коридору. И тут же остановился.

В конце коридора в замке номера 612 ковырялся тот самый дедуля, для которого он сегодня утром по ошибке купил в д. Чирино хату и с которым выдул почти две бутылки виски.

Мало того, что ковырялся в замке VIP-номера, так еще и приговаривал:

— От, птамать, напридумывали!

Бодя плотно закрыл глаза и сильно потряс головой.

В это время замок у Струка сработал и он вошел в номер.

Когда Бодя открыл глаза, коридор был пуст.

Бодя прошел по коридору, с опаской посмотрел на 612-й номер, прошел 610-й, снова посмотрел на 612-й и убежденно сказал сам себе:

— Пора завязывать…

Закрыв за собой дверь, Струк остолбенел и пару раз порывался вернуться обратно в коридор.

Ему показалось, что с нового железнодорожного вокзала эвакуировали всех людей, а весь вокзал отдали ему одному под ночлег.

Он внимательно осмотрел большую хрустальную люстру, перевел взгляд на магнитную карточку-ключ, которую судорожно сжимал в кулаке и, обратившись к ней, сказал:

— Открывай, входи и чувствуй себя… Чувствую.

Он прошелся по номеру.

— Буржуазизм… Полный буржуазизм.

В нерешительности остановился возле сервированного столика, на котором практически ничего не было тронуто.

Воровато оглянувшись, налил в бокал коньячку, выпил, крякнул, взял бутерброд с черной икрой.

И откинулся на подушки дивана.

В холле Бодя подошел к сонному Игорю.

— Слышь, братан, не мое дело, конечно, но, по-моему, у тебя 612-й на уши ставят.

— В смысле?

— Ну, типа грабят.

— Старичок?

— Старичок.

— Это с моего ведома.

Бодя вышел из холла на морозный воздух и еще раз сказал сам себе:

— Не-е, точняк, надо завязывать…

Ночь плыла над городом.

Ночь плыла над лесом.

Нахальная физиономия Мишки Киселя с бигбордов вдоль трассы грозилась: «Я вас сделаю!»

На спину пластмассового аиста в гнезде падал снежок.

Ласковый красный отсвет плясал в окошке Андреевой хаты.

Андрей и Ирина сидели за столом и говорили, говорили, говорили.

Старый Ходас с портрета ласково смотрел на них.

Охранник Игорь бежал по коридору отеля.

Своей карточкой открыл 612-й номер.

Телевизор в номере работал. Один из ночных каналов показывал концерт народного хора:

> Окрасился месяц багрянцем,
> Где волны шумели у скал…

Струк подпевал:

> Поедем, красотка, кататься,
> Давно я тебя поджидал.

— Дед, угомонись! — шепотом попросил его Игорь. — Ты принца разбудил!

— Какого принца? — испугался Струк.

— Принца Трибудана. Он в соседнем номере живет.

— Ёкарный бабай!

— Ложись спать! Свалился ты на мою голову… — Игорь выключил телевизор и вышел.

Струк робко заглянул в спальню, но войти не отважился.

Почесав затылок, сходил в прихожую, снял с вешалки свое пальто, лег на диван, положив под голову одну из подушек, укрылся пальто и тихо уснул.

Утро всю страну накрыло серебром.

Бодя вошел в дверь скромного особнячка, на котором красовалась вывеска: «Областная коллегия адвокатов. ПРЕЗИДИУМ».

Стоял в пробке на кольцевой дороге и нервно разговаривал с кем-то по мобильнику Русаченко.

Спешили куда-то Сашка и Верка.

Сладко спала на лежанке Ирина.

Андрей осматривал расположенные под навесом на зимовку ульи.

Прыгал, чтобы согреться, возле мусорного бачка Мишук.

К воротам дома-интерната для престарелых № 28 подкатило шикарное представительское авто.

Совершающие утренний моцион пожилые люди удивленно смотрели, как из машины выбирался полупьяный Струк с бутылкой коньяка.

Выбрался, вздохнул и обреченно пошел к зданию.

Бодя стоял «на ковре» перед Русаченко.

Тот хохотал.

— Ну кто же, в натуре, знал, что он — это не он? Старик? Старик. В дом престарелых не хочет? Не хочет. Без аиста жить не может? Не может. На суицид давил, спрыгнуть с дуба грозился. Ну, я чин-чинарем все на него оформил, а тут явился настоящий. Ну и попер меня вместе с договором. Никогда так не лажался…

Шеф перестал смеяться и нажал на кнопку селектора:

— Лера…

— Слушаю, Сергей Григорьевич…

— Лера, передайте по всем отделам, чтобы с Нового года Бородича никто Бодей не называл.

— Хорошо… — засмеялась секретарша.

— Отныне он у нас филантроп.

— Мизантроп… — несмело поправил своего шефа Бодя.

— Короче, спонсор и Дед Мороз в одном лице. Ко мне Ходас просилась?

— Она ждет.

— Закончу с Бородичем — пусть заходит.

— Хорошо, Сергей Григорьевич.

Бодя положил на стол бумагу.

— Что это?

— Договор… на хату… В этих Чириках.

Шеф вздохнул, мельком глянул в договор.

— Ну и что? — сказал он. — Наша фирма совершила продажу своего имущества физическому лицу. Физическое лицо уплатило за стоимость имущества и даже государственную пошлину уплатило.

— Не платил он ничего! И договор у нас… Я уже в областную коллегию к адвокатам сгонял. С самим Чифирьчиком встречался…

— С кем встречался?

— С Чифирьчиком. Это их типа президент… Фамилия у него такая…

— Чайчиц его фамилия, а не Чифирьчик! Он мне только что звонил. Интересовался, как это наш «Агробокс», имея таких припыленных сотрудников, удосуживается успешно работать?

— Почему припыленных?! — возмутился Бодя. — Старикан-то денег не платил!

— Ну и что! В любом суде над нами просто посмеются. Короче, вот что, Бодя, приклей себе бороду, найди этого… — шеф глянул в договор, — Струкова Петра Демьяновича, скажи, что ты Дед Мороз и делаешь ему от нашей фирмы новогодний подарок. Как и обещал.

— Я ему еще и тысячу баксов… обещал.

— Так свои обещания надо выполнять, товарищ филантроп. А пока суть да дело возьми машину и сгоняй в художественную мастерскую на Солнечной. Они нам уже указатель сделали. Сегодня установим. Только смотри не перепутай, Кутузов! Они и для крематория указатель делают.

Бодя вышел из кабинета с договором в руке. Сокрушенно сказал:

— Так, блин, лопухнуться, — и кивнул Галюне: — Заходи.

Галюня вошла в кабинет.

— Здравствуйте, Сергей Григорьевич.

— Здравствуйте Галина Васильевна… Что у вас?

— Отпустите меня, пожалуйста, на два дня за свой счет.

— Перед Новым годом?

— Есть возможность слетать в Гамбург, отца навестить в клинике. Туда и обратно. Частным самолетом.

— Даже так?

— Бывшая жена моего дяди сюда прилетела... А отсюда летит в Гамбург… Пригласила… меня с братом.

— А кто она?

— Я не знаю. С дядей развелась, за кого-то замуж вышла, сейчас вдова…

— Ну, хорошо, летите…

— Спасибо.

Галюня направилась к выходу.

— Галина Васильевна! — окликнул ее шеф.

— Слушаю.

— У нас скоро итоговое заседание Совета директоров. Напишите, пожалуйста, заявление.

— Какое заявление?

— Просьбу, чтобы фирма нашла возможность погасить ссуду, которую вы взяли на лечение отца.

Была пауза.

— Сергей Григорьевич, станьте на мое место. После нашего с вами вчерашнего разговора вы бы написали такое заявление?

Была еще одна пауза. Потом Русаченко сказал:

— Нет.

— Спасибо, — тепло улыбнулась ему Галюня.

— А вот спасибо ваше не принимается.

— Почему?

— Потому что я делаю это не для вас, а для себя.

Восходящее солнце положило один из своих лучей на веки спящей Ирины.

Женщина открыла глаза и сладко потянулась.

Она проснулась на лежанке, укрытая белоснежным одеялом, на такой же белоснежной подушке.

В печи потрескивали дрова.

На дворе блестел под солнцем снег и лениво гавкал сытый Валет.

Со стены на женщину ласково смотрел седой Ходас-старший.

Где-то высоко над деревней летел самолет.

Маленький самолетик легко взмыл в синее небо и взял курс на Европу.

В салоне было только несколько кресел, и от этого он казался очень просторным.

В креслах сидели и оживленно беседовали Ирина, Артем и Галюня.

Смуглая стюардесса разносила кофе.

Сашка возвращался с дежурства.

— Уважаемый, — обратился к нему возле магазина небритый Мишук в потертой кожаной куртке и меховой шапке, — дайте пару рубликов… на пузырек не хватает.

— Ты бы на закуску сначала собрал, а уж потом… на пузырек…

— Ну, дай на закуску, — покорно согласился Мишук.

— На закуску, — буркнул Сашка, достал из кармана всю мелочевку и вручил ее мужику.

— Спасибо, уважаемый. Дай вам Бог здоровья… И вашим близким тоже…

Сашка с грустью посмотрел на грязную тельняшку под курткой у мужика, повернулся и пошел в магазин, но возле самого входа остановился. Повернулся, тихо позвал:

— Мишук?..

Мужчина в куртке повернулся, кивнул утвердительно:

— Мишук.

— Не узнаешь?

Мишук сощурился:

— Не-е…

— А Кунашир помнишь? До Японии доплюнуть можно было!

— Кунашир помню…

— Помнишь, как меня из-под обломков вытаскивал… После землетрясения?

Мишук расцвел весь.

— Сашок! Роднуля моя! Живой?

— Живой! Тебя-то как сюда занесло?

— Носило-носило и занесло!

Подбежали друг к другу, обнялись.

Художественные мастерские постарались на славу.

Указатель был выкован в форме летящего аиста.

Правое крыло венчали пустотелые буквы «Белые», а левое «Россы».

Когда указатель установили, «Белые» оказались на фоне облачка, а «Россы» так и остались на фоне голубого неба.

Все присутствующие зааплодировали.

— Сергей Григорьевич, — обратилась к Русаченко важная персона. — Нет слов… Молодец…

— Стараемся, Антон Миронович, стараемся…

Защелкали фотоаппараты.

Бодя кокнул бутылку шампанского о левое крыло аиста.

— Веруня, я не один, — с порога сообщил жене Сашка. — Проходи, Мишук… Раздевайся.

Вера вышла.

Муж в прихожей помогал какому-то бомжу снимать куртку.

— Знакомься, это Мишук… Мой друг по Курилам… Прошу любить и жаловать…

Верка захлопала глазами.

Сашка сообразил, что «любить и жаловать» его друга жене будет очень непросто, поэтому добавил возвышенно, торжественно и чуть с надрывом:

— Он достал меня после землетрясения из-под обломков дома… Если бы не он, мамуля, не было бы у тебя ни мужа, ни сына…

— Здравствуйте… — ласково поздоровался Мишук.

— Здравствуйте… — вздохнула Верка.

Бодя пришел в дом-интернат для престарелых.

— Бабаня, — обратился он к старушке, которая медленно прогуливалась по вычищенным от снега дорожкам парка. — Старичка одного ищу… Шустренький такой…

— Мы здесь все шустренькие. Как звать?

— Бодя.

— Нету такого старичка.

— Это меня так звать. А его… Демьян, кажется…

— И такого нету.

— С усами еще такими.

— Здесь все с усами. Как звать?

Бодю вдруг осенило, он достал договор и, заглянув в него, радостно промолвил:

— Ну я же говорил — Демьяныч! Струков Петр… Демьяныч.

Старушка иронично посмотрела на него и сказала:

— Шестая палата…

Струк в полной тоске лежал на своей кровати в палате номер шесть.

Сосед, на которого он жаловался Валету и который был похож на жирного кота, смачно вспоминал свою лихую молодость…

— Я студент-практикант, а она, значит, зав. отделением. Фигурка — виолончель… Сверху все что надо, потом вот такая талия и опять… все что надо… Перед обеденным перерывом мне звонит и мур-мур: «Вольдемар Кузьмич, зайдите, пожалуйста, мне надо с вами посоветоваться…» Ну я, натурально, свою диагностику на ключ и к ней в кабинет… И сове-етуемся, сове-е-етуемся, сове-етуемся…

Струк обреченно смотрел в потолок.

— А однажды… — лысый старичок стыдливо засмеялся, прикрывая беззубый рот. — У нее за ширмочкой клиентка заснула… А она про нее забыла… — старик аж зашелся от смеха. — Мы, значит, вовсю советуемся, а та заспанная выходит из-за ширмочки. Что бы-ыло-о!

В дверь стукнули и тут же распахнули ее.

На пороге стоял Бодя в бороде Деда Мороза.

— Вам кого? — спросил сосед.

— Вот я, Дедушка Мороз, — продекламировал Бодя. — Борода из ваты.

— Бодя! — Струк вскочил с кровати.

— Я подарки, блин, принес, друг ты мой горбатый.

— Бодя, — Струк всхлипнул…

— Вставай, Демьяныч! Руководство поручило мне сбацать с тобой «Елочку». Ну, дети! Встали в круг! И-и-и! В лесу родилась елочка… В лесу она росла-а-а…

Струк, его сосед и Бодя взялись за руки и повели хоровод.

По коридору шла директор. Услышала песню и направилась к палате номер шесть.

А в палате номер шесть сосед Струка Вольдемар Кузьмич стоял перед «Дедом Морозом» на табуретке и, прижав правый кулак к сердцу, самозабвенно пел:

Не сравнятся с тобо-ой ни леса, ни моря-а-а,
Ты со мной, мое поле, студит ветер висо-ок.
Здесь Отчизна моя-а, и скажу не тая-а,
Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок.

— Умница, солнышко! — похвалил старика Бодя. — Евровидение отдыхает… — Бодя вручил соседу Струка бутылку виски. — С Новым годом, батя…

— Спасибо, Дедушка Мороз, — прослезился сосед.

— Хороший мальчик… — Бодя погладил его по лысине. — Мы с Демьянычем сейчас линяем отсюдова, а ты скажешь начальству, что я его, типа, забрал…

— И куда это вы его «типа» забрали? — на пороге палаты стояла директор.

— С Новым годом! — приветствовал ее Бодя.

— Взаимно.

— Докладываю. Фирма «Агробокс» реально забирает этого бравого солдата Швейка на поруки. Специально для него приобретены загородная вилла и индивидуальный аист.

— Никуда он не поедет! — грозно заявила директор. — А вы немедленно покиньте территорию дома-интерната. Что это такое? — она указала на бутылку виски.

— Дед Мороз подарил, — испуганно пролепетал сосед.

Директор изъяла виски и кольнула глазами Бодю.

— Я долго буду ждать?

Бодя уже кого-то вызвал по мобильнику.

— Шеф, проблема… На меня наехали и Швейка не отдают… — и спросил у директора: — А ты кто?

— Я — директор.

— Директор, говорит, — сказал в мобильник Бодя и тут же протянул его женщине: — Тебя.

— Чего-о?

— Это, между прочим, Русаченко, — серьезным тоном предупредил Бодя строгую женщину.

Директор тут же схватила мобильник и расцвела, как роза весной.

— Здравствуйте, Сергей Григорьевич! Здравствуйте, дорогой! И вас тоже… Здоровья, любви, а остальное приложится… Спасибо, вашими молитвами… — Директор косо посмотрела на Бодю: — Но вы понимаете, он какой-то странный… ваш сотрудник. Сергей Григорьевич, милый, ну как же я припыленному, как вы говорите, могу доверить пожилого человека? Ну, хорошо, хорошо. Под вашу ответственность. С Новым годом!

Директор вернула телефон Боде и, сохраняя лицо, строго сказала:

— Отпускаю только до третьего числа. На подобные вещи существуют особые процедуры.

И с достоинством ушла, унося с собой реквизированную бутылку виски.

На соседа Струка было жалко смотреть.

— Ша, батяня, — успокоил старика Бодя. — Еще не родился тот человек, чтобы Деда Мороза опустить ниже плинтуса. Зовем Снегурочку… Только вместе. И-и-и…

— Сне-гу-роч-ка! — заблажили все.

— Оп-ля! — Бодя выхватил откуда-то из глубин своего безразмерного пальто еще одну бутылку. — От Снегурочки! С Новым годом!

Ирина сидела в кабинете профессора одной из клиник Гамбурга.

— А вы ему кто? — спросил профессор.

— Я… в общем-то, совершенно посторонний человек. Ну… так, просто давняя знакомая.

— А молодые люди?

— Девушка… родная дочь, а парень… тоже родственник. Близкий…

— Случай уникальный и очень сложный… Не вдаваясь в подробности, хочу сообщить, что три предыдущие операции прошли успешно, а завтра состоится последняя… Самая ответственная и… самая непредсказуемая… Будет применена абсолютно новая разработка… Ноу-хау… нигде в мире еще не применяемая. И если нам будет сопутствовать успех, он очень быстро восстановится и Новый год сможет встретить вне стен клиники.

— А шансы?

— Девяносто на десять.

— Так это же нормально!

— Конечно. Если бы девяносто было на нашей стороне.

Васька лежал в светлой солнечной палате.

Вся голова у него была утыкана разноцветными датчиками.

А Ваське снилось бесконечно широкое замерзшее лесное озеро, малахитовый лед на нем.

И по всему озеру над лунками сидят рыбаки. Их много-много, чуть ли не на каждом метре. Как положено: шубы, шапки, снасти. Только рыбаки-то дети горькие… Ну, по четыре, пять, от силы по шесть лет… Сидят, глупые, и смотрят в круглые луночки…

И это бы еще ничего.

От леса, в который вонзалось замерзшее озеро, шла шеренга косарей.

И по льду что-то косят.

— Взжик! Взжик! Взжик! — поют косы.

А шеренга состояла из Васьки, Сашки, Андрея, батьки Федоса, Тимофея, Струка, Артема, еще кого-то из мужиков.

— Взжик! Взжик! — взмахивают все косами.

Гнездо аиста на льду озера, а в нем озябший аист переминается с ноги на ногу.

Сруб колодца тоже на льду.

Детдомовец тащит салазки по льду.

А в салазках сидит директор детского дома и играет на балалайке.

— Взжик! Взжик! Взжик! — поют косы.

Галюня в легком платьице сидит возле колодца над лункой и удит рыбу.

Подняла голову:

— Папа… Папочка-а-а…

Артем и Галюня сидели возле.

— Папа… — шепнула Галюня. — Папочка-а…

— Галка, не дергай его… Тебе же сказано, он все слышит и воспринимает… Выйди лучше свежего воздуха глотни. А то вон выглядишь, как ночная бабочка после сверхурочной работы.

— Нахал!

— Иди, иди…

Галюня вышла.

Артем долго смотрел на Ваську.

— Дядь Вася, — наконец тихо позвал он, — послушай меня, пожалуйста… Ты лучший из нашего рода… Самый лучший… Ну, деда Федоса давай не обсуждать. Он на особом счету… А после него — ты… И если в моем присутствии про тебя кто-нибудь скажет хоть одно плохое слово — я ему хребет сломаю. Это не по-христиански, конечно, будет, зато по справедливости… Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Помоги мне, пожалуйста. Дед Федос всегда говорил: живите набело, по-человечески… Давай, дядя Вася, набело…

Галюня в наброшенной на плечи шубке гуляла по скверику.

— Твоя дочь не моя сестра… И я ее люблю! И она… нет, она от меня шарахается, как от прокаженного, но не родит она от другого мужика ребенка! И я это знаю, и она это чувствует… Дед Федос все это знал, но молчать всех заставил… Ему под Новый год сто лет исполняется. Соберемся, помянем и за твое здоровье выпьем. Так что ты пока… не помирай. Лады? Дашь дозвол — камень с души у всех снимешь. Не дашь — так тому и быть… Не помирай, ладно?

Галюня гуляла по скверику.

Ирина спросила у профессора:

— Господин Шварц, возможно ли, чтобы те деньги, которые заплачены за операцию, были возвращены родственникам?

— Это исключено.

— Вы, наверное, неправильно меня поняли. Операция будет оплачена. Я готова это сделать хоть сейчас.

— Так в чем вопрос? Передайте деньги родственникам.

— Лучше, если бы они пришли из клиники. Я готова перечислить даже намного больше.

— Ничего не понимаю. О! Это есть загадочный славянский характер и народ.

— Это даже не славянский… В нашей местности есть совсем особый народ.

— Как называвать?

— Белые россы.

— Почему белые?

— Ученые до сих пор к единому мнению не пришли…

— Может быть, что все есть стерильно-стерильно… — улыбнулся профессор. — И отсутствует всякий микроб.

— Наверное…

Ирина, Артем и Галюня стояли возле машины.

— Сегодня какое число? — спросила Ирина.

— Семнадцатое, — сказал Артем.

— Ну, вот что, ребята, — сказала Ирина. — Я остаюсь, а вы летите домой. Билеты уже заказаны и оплачены.

— Ирина Владимировна… — со смущенной укоризной промолвил Артем.

— Это в счет вашего вознаграждения, Артем Александрович…

— Спасибо, — сказала Галюня.

— Будем надеяться, что все будет хорошо, но шансов практически нет… Я поэтому и остаюсь… Чтобы вам потом мороки было меньше. Сейчас в отель, потом в аэропорт… К вечеру будете дома. Готовьтесь к худшему. За деньги можно все купить… кроме любви, здоровья… и детей.

— Спасибо, — сказала Галюня.

Но сесть в машину не успели.

На крыльце клиники появился профессор, держа над головой мобильник:

— Одну минуту!

— Что, к телефону кого-то? — изумился Артем.

Профессор подошел. Мобильник он держал перед собой, как флаг. Сказал:

— Он на короткий момент пришел в себя. Несколько слов сказал. Я успеть записать.

Профессор включил запись…

— Тема, — послышался из динамика трудноузнаваемый, но все-таки Васькин голос, — если ты… ее… обидишь… или… бросишь — убью! Галюня… слушайся а-а… его… — запись оборвалась.

Галюня сорвалась с места и бросилась назад в клинику.

— Позвольте, профессор, — Артем изъял у немца его мобильник, выхватил свой и в несколько секунд перекинул по блютузу запись Васькиного обращения.

Галюня прижалась к руке отца…

На морщинистую ладонь катились слезы.

— Папочка, родной, любимый, единственный… Я тебя никогда не оставлю… Я тебя отмолю… Я тебя… Я тебя…

Из-под сомкнутых ресниц у Васьки выкатилась слеза.

— Здравствуйте! — сказал Андрей Сашке. — Этого еще не хватало!

— Ну, братуха, я тебя прошу… — Сашка был явно сконфужен.

Андрей выглянул в окно.

Возле крыльца стоял уже подстриженный, выбритый и обстиранный Веркой Мишук.

Возле его ног сидел Валет.

— Дружбан это мой… Он меня во время землетрясения на Кунашире…

— Слышал, слышал! — замахал руками Андрей. — У тебя все бомжи в Советском Союзе в дружбанах ходили! И что, они все должны жить на моем хуторе? Чего ты его у себя не оставил?

— Ну прикинь, где? В одной комнате я с Веркой, в другой Артем… На кухне, что ли? Андрюха, он тихий, спокойный, от него маманя в роддоме отказалась, сирота круглый… Помогать тебе по хозяйству будет. И потом… ты со своей Коброй, скорее всего, в Израиль слиняешь… — Сашка показал Ирину на фото. — А человеку…

— Заткнись! — зло оборвал его Андрей. — Охламон…

Мишук на улице медленно развернулся и тихо пошел со двора.

Валет тоже грустно побрел за ним.

Андрей вышел на крыльцо.

Мишук уходил.

— Ты куда пошел?

Мишук повернулся и не ответил.

Валет повернулся и лениво тявкнул.

— Тебя как звать?

— Мишук…

— Заходи… — вздохнул Андрей.

— Уважаемые пассажиры! Через двадцать минут наш самолет приземлится в Национальном аэропорту города Минска… температура воздуха в Минске минус пятнадцать градусов.

Паважаныя пасажыры! Праз двaццаць хвілін наш самалёт зробіць пасадку ў Нацыянальным аэрапорце горада Мінска. Тэмпература паветра ў Мінску мінус пятнаццаць градусаў.

Артем дремал в своем кресле.

Галюня, сложив на груди руки, что-то беззвучно шептала.

Струк с вещами и Мишук без вещей вошли во двор своего нового жилища и стали прокладывать через снег дорогу от калитки до крыльца.

Припорошенный пластмассовый аист стоял в заснеженном гнезде, поджав правую ногу.

На спине у него сидели нахохлившиеся воробьи.

Струк отпер замок. Прошли сени, открыли дверь в хату.

Хата была совершенно пуста.

В углу стояла старенькая кровать.

А посредине белела печка.

На печку был наклеен старый церковный календарь с репродукцией древней иконы Спаса, который грустно-грустно смотрел на стариков.

— Можно, мы тут жить будем? — спросил у него Струк.

К офису фирмы Русаченко подкатил мерседес.

Из машины вышел начальник Артема Адмирал.

— Я к Русаченко, — сказал он охраннику.

— Как прикажете доложить?

— Скажите, что Адмирал приехал.

— Как ваша фамилия?

— Это и есть моя фамилия. Ад-ми-рал.

— Виноват. Сергей Григорьевич, к вам Адмирал, — по громкой связи сообщил охранник.

— Проси, проси…

— Второй этаж. 212-я.

— Спасибо.

— Ка-акие люди! Сколько лет, сколько зим…

Русаченко вышел из-за стола и обнял Адмирала.

— Здравствуй, дорогой… — сказал Адмирал. — Очень рад тебя видеть в добром здравии и благоденствии. Наслышан, наслышан… По телевизору вижу, в газетах читаю. Горжусь.

— Как ты, Сан Саныч?

— Полюса сменил. Раньше защищал наших от вредного влияния их, а сейчас защищаю их от вредного воздействия наших. Международное охранное и сервисное агентство возглавляю.

— Круто.

— Слушай, ты, говорят, коттеджный поселок возводишь?

— Решил хатку на курьих ножках поставить? Поспособствуем и решим.

— Это я не для себя. Одна богатенькая золотая леди уполномочила. Желает приобрести несколько коттеджей под семейные дома для сирот. Видимо, грехи юности замаливает… Кстати, наша землячка, а вон как взлетела. Лучшая леди из всех ледей… Со странностями. На план взглянуть можно?

— Пожалуйста.

Подошли к стене, на которой красовался план с ярко-красной подписью «Белые Россы».

— Дома вот на этом участке хочет приобрести. Там где-то аист живет. Так вот, очень желает, чтобы ты птицу не спугнул, чтобы он и впредь продолжал ей приносить в клюве подкидышей и деток, мамы и папы которых лишены родительских прав.

— Десять миллионов, — тяжело сказал Русаченко. — Долларов. Нет, евро.

У Адмирала глаза стали как блюдечки. Впрочем, он тут же погасил свое удивление и сказал:

— Мое дело предложить, ее — отказаться. Я с твоего позволения, эсэмэсочку сброшу. Пусть решает. Если она сейчас не на приеме у Президента… ответит быстро:

— А что, ее Президент принимает?

— Так она ж золотая леди.

Адмирал набрал цифру и отправил СМС.

— Ну, так рассказывай, как ты, жена, детки, внуки… Нет, на внуков ты не тянешь.

— Я ни на кого не тяну. Ни на внуков, ни на детей, ни на жену.

— До сих пор один?

— Один.

— Смотри, дорогой, может статься так, что все заработанное пойдет на укрепление дружбы между народами.

Пискнул мобильник.

Адмирал открыл текст.

— Что и требовалось доказать… — вздохнул он.

— Меньше не будет, — еще тяжелее сказал Русаченко.

— Она согласна, — сообщил Адмирал. — А с тебя, старик, комиссионные.

Возле калитки Андреевой хаты остановился микроавтобус детского дома.

Директор вышел, открыл дверцу.

— Ну что, Дионисий, выходи… Домой приехали.

Из микроавтобуса вышел светлоокий Дениска с рюкзачком и с полиэтиленовым пакетом.

— Все вещи забрал? Ничего не забыл?

— Не-е.

— Андрей Федорович! — громко позвал Андрея директор.

Андрей вышел на крыльцо.

— Принимайте жителя! Мы с ним так и не определились, кем он будет вам приходиться, сыном или внуком.

— Это как… понимать?..

— Все нормально! — Директор, достал папку с документами. — Ваш вопрос, как говорят бюрократы, решен положительно. Осталось пару подписей поставить.

Мальчишка подошел к Андрею, шмыгнул носом:

— Здоров, батяня…

— Здоров, сына…

Поздоровались.

— Денис, — сказал директор. — Давай вещи и погуляй во дворе… А нам с твоим батей поговорить надо.

Дениска отдал Андрею свои вещи и пошел знакомиться с Валетом.

Андрей и директор вошли в хату.

— Позвонили сверху, — улыбнулся директор, — и сказали, что в нашей стране законы пишутся не для того, чтобы людям жизнь отравлять.

— А как узнали? — Андрей никак не мог в себя прийти.

— Только между нами. Я дал честное слово, которое сейчас подло нарушаю. Хорошая у вас племянница, Андрей Федорович. Поговорила со своим шефом… Я так думаю… Ну, а ее шеф вхож в самые высокие кабинеты. Дальше, как говорится, дело техники. И вот еще что… Только, Андрей Федорович, дайте слово: ни-ко-му… Даете?

— Даю.

— Как мне кажется, вам это надо обязательно знать. Галина Васильевна дала юридически оформленное обязательство, что если с вами, не приведи Господь, что-то случится, Дениса она заберет в свою семью. Тут уже органы опеки и руки подняли.

— Молодец, Галюня, — у Андрея покраснели глаза.

— Только, Андрей Федорович… Я вас прошу…

— Век воли не видать, — поклялся Андрей и провел себе по шее ладонью. — Давай медовухи тяпнем…

— Ну, а что? Повод есть…

Андрей откупорил одну из своих заветных бутылочек, налил, но выпить не успели.

На улице завыл Валет. Завыл тоскливо и протяжно, как по покойнику.

Андрей с директором переглянулись и вышли на крыльцо.

Дениска уже вошел в роль хозяина хутора и первое, что сделал, это выселил Валета из конуры, а сам занял его место.

Валет тоскливым воем жаловался на несправедливость.

— С ума сошел!— совсем неласково набросился на «увнученного» мальчика Андрей. — Сейчас же вылазь оттуда! Посмотри, что ты с курткой сделал! Денис! Ты у меня получишь!

Мальчик засмеялся, состроил рожицу и спрятался в глубине конуры.

Андрей стал выковыривать его оттуда.

Директор детского дома, со стаканом медовухи в руке, смеялся до слез.

Валет лаял.

Мишук вместе со Струком украшали елку возле дуба всем, что подвернулось под руку… Бутылки, пакеты, шарики.

За туманам нічога ня відна,
За туманам нічога ня відна,
Толькі відна дуба зеляного…

В предновогодний вечер в хате Андрея Ходаса было многолюдно. С городской улицы Белые Росы кроме родных пришли все, кто помнил старого Ходаса.

Пришел даже директор детского дома, который привозил сюда увнученного Дениску.

Дениска сидел рядом с Андреем и наворачивал «сладину» — мед в сотах.

Портрет старого Ходаса был снят со стены, водружен на подоконник.

Перед ним горела церковная свеча в стограммовой рюмке с рисом, служившей подсвечником.

Пели, вспоминали. Андрей рассказывал:

— Они же друг без друга жить не могли… Помню, батька каждый день, ка-аждый день ковыляет с утра на шестой этаж. «Куда ты, батя?» — «Пойду гляну, может, уже, Бог дал, окочурился…»

Струк продолжил:

— Андрюха, а ты помнишь… На похоронах что Тимоха отчебучил… Дядьку Федоса хоронят, значит… Ну, там, кто плачет, кто просто так… А Тимоха ходит и всем хвастается: «А ить я его пережил… Повышенное обязательство взял на себя, поднатужилси — и пережил». Ну, все… Гроб уже закрывать надо… Подошел Тимоха прощаться. Ка-а-ак заплачет! И говорит: «Гад ты, Федос! Такую подлянку мне устроил… Сам помер, а мне мучайси тут…» А сам пла-а-ачет! Ему: «С ума сошел! Так на покойника!» От гроба оттаскивают, а он: «Пустити! Я ему все скажу».

Все вспомнили, смеялись. Кто-то сказал:

— Давайте и Тимофея помянем… Хороший был мужик. Пускай лежит свято…

Налили. Не чокаясь, выпили.

Старый Ходас через церковную свечку с улыбкой смотрел с портрета на своих бывших односельчан.

А хто ж ета вядзерца дастане,
А хто ж ета вядзерца дастане,
Той са мною на рушнічок стане,
Той са мною на рушнічок стане.

По темным окнам резануло светом фар.

Послышался звук подъехавшей машины.

— Это твоя Кобра прикатила, — сказал Андрею Струк.

— Глянь, Маруся, — попросил Андрей.

Маруся, сидевшая ближе всех к двери, вышла в сени и тут же возвратилась с новыми гостями.

Это были Русаченко и его верный сотрудник Бодя.

— Здравствуйте, — сказал Русаченко. — С Новым годом!

Все нестройно ответили на поздравление.

Бодя, узрев Струка, расплылся в улыбке.

— Здравствуйте, Сергей Григорьевич, — растерянно поздоровалась с шефом Галюня.

— Я хотел бы поговорить с хозяином, — кивнув Галюне, сказал Русаченко.

— Ну, я хозяин, — жестко промолвил Андрей. — Дальше что?

— Очень приятно, Андрей Федорович… Я генеральный директор фирмы «Агробокс». Зовут меня Русаченко Сергей Григорьевич… Ваша родственница Галина Васильевна у нас работает, — Русаченко улыбнулся Галюне.

— Ну… — еще больше набычился Андрей.

— Решением облисполкома на месте вашей деревни и прилегающей к ней территории за два года будет возведен коттеджный поселок под названием Белые Россы. В связи с этим…

Андрей не дослушал.

— Я вам тысячу раз говорил уже: никуда и ни за какие деньги я отсюда не уеду! И аиста я вам не сдам!!! Хоть убейте!

— Можно? Мне? Договорить? — тяжело спросил Русаченко.

— Что ты, блин, как этот, на фиг? — шикнул на Андрея Бодя.

— Можно? — переспросил Русаченко.

— Пожалуйста…

— Спасибо. Ваше подворье будет сохранено в том виде, в котором оно находится сейчас… Ну, естественно, будут подведены коммуникации, что-то подремонтировано, не нарушая фактуры. Дуб, на котором гнездо, обследуют специалисты, и он будет укреплен, если это необходимо… В общем, ваш дом будет сохранен как памятник нашему патриархальному подворью. И можете мне поверить, я принял это решение не из-за вашей непримиримой позиции… Аист — логотип нашей фирмы. Еще раз всех с Новым годом… До свидания!

Русаченко пошел к двери. Бодя за ним.

— А медовухи выпить слабо? — нашелся Струк. — А? Слабо?

Русаченко обернулся.

— Ну почему же? — улыбнулся он.

— Налей гостю! — зашипел на Андрея Струк. — Что ты, в самом деле, как этот, на фиг?

Бросились за чистой посудой, стали подвигаться, чтобы усадить новых гостей.

— Сергей Григорьевич, вы прямо как Дед Мороз, — сказала Галюня Русаченко. — А почему без Снегурочки?

— Будет и Снегурочка, — пообещал Русаченко и спросил: — А что у вас за торжество? Свадьба?

Он внимательно посмотрел на Галюню.

— Нашему батьке, — сказал Сашка, — сегодня сто лет!

И он кивнул на портрет на подоконнике.

— Ну, тогда за батьку! — предложил Русаченко.

— За батьку!

— За батьку!

Выпили.

— За батьку, Бодя, — автономно наливал Струк, — надо не единожды, а многократно… Тебе сколько?

— А ты че, краев не видишь? — спросил Бодя. — Я, правда, типа завязал. Послезавтра два дня будет, как в рот не беру.

Туман ярам, ярам-даліною…
Туман ярам, ярам-даліною…

Свет фар опять полоснул по окнам.

Подъехала машина. Так как было шумно и весело, на нее никто не обратил внимания.

В хату вошла Ирина.

— С Новым годом!

— О, Снегурочка! — радостно приветствовали ее. — А Дед Мороз где?

— Где Дед Мороз? — спросил у женщины Дениска.

Ирина опешила.

— Чей это мальчик? — спросила она.

— Это мой сын. Денисом зовут, — сказал Андрей.

— Здравствуй, Денис.

— Почему ты без Деда Мороза? — строго спросил мальчик.

— Скоро, скоро он прилетит! А пока просил передать письмо госпоже Марии. Правда, оно на немецком, но, говорит, там разберутся… Читай, Артем! Читай и переводи.

Артем взял письмо и стал читать:

— Уважаемая госпожа Ходас! Сообщаем вам, что наша клиника, в которой находился на излечении ваш муж господин Ходас, от гонорара за свои услуги отказывается. Рады также сообщить, что господин Ходас уже выписан из клиники…

Артем читал дальше, но его уже никто не слышал.

Поднялся такой ор, что погас огонь в печи.

Все бросились целовать Ирину.

Кто до нее не смог добраться, целовались между собой.

— Тихо! — вдруг громко и властно подал голос Русаченко, стукнув ладонью по столу.

Все умолкли.

На улице кто-то играл на гармошке итальянскую народную песню «Грустная канарейка».

И даже не на улице, мелодия лилась откуда-то сверху, как будто с чердака или с крыши.

Все вначале посмотрели на потолок, а потом по одному стали выходить на улицу.

Рогатый месяц заливал своим серебряным светом подворье.

На сухом дубе, в заснеженном гнезде аиста, сидел Васька и весело наяривал на гармошке «Грустную канарейку».

Месяц висел над его головой как нимб.

Началось тако-о-е!

Кто-то хохотал, держась за живот.

Галюня прыгала от радости и от радости же рыдала. Слезы с ее длинных ресниц падали прямо в сугроб.

Струк обнимал Мишука.

Сашка тупо смотрел вверх.

Верка пыталась ему что-то объяснить.

Плакала Маруся.

Бодя достал из кармана ракетницу и пульнул вверх. Ракета взметнулась вверх и опустилась на стожок сена в огороде. Стожок вспыхнул.

Кто-то бросился его тушить.

Короче, всего не опишешь.

Ирина, укрыв сонного Дениску полой своей шубы, сидела на крыльце и наблюдала за тем, как Ваське помогают спускаться с мертвого дуба на землю.

— Теть Ира, а этот шарик всегда там висит?

— Какой шарик?

Дениска указал на луну.

— Это месяц, Дениска…

— И он всегда там висит?

— Всегда. Только иногда в тень прячется…

— В какую тень?

— В нашу тень… Мы живем на Земле, и когда Солнце заходит за нас… вот и получается тень…

— Так он от нас прячется?

— От нас…

— А кто его туда забросил?

В пустой хате перед портретом старого Ходаса догорела свечка.

Легкая извилистая струйка дыма взметнулась к сединам старика на фото.

Начался отсчет второго столетия памяти.

Из телевизора заколотили куранты.

Праздник утром кончился.

И гости разъехались кто куда.

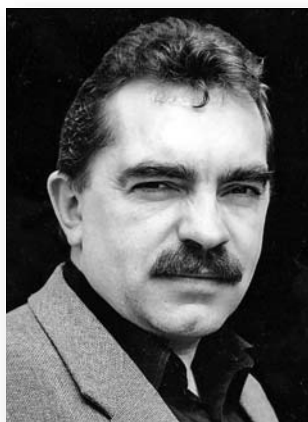
Андрей проводил их и остался вместе с сыном Денискои и со своим верным Валетом стоять на холме, с которого сбегала черная лента асфальтированной дороги.

Она шла вниз, потом взбиралась на холм пониже, опять ныряла куда-то вниз, появлялась опять, опять исчезала и, наконец, уже стремительно и быстро стала подниматься вверх, вверх, вверх… к солнцу…

Солнце поворачивало на лето…

Конец





АЛЕСЬ БАДАК

Где живет чародей?

Эмиграция

1

«Добра на свете больше все ж, чем зла?» —
Сам у себя спросив, засомневался
И понял, что пора тоски пришла.
Душе все меньше светлого тепла…
Ответ лишь в подсознании остался.

Казалось мне, что сам я и творил
Мой белый свет, каким хотел и видел.
Но даже солнце греет до поры.
Друзья — всегда друзья, — они добры,
А сердце одиночеством обидел.

Себе теперь попробуй — объясни,
Как дальше жить, когда все дни что ночи,
Когда так скорбью полнятся они...
Не изменить — винись или вини.
Душа и та непонятого хочет.

2

И вот, когда, казалось, изменить
На этом свете что-то невозможно, —
Как звезды, камни начали светить,
Хрустальный звон возник у тишины,
К ногам дорога подползла тревожно.

Я на нее опасливо ступил
И, сколько мог, даль рассмотреть старался,
Но таинством опять заворожил
Небесный звон, что над дорогой плыл, —
И ничего уже я не боялся.

Я шел по лучшей из моих дорог,
Она меня и с тем, что есть, мирила.
Пыль звездная струилась из-под ног.

Чужой (откуда?) вдруг возник порог –
И женщина мне двери отворила.

Я знать не знал, что красотой звалось,
Весь тайный смысл красы я не изведал.
Той женщине я виден был насквозь...
— В дом заходи.
И я, далекий гость,
Покорно вдруг пошел за нею следом.

Покуда шел, змеей в густой траве
Свернулась вся обратная дорога.
Мгновенье промелькнуло или век?
И мне открылся незнакомый свет,
Что начинался за чужим порогом.

Открылся мир, что неизвестен мне, —
Домашнего уюта и достатка.
Мерцали звезды в солнечном вине,
И я поверил: истина — на дне
Бокала, мною выпитого сладко.

На дне нашел от всех кручин и бед
Спасение — и сразу их лишился.
Затем я свой на нем увидел свет,
Где вечно обездоленный поэт,
И бросил я бокал, чтоб свет разбился.

И возвращаться не хотел назад —
Зачем же в непризнанье возвращаться?
Для веком напридуманных наград?
Кто я теперь? Обычный эмигрант —
Не плотью, а душою в эмиграции.

3

— Вот и твоим теперь стал этот дом, —
С улыбкою мне женщина сказала,
И люди незнакомо о своем
В том доме зашумели… За окном
Пейзаж природа суетно меняла.

Мелькали села или города,
То вдруг сады, то горы пролетали.
— О, милая, а мчимся мы куда?
И молвила мне женщина:
— Туда,
Где мы еще ни разу не бывали.

Жизнь — как монета звонкая... В такой
Не тот богат, кто все берег до стона,
А тот, кто на кон ставил, чтоб игрой

Проверить то, что быть могло судьбой,
Уже, как брату, доверяясь кону.

Летели мы то в гору, то с горы,
И дом крылатый весь тонул в том гуде.
Спросил я:
— Все друзья твои добры?
— Нет времени с друзьями говорить,
А здесь… здесь только нужные нам люди.

И стали появляться, исчезать
Бунтарских дней недолгие герои.
Я их не успевал запоминать,
Чтоб каждому приветствие сказать, —
Все новые являлись, беспокоя.

Я их не понимал, внимая им,
В речах сакраментальность слышал снова.
И женщина сказала:
— Стань таким,
Как все они, и навсегда святым
Пребудет в мыслях каждое их слово.

И я душой и плотью на глазах
Меняться начал, как того хотела,
Но прошлое порою по ночам
Игольчато покалывало в снах…
Я просыпался — и душа болела.

Покой искал я в комнате другой,
Где перья, стол сверкали золотисто.
Небесный дух склонялся надо мной.
Но оставалась вновь душа пустой,
И вновь бумага оставалась чистой.

А вихрь любви, что нами волен был,
Кружил нас над землей, лишь на рассвете,
Когда себя хор ангелов таил,
Сон в свой шатер любимую ловил,
Я чувствовал игольчатые сети.

И вновь скрывался в комнате другой,
Где перья, стол сверкали золотисто.
Небесный дух склонялся надо мной.
Но оставалась вновь душа пустой,
И вновь бумага оставалась чистой.

Я рвал ее в отчаянье и жег,
Я цвет ее возненавидел белый.
Забыть язык родной неужто смог?
Лишь звуки чудные ловил и молк, —
Их понимать душа здесь не умела.

Даль повернулась — вся — ко мне спиной.
И то, что в прошлом навсегда оставил,
Возникло вдруг опять передо мной
Совсем неожидаемой тоской
Уже, казалось, позабытой яви.

4

И стала вновь тоска во мне расти,
И стала вырываться в свет бездонный,
Чтоб весь его, как прежде, обрести.
…И женщине сказал я:
— Отпусти!
Я загостился в этом чудном доме!

— Неуж забыл, — воскликнула она, —
Как бедностью своею был ты битым?!
— Я не забыл, ты не напоминай,
Но хуже, коль душа и невзначай
Становится довольною и сытой.

— Неужто мало нежного тепла?
Иль радости не стало в доме этом?
— Тебя мне жизнь всей щедростью дала,
И не в мечтаньях светлых обрела
Огонь любви — он гибель для поэта.

Пусти меня в мой неспокойный свет,
Далекий от Нью-Йорка и Парижа, —
В свет, где в достатке зла и всяких бед,
Где вечно обездоленный поэт,
В тот свет, который сам я ненавижу.

И может быть, настанет дивный час, —
Границы между странами сотрутся,
Исчезнет все, что разделяет нас, —
И я скажу:
«Я не забыл о Вас
И так хочу в дом Ваш опять вернуться!»

Ах, не вернуться, Бог мой, — пригласить
Букетом роз в корзинке и запиской
Тебя в мой мир — хотя бы погостить,
В мой мир, который сможешь полюбить,—
Тебе он, изменившись, станет близким.

Услышал я задумчивое:
— Что ж,
Я никого неволить здесь не смею.
Сам выбрал то, где лучшего ты ждешь.
Я не виню тебя ни в чем — и все ж
Теперь понять и вовсе не сумею.

5

И я ступил неслышно за порог.
Уже травой пробитая дорога,
Раскатываясь, улеглась у ног.
И что сказать я на прощанье мог,
Когда в словах нет никакого прока?!

Покуда шел, я все смотрел назад,
Как с горизонтом дом ее сливался.
Дорожный прах — в пути случайный брат —
То радостно опережал мой взгляд,
То вновь ко мне печально возвращался.

Перевод с белорусского Изяслава Котлярова.

* * *

Дочери Наташе

Расскажи, где живет чародей,
Где зимою цветы расцветают.
Я чудес не встречал от людей,
Мне так часто чудес не хватает.

Дай мне руку, пойдем мы одни
Далеко или близко — как скажешь.
Ты покажешь, где спят твои сны,
И русалочью заводь покажешь.

Пусть никто не поверит потом,
Мы-то знаем, что все это было.
Но, дочурка, не хвастай пером,
Что Жар-птица тебе обронила.

Перевод с белорусского Геннадия Авласенко.





ВЛАДИМИР САЛАМАХА

...И нет пути чужого

Повесть

1

В тот год рано с Демковских болот улетели журавли в дальние края на зимовку. Их стаи впервые за три военных года шли низко над землей, словно птицы понимали, что лихая пора кончилась и что сейчас по ним уже некому стрелять. Наверное, журавли также чувствовали, что горстка людей, наблюдающая за ними, не только не причинит им вреда, а наоборот, радуется их большим косякам. А были эти косяки большие потому, что лето для птицы выдалось хорошее, молодняк сохранился, набрался силы, вовремя стал на крыло. А раз так, то не страшна первая большая неизведанная дорога, которую первогодки должны запомнить навсегда, чтобы потом много раз за годы, отпущенные природой, вести отсюда в дальние края новые потомства и возвращать их сюда, где впервые увидели свет.

Журавлиные стаи людей радовали: курлычут, летят, ведут вожаки за собой молодняк, значит, жизнь продолжается и в природе, и вообще, есть надежда на добро, что бы ни было на этой земле.

Ранние журавлиные стаи — к ранней зиме. Впрочем, не только птицы предсказывают это: примет тому вокруг множество, стоит только присмотреться, чтобы увидеть их.

Так вот, нынче рано начала желтеть листва. На осинах она зарделась еще в августе и как-то сразу, в одночасье: сегодня вроде еще зеленая, с легким летним желтым оттенком и вдруг, через ночь — огненно-рыжая… Ей бы такой еще постоять, позвенеть, а она, только ветер дохнул, посыпалась на землю. А земля-то после ночи уже холодная, роса тяжелая, тусклая, и даже при солнце не источает она легкого разноцветного свечения, как еще было совсем недавно…

Рано ушли журавли, рано зима легла на землю. Как посыпались однажды утром в последние дни октября мягкие белые хлопья с низкого темного неба, так и сыпались почти непрестанно до середины ноября.

За снегопадами люди не увидели, как почернела, свернулась в трубочки листва на огромных старых дубах у дамбы, как льдом покрылась река, как, очерченный инеем, ближе к деревне приплыл серый горизонт — они как будто не заметили окончания осени и начала зимы.

За две недели снег вырос до крыши перекошенного сарайчика, стоящего на погорке возле Гуды (его собрали из обгоревших бревен мужчины еще летом), сравнялся со свежим срубом колодца среди деревни, укутал-закрыл мягким белым покрывалом чахлый лозняк у реки, навис синеватыми шапками на ветвях огромного старого куста сирени, чернеющего возле единственной уцелевшей здесь в войну хаты.

Снег укрыл почти до половины стога в луге за Дубосной, сровнял реку и мост.

И вдруг прояснилось. Очистилось от низких тяжелых туч небо. Сначала на нем в синих проталинах появилось огромное розовое солнце, покрасовалось с полдня, затем разлило окрест слепящую желтизну, исчезнувшую к вечеру, и вот уже вокруг — сплошная хрустальная синева.

Ветер совсем ослаб, будто выдохся. Снег заблестел, заискрился. В морозном воздухе днем далеко слышались голоса детишек у реки, звонкий лай собаки, скрип полозьев, ржанье лошадей и меканье козы в сарае, скрип старого колодезного журавля над новым срубом…

В воздухе остро запахло дымками.

Такой порой трое гуднянцев Ефим Боровец, Михей Михасев и Николай Безродный собрались ехать на санях за реку за сеном.

Там, за рекой среди леса, в болотах, на твердом (а это хорошие луговины) в конце лета они сметали три стога — на большее не хватило сил и времени — тогда не было возможности завезти сено в деревню: до морозов в луг с конем хода нет, вязнет чуть не до живота, да и человек, когда косил, смотрел, как бы не провалиться, метил стать на кочки, где тверже.

Тогда, в сенокосную пору, лошадей в деревне не было. Это позже, когда война отошла дальше на чужие земли, Михей, бывший партизан — его не взяли на фронт, так как еще не оправился после ранения, полученного, когда наши сюда наступали, — как-то привел из района пару побитых коростой немецких лошадей, которых там дали хозяйству.

Известно, как появились здесь лошади, можно было, когда подмерзла земля, съездить в луга, но мужики этого не сделали. «Хватит им еще времени наработаться, — говорил Ефим, — пусть окрепнут, привыкнут к нам, уж больно деликатные кони…»

Впрочем, те лошади, может, когда-то и были деликатными (тонконогие, высоко несущие головы, они на тяжеловозов не похожи), а как появились здесь, то чуть волочили ноги, перекатывая под шкурой ребра. Да и короста… Для них возле сарая еще с осени мужчины сметали стожок из скошенной возле дамбы травы. Этого сена как раз и хватило до сегодняшнего дня.

Сейчас лошади, не единожды окуренные дымом, очищенные от коросты, были невиданным богатством деревни, где до войны был большой крепкий колхоз.

Учуяв мужчин, шедших к сараю, лошади заржали в тесном, отведенном им стойле.

Ефим, семидесятилетний мужик, длинный, словно жердь, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с сухими жилистыми руками — он шел впереди, — услышав лошадей, весь засиял, выдыхая клубы белого пара, сказал:

— Ого!.. Заждались. Скажи ты, не было б то живое.

Ему никто не ответил, да и говорил Ефим больше сам себе. В руках он держал старую деревянную, с черной трещиной почти по всей длине, лопату, на которой обычно садят в печь хлеб.

Возле сарая Ефим ускорил шаг, снег под его сапогами заскрипел както по-особенному жестко, будто толченое стекло, — и вдруг остановился, закашлялся, воткнул лопату в сугроб. Минуту постоял в каком-то одному ему известном раздумье, затем быстро потер красные руки, встряхнул плечами, словно молодой, схватил лопату и начал отбрасывать снег, засыпавший за ночь до половины ворота.

— Скажи ты, дядя, — запрыгал рядом с ним на деревяшке Николай, наблюдая, как Ефим ловко орудует лопатой, отбрасывая большие снеговые шапки, — снег-то какой. Я что-то не могу припомнить, когда такая зима была.

Николай стучал протезом по снегу, оставляя в нем выбоины, казалось, что эта деревянная нога больно втыкается ему выше колена в живое, поэтому он и прыгает.

— Может, когда и была, — сказал старик, на минуту остановившись, чтобы передохнуть. — Только и я не помню такой зимы, врать не буду.

Сказав это, Ефим вновь взялся за лопату.

Он, Ефим Боровец, сейчас был самым пожилым из гуднянцев, которым летом сорок третьего года удалось спастись от гибели, когда немцы сожгли деревню. Тогда мало кто избежал смерти: несколько женщин и детишек на рассвете пошли в лес, чтобы насобирать малины, а потом обменять ее на соль в Барвицком гарнизоне. Потом эту соль Ефим должен был отнести партизанам, лагерь которых стоял в Демковских болотах. Немцы же на деревню налетели позже, часов в семь утра, ягодников перехватить им не удалось.

И еще живым из стариков остался Иосиф Кучинский. Так как тому было не спастись? Его сын Стас снюхался с немцами с начала оккупации и служил им.

Правда, за неделю до того страшного дня Иосиф, вернувшись от сына из гарнизона, говорил, что, наверное, надо людям уйти в лес, что-то немцы уж очень заворошились, кто знает, что задумали…

— Слышит собака погибель, ластится, — бросил кто-то из деревенских, стоявших тогда на улице.

— Почему это собака? — повернулся на голос Иосиф. — Я никому ничего плохого не сделал.

Ефим тогда и выдал ему:

— А потому, что скулишь. Знаешь, что наши немца хорошо бьют, что скоро вызволят нас и землю нашу, вот и трясешься, словно собачий хвост.

— А ты-то откуда знаешь, что бьют?

— Слухом земля полнится. Добрые люди говорят.

— Это какие такие добрые люди? — спросил Иосиф, посматривая из-под редких, будто выщипанных, рыжих бровей.

— Так я тебе и сказал! — вызывающе усмехнулся Ефим. — Может, шепнуть кому хочешь? Смотри, не успеешь…

Все, кто был здесь, на улице, посматривали то на Ефима, то на Иосифа. А Ефим разошелся, с каждым словом все ближе и ближе подступал к Иосифу. Иосиф тем временем сжался, словно ожидая удара, сказал:

— Зря ты так, Ефимка. Может, Стас и волколак. А я при чем?

— Как при чем? Корень-то твой!

— Что правда, то правда, — словно сдался Иосиф. — Этого не отрубишь… Но было же время, люди знают, я по углам не прятался.

Толстые синеватые Иосифовы губы дрожали, он старался смотреть мимо людей. На мгновение Ефиму даже стало его жаль. Но сейчас, при людях, он не мог себе позволить пожалеть человека, с которым когда-то дружил. Впрочем, не мог позволить себе этого и по иной причине: Иосиф не первый раз прилюдно козырял своим былым: словно набрасывал на весы хорошее и плохое. И если хорошее — свое, то плохое — сыново. Все знали, что Иосиф зла людям не делал.

— Былое — не стена, не спрячешься за ним, — сказал Ефим. — Было — сплыло, словно вода в реке. Ты о сегодняшнем думай.

— Я перед Богом чист!

— Вот ему ты и скажешь, когда час пробьет, — холодно, одними глазами усмехнулся Ефим. — Не с ним живешь. Я такой же, как и ты, старый человек, может быть, также одной ногой стою уже там, на краю жизни. Но нет его, Бога. У немцев на пряжках написано «С нами Бог». А что творят?.. Среди людей живем, на человеческом языке говорим, перед людьми и будем ответ держать… Смотри, попробуй только выдать…

— Это хорошо, что снега столько насыпало, — сказал Ефим. Он закончил работу, поставил лопату к стене. Высокий, ровный, с седой, лоточком, заинелой вокруг беззубого рта бородой, с маленькими острыми глазами и впалыми щеками, он посмотрел вокруг и добавил: — Мое вам слово, если к весне разживемся семенами да засеем клинок на взгорье у дамбы, осенью с хлебом будем. А летом как-нибудь перебьемся: щавелек, ягода, гриб. Смотришь, что-нибудь власть подбросит. А уж на зиму хлебушек свой нужен, без него никак нельзя.

— Далеко идешь, а под ноги смотри, — сказал Николай. — Здесь хотя бы о сегодняшнем дне думать. Еще и к стожкам не подобрались, а ты, дядя, нас уже невзращенным хлебушком кормишь.

— Тоже мне забота — стожки, — бросил Ефим. — Снег держится крепко, хоть ты его пешней долбай. Да, уже надо сено свозить, лошади мох со стены повыскубали, солому с крыши таскают. А там, в лугах, не сено — чай!

— Снег, снег, — вклинился в разговор Михей, — вот как накатится паводок, так будет тебе снег!

— Это почему же? — спросил Николай. — А дамба зачем? Как накатится вода, так и откатится.

Ефим не стал слушать дальше, ткнул руку в карман брюк, отбросил полу длинной шинели, достал ключ, сбил рукавицей снег со ржавого тяжелого замка, отомкнул его.

В сарае пахло прелью, было полутемно. В дальнем от двери левом углу слабо вырисовывалась загородка, по стене скользнули две длинные тени, подались к людям.

Здесь, в сарае, Николаева деревяшка громко стучала об окаменевшую землю. Ефим от угнетающего звука, отражающегося от намерзших стен, болезненно сжался — он не мог спокойно смотреть на этого молодого, еще, как говорят, при полной силе, но изуродованного человека. И чтобы не думать об этом, старик поспешил к стойлу, ласково погладил шею сначала одной лошади, затем другой и, словно кони понимали его, сказал:

— Терпите, терпите, был бы хлебушек у меня, последний бы вам дал…

Лошади стригли ушами, мусолили влажными губами рукава его немецкой шинели, фыркали и, казалось, в самом деле понимали старика, прощали ему то, что пришел без гостинца.

Ефим снял оброть, висевшую на гвозде, торчащем в стене, бережно надел ее на вороного, вывел из стойла. Белого он оставил на месте, тот заржал, начал тревожно ходить из угла в угол.

— Ишь ты его, — сказал Михей, — манежится, скотина деликатная, офицер, не иначе, на ней красовался. Я, когда вел его из района, изрядно намаялся с ним. Так и норовил цапнуть меня за плечо. Но не тут-то было: пару раз перетянул розгой по спине, так приутих.

— Ну и дурак, — незло бросил Ефим, — это же животное, спрос с него какой? Ему ласка нужна. Ты ему доброе слово в ухо вложи, прислушается да уразумеет, с чем ты пришел. А ты знай розгой… Конечно, коня накорми, досмотри, а потом уж — в работу. Не зря сказывают, дескать, без работы кони… — он на мгновение запнулся, подыскивая слово, выпалил: — падают, от что!

Мужики поняли его, заулыбались. А Ефим продолжал:

— Лошади все равно, что немца возить, что тебя. Она же не разбирает. Она знает одно: хозяина. А хозяева меняются, но конь привыкает быстро, если ты его рукой ласковой да словом мягким. Ну и конечно, если у тебя в кармане ломоть хлебушка… Впрочем, что я вам говорю? Без работы лошадь портится. Сегодня — вороного в работу, завтра — белого. И этому, и тому делов хватит. А ты розгой! Тебя бы самого.

Михей, услышав такое, растерянно пожал плечами, дескать, я — что?.. Я — так, в шутку. Но никто его шутки не понял…

На дворе Ефим молча, думая о чем-то своем, набросил коню хомут, подвел к саням, стоящим у стены сарая, запряг.

Все это время, когда запрягал, лошадь слушалась его, стригла ушами. Ефим говорил ей известные в таких случаях слова: «Стоять… Задом… Голову… Тпр-ру-у…» и мужиков, наблюдавших за этим, словно осенило: «Да он же русский, не немец, конь-то!..»

Это произнес растерянно Михей.

— Ну да, русский, — радостно сказал Ефим, настолько радостно, как только может говорить огрубевший от нелегкой жизни семидесятилетний мужик, для которого радость — редкая роскошь, которой он стесняется, как чего-то непривычного, излишнего для него.

— Русский, — словно подтвердил Николай, — а ты его — розгой!

— Да ладно вам, — сказал Ефим, — дело житейское. Хворостинка коню нужна. Как же лошадь без хворостинки?

Он замолк, давая понять мужикам, что пустой разговор окончен. Запряг коня, легко вбросил в сани желтый порубень, смахнул с шинели на рукавах легкую наледь, оставшуюся от влажного лошадиного дыхания, потуже затянул на поясе сыромятный ремешок, подышал на красные руки и неожиданно вернулся к прежнему:

— Н-да, мужики… Разлялякались мы что-то. Русский — не русский. Хворостина… Деликатные — не деликатные… Не мужские это разговоры. О весне, о хлебе думать надо… Как же без него? Война не сегодня завтра окончится. Хотел супостат весь человеческий корень изничтожить, да не тут-то было! Нашлась на него управа: всем миром люд встал супротив дьявола.

— А ты что, дядя, в Бога веруешь? — спросил Николай. — Что-то за тобой не заметно такого было. О дьяволе говоришь.

— Верую, не верую, мне знать. Поживи с мое, повидай столько, может, и уверуешь. Хотя, как говорят, на Бога надейся, а сам не плошай. Кругом разруха. Сейчас нам помощи ждать неоткуда. И хлебушка нам никто не даст просто так.

— Это уж точно, — сказал Николай. — Будет чем посеять, вырастим. Хотя земли наши какие, песочек… Я же, сами знаете, сказывал уже не раз, пока ногу мне не отхватило, так почти по всей Украине прошел. Там земля такая — хоть ты ее на хлебушек намазывай, жирная. Только брось в нее зерно. А у нас что? Сколько ни удобряй ее — все равно серая.

— Чтобы земля родила хорошо, многие годы с ней надо ладить, — сказал Ефим, — а то и века. Деды наши сказывали, что когда-то она совсем родить не хотела, а они все равно ее не бросили. Камень убирали, потом своим поливали, вишь, чуток пробудилась, родимая. Это наша земля-матушка, мы без нее шагу ступить не можем. Да и хлебушек она уже нам перед войной хороший давала. Силушку она свою почувствовала, задышала как следует. Вот, посеяли по осени клинышек озимины у реки. Снежок ее теплом укрыл, поспит до весеннего солнышка. А яровые — будет видно. Что-то придума-

ем, добро и нас не обойдет стороной. Окончится война, колхозы возродятся. Вот и лошадей нам дали, не может быть, чтобы зерна весной не подбросили. В беде-горе сейчас не одни мы, но все равно помогают, чем могут. Вот если бы сейчас детишек поддержать да Катерину, совсем хорошо было бы. Катерине так сейчас за двоих есть надо… Как подумаешь о ее судьбе, так сжимается сердце, хоть волком вой.

— Здесь ничего не изменишь, — сказал Михей. — Не у одного тебя болит.

— Знаю, знаю. Наверное, ей так на роду написано. Планида у нее такая, как говорили в далекие времена. Тогда свекор и свекровь погибли, а вот сейчас и Петро…

— Планида, говоришь? — подошел к нему Михей. — Сейчас у всех нас одна судьба-планида. Это как ломоть с одного каравая — одинаковый вкус.

— И то правда. Вот и должны мы сейчас о ней заботиться больше, чем о себе, — сказал Ефим.

— Вишь, как случается, — вздохнул Николай. — Я с ее Петром так и не увиделся. Да и Михей — тоже. Я вон где был — в самом Крыму, а Михей переправу через Березину наводил, когда Петро пришел. Одного тебя, дядя, он из наших мужиков и увидел.

— Так и есть, одного меня… Петро знал, что вы живые. Я ему сказал. Очень уж хотел он с вами свидеться. Думаю, поговорить вам было о чем: столько всего пережили! Говорил, что его, как и тебя, Николай, уж очень покрутило. Из-под Бобруйска до Можайска из окружения шел. Не раз жизнь на волоске висела, а вышел без царапины. И наград у него хватало. Как на мой ум, их просто так не раздают.

— Это уж точно, — подтвердил Николай.

— Я вот немало пожил на свете, — продолжал Ефим. — Всякое повидал: и хорошее, и плохое. Но никак не могу понять, как иной человек может носить в себе столько зла.

— Ты про Стаса? — спросил Михей. — Не называй его человеком. Змея, как ее ни грей за пазухой, все равно жиганет. Она…

— Я не о том, — перебил его старик. — Не от змеи родился. Я так разумею: все люди рождаются одинаковыми, хотя сказывают, что яблоко от яблони недалеко катится. И плачут малыши одинаково, и смеются, и птичек жалеют, и цветочками любуются. А вот вырастают… Как понять это? Ты здесь хоть три жизни проживи, а до конца не поймешь. Возьми того же Стаса. Малым его помню: такой, как вся ребятня, был… Кто мне скажет, где он переступил черту человеческого?

— Ты, дядя, все хочешь понять, почему это Иосифов сын к немцам пошел, нелюдем стал, — сказал Михей. — Так и я часто думаю: почему? Ненависть к людям вызрела? Говоришь, помнишь его малым: был такой, как все… А как вырос, как беда, так что, страх за свою жизнь уничтожил в нем всё человеческое?.. Так все мы, случается, других не любим, когда что не по нам, но позлимся-позлимся, а не враждуем. И страх наш при нас. Бывает, иной раз ох как страшно, но ничего, хватает ума не поддаваться ему, страху этому. Вообще-то, наверное, правду сказывают: яблоко от яблони недалеко катится. Здесь надо на Иосифа смотреть.

— Да что это мы об одном и том? — перебил его Ефим. — Давайте лучше закурим, еще и наговоримся, и наработаемся.

Ефим сунул руку в карман, достал оттуда щепотку табаку, обрывки пожелтевшей немецкой газеты, повернулся к мужчинам:

— Курите.

Михей брезгливо посмотрел на бумагу:

— Вновь ты, дядя, вражескую суешь. И как ты только табак из нее смокчешь? Немцами воняет!

Но, сказав так, он все же руку не отнял, взял табак, свернул цигарку, зажал ее между пальцами, выставил, словно показал кому-то кукиш, сплюнул на снег.

Ефим на все это смотрел молча. Но когда Николай поднес Михею спичку и тот сладко затянулся, старик бросил:

— Вишь ты, немцем ему мой табак воняет! А мне — медом пахнет?! Я что, виноват в том, что у меня, кроме этой гадости, ничего нет? — он резко, будто хотел располовинить, рванул полы немецкой шинели.

Михей пожал плечами, отступил на шаг, посмотрел растерянно на Николая, ожидая поддержки.

— Хватит! — сказал Николай. И Михею: — Если у тебя есть хорошее пальто, так отдай дядьке. Что, не узнаешь его в этом одеянии? А я узнаю!..

— Да, да, Миколка! Я что, немцу служил? — разозлился старик. — Я что, когда война началась, в район не ходил, не просился, чтобы на фронт взяли? Только беда моя в том, что не взяли: и стар, и слаб. Сразу как две печати на лоб поставили!.. А сейчас скажи, почему ты, когда в лесу был, без меня не мог обходиться?.. А здесь, вишь, я уже немцем ему воняю!

Ефим разошелся. Казалось, еще мгновение и он набросится с кулаками на Михея.

— Да брось ты, дядя! — сказал Михей. — Пошутил я. Как-то неудачно вышло. Будто не знаю, сколько ты добра всем нам сделал.

— А ты не ластись!.. — старик никак не мог успокоиться. — Скажи ты, фрицем ему от меня несет. Ты лучше понюхай Иосифа… Ишь, чем прикрываются: отец за сына не отвечает. А все от тебя, Николай, пошло! Твои слова?

— Мои. Хотя, впрочем, я только так говорил. А слова эти слышал от людей.

— Слышал — и забудь. Мало ли что кто сказывает. Отец — сын. Стас, между прочим, не мой сын, а Иосифа. И смотри ты, Иосифа никто не трогает. А он, все знаем, как наши пришли, где-то месяц скрывался. А ты спроси у него, где? И все вы как воды в рот набрали… А ты поинтересуйся у самого Иосифа, почему у него дымок из трубы несет запах сала, а у Кати — пустой? Думаешь, у Иосифа кладовая пустая и там мыши нечем поживиться?

Старик переходил от одного разговора к другому. Он уже забыл, что же его обидело. Его сейчас обижало то, что мужчины не обращают внимания на Иосифа Кучинского, а вот над ним, Ефимом, иногда легонько подтрунивают…

— Ладно, трогай, — вдруг сказал он и дернул вожжи.

Лошадь тронулась с места. Сани ехали по улице мимо землянок и черных, засыпанных снегом почти до половины печных труб, оставшихся от сгоревших хат, приближались к хате Иосифа Кучинского, стоявшей в конце деревни. Впрочем, сейчас деревни как таковой не было: исчезла она с лица земли, сожгли ее летом фашисты вместе с жителями, не ушедшими тогда в лес по малину, а вот Иосифова хата уцелела.

Сейчас мужчины угрюмо молчали. Ефим шел за санями, тяжело ступая по глубокому снегу рядом со свежей колеей, оставляемой полозьями, Михей тянулся следом за ним, время от времени искоса посматривая на старика. Николай ковылял рядом с лошадью: мужики говорили ему, чтобы садился в сани, но он отказывался, дескать, надо привыкать ходить на протезе. Впрочем, вскоре, как тронулись в путь, Ефим отдал ему вожжи, и сейчас Николай, намотав их на запястье правой руки, с наслаждением правил.

— Да, замело, — вдруг сказал Николай, посматривая по сторонам, и неожиданно вернулся к прежнему разговору: — Надо все же нам о хлебе серьезно подумать.

Тем временем сани поравнялись с хатой Иосифа Кучинского, и Ефим с Михеем зло посмотрели на нее.

Ефиму показалось, что хата похожа на самого Иосифа: окна смотрят подслеповато, невысокая, какая-то осунувшаяся, как сам Иосиф. И еще показалось Ефиму, что за обледеневшим окном, выходящим на улицу, скользнула тень.

— Слышь, Николай, — сказал Михей, — а если у него хлеба спросить? У него хлебушек должен быть. Он запасливый. Думаю, при Стасе запасся. А что? Стас на людском добре живился.

Услышав это, Николай будто споткнулся. Остановился и Михей, посматривая на старика.

— Ты что говоришь? — Николай от неожиданности присел, с недоумением посмотрел на Михея, затем ткнул кнутом в сторону Иосифовой хаты. — У него? Ты о чем говоришь? Да если бы у него даже от своего хлеба закрома ломились, я к нему на поклон не пошел бы.

Михей молчал, наверное, не понимая, что крамольного он сказал. А Николай только сейчас заметил, что его деревянная нога глубоко провалилась в снег, попробовал вытащить ее, но сразу сделать это он не смог. Тогда, переводя дух, он сказал:

— Ты слышишь, дядя, что он говорит?

Николай сжал кулаки, да так, что побелели пальцы, и вдруг закашлялся, его грудь под шинелью затряслась, он рванул из снега деревяшку, выскочил на твердое.

— Отдали бы, как разживемся, — неожиданно поддержал Ефим Михея.

— А тебя, дядя, я не понимаю, — сказал Николай. — То ты на Иосифа, то…

Он закашлялся, согнулся, обхватил руками грудь, начал медленно опускаться на снег. Кашель перехватил дыхание, да так, что лицо стало сначала красным, а потом начало синеть. Оседая на землю, Николай судорожно схватил горсть снега, приложил к лицу. Но это не помогало.

Тем временем Ефим и Михей подбежали к нему, подхватили под руки, подняли.

Николай тяжело оторвал голову от груди, посмотрел на них влажными глазами, как выдохнул:

— Не надо. Слышите? Он сам от нас отвернулся, а вы…

Успокоился он минут через пять. Медленно выпрямился, встряхнул плечами, словно сбрасывая с себя какой-то неимоверно тяжелый груз, заскакал к саням, перевалился в них, схватил вожжи, закрутил ими в воздухе:

— Но!..

Лошадь рванула с места, Николай растянулся в санях. Ефим и Михей посмотрели друг на друга: один в немецкой шинели, другой — в нашей.

— Ты почему на меня так смотришь? — спросил Ефим. — Да я…

Он со всей силой рванул полы шинели, лопнула перетертая на поясе сыромятина. Казалось, старик облегченно вздохнул, потом крикнул:

— Да пусть вся эта гадость сгорит! — и, не ожидая ответа, побежал догонять сани.

О чем он говорил, о шинели, о ссоре или об отношении к Иосифу, было непонятно.

2

Иосиф Кучинский, из-за которого чуть не поссорились мужчины, жил один. Его старая хата стояла на краю деревни, метрах в двухстах от дамбы, отгораживающей реку от человеческого жилья.

Иосиф старался не показываться на люди.

Уже сколько лет он очень плохо спал по ночам. Стоило только ему вечером лечь на холодную деревянную кровать, закрыть глаза, как тяжелые мысли роем одолевали его, наслаивались одна на одну. Были они какие-то неопределенные, кажется, ни о чем конкретном, но угнетали, терзали душу и, наконец, касались его теперешнего положения.

Иосиф чувствовал себя одиноким, словно полевая былинка. Рассуждая о себе, он думал: «Нести мне свой тяжкий крест до конца. И когда умру, никто не вспомнит меня добрым словом, и неизвестно, зароют ли люди, как подобает, в землю, или даже к избе не подойдут, как не подходят сейчас… Ведь я давно уже оторван от людской жизни, как что-то ненужное, ненавистное им, презираемое всеми. Наверное, дай им волю, сжили бы со свету…»

Если же ему и удавалось заснуть, так после того, как изматывался вконец от угнетающих, разрывающих душу мыслей, когда в сотый раз сожалел о том, что родился, что жил, пустил на свет ту жизнь, которая принесла другим столько горя, кого прокляли люди. И тогда впадал в страшные сны, в кошмары, в которых от кого-то убегал, но так и не мог убежать, и, обессиленный, просыпался в холодном поту. Проснувшись, лежа некоторое время в постели, отходя от кошмаров, он рассуждал так: от себя убегал, от своей горемычной судьбы, но разве от нее убежишь? Разве можешь изменить то, что было?..

И сейчас Иосиф проснулся рано, задолго до рассвета, когда вокруг лежала густая тьма, она угнетала, пугала своей кажущейся беспросветностью. Но вот что странно: сегодня во сне он ни от кого не убегал. Он просто шел по деревне. По той, довоенной, ладно выстроенной по обе стороны широкой улице, наполненной детскими голосами, скрипом колодезных журавлей, разнообразными запахами, словом, он шел по той Гуде, которая жила своей извечной жизнью. Но он спиной чувствовал: за ним гонятся!

Он остановился, ему не было страшно, посмотрел на разъяренную толпу, догоняющую его, понял, что, настигнув, она растерзает его, но тем не менее спокойно сел возле дамбы: давайте!.. И ожидая своего последнего часа, он даже обрадовался: наконец-то избавлюсь от тех душевных страданий, с которыми уже не могу справляться, которые извели вконец, растоптали, уничтожили. Но вот что странно: добежав, толпа остановилась возле него, и ни у кого не поднялась рука, чтобы ударить, более того, никто не приблизился к нему, не проронил ни слова.

Он посмотрел на людей, все они были как бы на одно лицо… Он хотел увидеть среди этой толпы Ефима, Михея, Николая, Катю, чтобы спросить у них, как своих когда-то близких односельчан, — что происходит, — но их здесь не было. Он уже собрался позвать их по именам, но односельчане, их неясные образы вдруг словно отгородились от него какой-то неясной дымчато-туманной пеленой, исчезли…

И тогда Иосиф проснулся.

Он лежал в постели, смотрел через окно в темноту, ждал, когда забрезжит рассвет, ждал его, как избавления от кошмарного сна, от тяжелых, все выжигающих в душе мыслей, хотя знал, что и это утро, как предыдущие, уже ничего не изменят в его жизни.

Рассвет вливался в хату не спеша. Утро было морозное: сначала высветилось окно напротив кровати: с улицы на его обледеневшие края как-то несмело, вкрадчиво медленно наплывала светлая полосочка. Затем она постепенно стала зеленоватой, растеклась по всему стеклу, начала приобретать красноватый цвет. И вот уже посреди окна, там, где меньше намерзло, словно в проруби, засиял солнечный зайчик.

И сразу же красный цвет расплылся на кружевных узорах на стекле, какая-то серая тень соскользнула с подоконника на серый пол, пробежала по нему, исчезла у порога.

Иосифу показалось, что темный потолок начал опускаться к полу, но вот что странно: через несколько минут в хате заметно посветлело и потолок, словно спружинив, поднялся вверх. Ясно вырисовались круглые бревна стен, чистые серые половицы…

Скрипнула кровать. Иосиф тяжело поднялся, опустил босые ноги на пол. Холод сразу же обжег ступни. Иосиф обрадовался: сон ушел, а он из кошмара возвратился в реальную жизнь.

Иосиф босиком прошел к печке, в полутьме нащупал на ней теплые, дерматином подшитые на пятках бурки, подержал их в руках, вернулся назад. Поставив обувь под кровать, как обычно начал неторопливо осматривать хату, будто после долгого отсутствия привыкал к ней.

В хате все было как всегда: печь в углу у входной двери, стол напротив у окна, старый огромный сундук у стены от улицы, в левом углу — икона, окаймленная самотканым ручником, под ней на стене — темно-коричневая рамка с фотокарточками.

Иосиф долго всматривался в фотографии, словно хотел поговорить с теми, чьи образы они отображали. Потом, будто спохватившись, подумал: а говорить-то не с кем да и не о чем.

Вот они с Марией. Снимок сделан на каком-то празднике в Дубосне. Пожелтела фотография, как осенний лист, пожухла, будто иней ее прихватил, прошелся по ней, а потом отпустил. Но все равно хорошо видно, как они с Марией смотрят прямо в объектив, словно верят, что оттуда вылетит птичка.

Это старый Ицка, еврей из Селибы, скрипач, шорник и фотограф, говорил, перед тем как снять:

— Смотри, Иосиф, смотри, Мария, сейчас отсюда вылетит птичка, да не моргай…

Смотрели, зная, что никакой птички не будет, а тогда, в молодости, так хотелось верить, что она должна быть, птица, приносящая добро, счастливую долю…

Иосифу вдруг все же захотелось поговорить с покойницей. Он никогда ее не любил, даже не привык к ней, как муж, хотя были они связаны одной жизнью немало лет.

Была Мария — и нет ее. Была бы жива, сказал бы ей или нет, что из-за нее вся его жизнь пошла рикошетом? Вряд ли сказал бы.

Чужая она ему была. Умерла Мария перед войной. Ей бы еще жить да жить, но, наверное, люди не зря говорили, что весь род Вариончиков по женской линии какой-то дуплистый, гнилой — никто в нем из них почему-то до старости не доживал. В молодости все девчата цветут, парни по ним с ума сходят — девушки словно привораживают их к себе, — а выйдут замуж, детей родят, начинают увядать. Почему — никто не знает. Деревенские старухи уговаривали парней не свататься к Вариончиковым барышням, дескать, у них на роду что-то недоброе значится, проклятье, что ли, но нет, будто сломя голову бежали к ним кавалеры.

— Зельем они опаивают парней наших, — вздыхали старухи, глядя, как парни увиваются возле какой из Вариончиковых девчат: вздыхали, охали, а что толку...

«Вот, Марийка, — думал Иосиф, — ты на том свете спишь вечным сном, и все тебе нипочем. И ничего тебе сейчас не нужно. Ни земли, за которую любому готова была горло перегрызть, если вдруг невзначай кто чужой ступал на нее, ни сундука, набитого никогда не надеванным тряпьем, ни той брани, которой ты осыпала меня всякий раз, когда делал что-нибудь по-своему, а тебе казалось, не так как надо.

Да, придиралась ты ко мне безо всякой на то причины. Жили так, словно мстила мне за то, что я есть на этом свете, что я рядом с тобой… Не так встал, не так стал, не так сказал, не так дышу, да и молчу не так…»

Тяжела, страшна, гнетущая бабья непонятная за что и откуда взявшаяся месть. Хотя, если разобраться, догадывался, знал Иосиф, почему, откуда. Не ему предназначалась Мария, не ему. Был у нее до него парень. Матвей из Нетомли, соседней деревни. Любились они. Да только не суждено им было сойтись: Матвей — из староверов, и его родители строго-настрого запретили ему слать к Марии сватов. Хороший был парень Матвей, кручинился долго, а потом взял свою, из староверов, отцовского слова не ослушался.

И у Матвея судьба тяжелая: работяга был, в колхоз не пошел, свое хозяйство наладил крепкое. Раскулачили его, сослали вместе с женой да двумя сыновьями: семья как в воду канула.

Мария волчицей выла, когда услышала, что Матвея высылают. Иосифу тогда хотелось просто по-человечески утешить ее — на Матвея зла у него не было, хотя знал, он, Матвей, а не Иосиф, первый Мариин мужчина, — подошел к жене, осторожно положил руку на плечо, а она:

— Это тебя, тебя надо туда, да в землю, в землю!..

Интересно, за что? Так и не спросил тогда у Марии. Впрочем, можно только догадываться, за что, почему судьбы такой мужу желала...

Так и не поговорив мысленно с Марией, Иосиф перевел взгляд правее, где среди пожелтевших фотографий зияло коричневое пятно.

Была там ранее фотография, была… Вырвал ее Иосиф. Фотографию вырвать можно. Но как вырвать из души то, что гнетет?..

Размышляя так, Иосиф услышал на улице голоса. Они приближались к его хате. Он подошел к окну на улицу, через наледь увидел, что по улице идет лошадь, запряженная в сани, а за ней — мужики. Ну конечно, это Михей, Николай и Ефим. Кто же еще, если мужчин в деревне больше нет? Кто воюет на чужих землях, куда ушла война, кто в земле лежит, а кто и земли не знает: сожжен вместе с остальными жителям — женщинами, стариками, детьми…

Прошлым летом немцы жгли деревни, особенно лесные, такие, как Гуда. Налетали на рассвете или даже днем. Окружали, загоняли людей в хаты, сараи, закрывали двери и жгли… В Гуде уцелели немногие…

Иосиф увидел мужчин уже напротив своего окна. Шли они странно: Ефим держал деревянную лопату. Михей — в одной руке вилы, а на плече — веревку — сани же есть, почему в них не вбросили?.. «Коли так, значит, по крестьянской работе соскучились, — решил Иосиф, — вот и несут…»

Николай на своей деревяшке прыгал следом за ними. Тоже странно…

Иосифу показалось, что те его увидели, он инстинктивно отпрянул от окна.

Проводив глазами мужчин, Иосиф быстро всунул холодные ноги в бурки, набросил на плечи фуфайку и вышел из хаты во двор.

Он не знал, куда пойдет, что будет делать. Ноги будто сами привели его под навес. Взгляд скользнул по лодке, сделанной им самим накануне войны, но так и не спущенной на воду. Три военных года она стояла под навесом, привязанная цепью к одному из столбов, которые держали навес, привязанная непонятно зачем — уж давно паводков нет, вода не затапливает Гуду — дамба надежно защищает ее от реки.

Затем он посмотрел на дрова, сложенные в поленницу у стены, на вилы, стоящие в углу. В то же мгновение Иосиф будто почувствовал прикосновение рук к холодному гладкому деревянному черенку этого нехитрого крестьянского инструмента. Показалось, что запахло луговым сеном, почудилось, что он слышит веселое людское многоголосие, которое бывает во время сенокосной страды, Иосиф будто наяву ощутил легкую утомленность, ту, что ощущаешь после косьбы.

Иосиф, понимая, что это пьянящее чувство вот-вот исчезнет, быстро схватил вилы, черенок обжег руки — дерево было непривычно холодное, настывшее — бросился к улице. Сделав несколько шагов, остановился, растерянно посмотрел на улицу, понял, что никуда не пойдет: не нужна мужчинам его помощь. Он вернулся под навес, поставил вилы на место, побрел к крыльцу, остановился возле него, не зная, что делать дальше. Неожиданно у него закружилась голова, перед глазами посыпались «звездочки», засосало под ложечкой.

В таком состоянии Иосиф стоял минуту, не более: как накатилось волной, так и исчезло — он знал, от голода это.

Иосиф уже несколько дней ничего не ел: не хотелось. То ли оттого, что нервы были напряжены, то ли потому, что знал: односельчанам сейчас вообще голодно, а у него кое-какая еда есть.

У Иосифа было пару горстей пшена (некогда Стас почти ведро притащил из гарнизона), немного картошки, сушеные и соленые, в кадке, грибы, вязка лука. Так что можно было сварить суп, похлебать. Но…

Когда Иосиф смотрел на пшено, развязав холщовый мешочек, который хранил в печурке, ему очень хотелось, чтобы это было жито. Пусть даже горсть, две… Он бы берег его как зеницу ока. А если бы — целый мешок?! Тогда он согласен был бы голодать сколько угодно, зернышка не взял бы. Зерно лежало бы в кладовой, и Иосиф ежедневно перебирал бы его, откладывая поврежденные, выбрасывая сорняки.

Когда Иосиф думал об этом, ему виделось теплое поле, над которым поднимается легкий пар. А на этом поле, своем ли, колхозном ли, он, Иосиф, сеятель, вбрасывающий в мягкую почву зерно…

В такие мгновения он забывал обо всем том, что делается вокруг него, он существовал в своем некогда привычном мире, мире пахаря и сеятеля, составлявшем сущность его жизни. Ведь сколько себя помнил Иосиф, помнил на земле: в поле, в лугах, на реке, в лесу…

Иногда ему казалось, что рожден он был не матерью, которой не знал — умерла при родах на поле во время жатвы, — а самим полем. Знал по рассказам, которые иногда слышал в детстве, что мать — работницу, роженицу, свекровь и свекор гнали в поле до последнего, дескать, сколько баб на ниве рожает, и — ничего…

Родила… Какая-то старуха серпом отрезала его пуповину, связующую с матерью, завязала пупок. Затем завернула младенца в снятое с себя тряпье, спрятала в тень под снопами, чтобы палящее солнце не выжгло глаза, а его матери, роженице, уж ничем не могла помочь, и та ушла из жизни, не увидев своего первого и последнего ребенка… И рос этот ребенок при мачехе,

по существу, чужой женщине, у которой своих было трое: вдовицей пришла та женщина к Иосифову отцу. А он, мальчик, всего хлебнул в детские годы, да и потом, взрослый. Жизнь такова, что и страдания, и радость идут по ней в обнимку…

Иосиф тяжело поднялся на крыльцо, не сбивая снег с обуви, зашел в хату, присел у окна на скамейку, вновь через мутный глазок в наледи смотрел на улицу.

Он знал, что на том конце деревни, или того, что от нее осталось, в сарае-конюшне мужчины держат двух лошадей, выделенных им в районе для восстановления хозяйства. Смотрел в окно и видел на противоположной стороне улицы черные печные трубы, оставшиеся от сожженных хат… Когда же поворачивал голову влево — видел свой огород, занесенный снегом. И прежде всего, совсем близко — огромный, широко разросшийся, заиндевевший куст сирени.

3

Куст сирени был очень старый. Покрытый мохнатым инеем, он казался мертвым, высохшим. Сейчас трудно было представить, что весной сирень расцветет, что ее чарующий цвет и неповторимые запахи, слегка кружащие голову, станут, как уже было много лет подряд, неотъемлемой частицей пробуждения здешней природы, без которой этот уголок земли будет беднее.

Куст стоял в огороде, шагах в двадцати от хаты. Был он белый, но из его середины просачивалась угнетающая чернота. Казалось, что ее выталкивают из себя толстые, с оглоблю, первородные стебли. Не верилось, что когда-то эти два стебля были маленькими, слабенькими ростками. Тогда, много лет назад, Иосиф принес их сюда из соседнего села. Недолго размышляя, посадил он сирень в поле, а не под окном хаты, как, впрочем, всегда делают те, кто хочет приукрасить свой двор. Принес в ту теплую весеннюю пору, когда на фоне голубого купола неба лес вокруг Гуды уже хорошо и сочно зеленел, когда поле доверчиво открылось солнцу, а птицы по утрам своим разноголосьем спешили пробудить все окрест, призывая землю к возрождению после долгой зимней спячки.

Тогда Иосиф воткнул в теплую влажную землю два махоньких стебелька, по-мужски грубовато, словно стесняясь, прижал их корешки руками и, радостный, посмотрел вокруг. А вокруг — жизнь, бушует в многообразии красок и звуков, да такая огромная, бесконечная, что даже страшно: приживутся ли эти квелые стебельки среди всей этой пробудившейся силы…

Сейчас, если долго смотреть на эту черноту, исходящую из куста, кажется, что она поглощает свет, льющийся на землю из холодного розового неба, и от этого так холодно вокруг, неуютно, одиноко…

И еще Иосифу казалось, что нынешней весной куст уже не оживет, что его не смогут пробудить птичьи голоса и ласковый ветер. А раз так, то его тонкие запахи больше никогда не разольются в воздухе, не вскружат голову легкой, чуть пьянящей радостью, не всколыхнут душу сладкой надеждой на возрождение всего окрест….

Иосиф заметил, что куст сирени начал увядать еще прошлым летом. Было такое ощущение, словно кто-то в одночасье перерубил его корни: листья пожелтели мгновенно, в один день, и когда налетал ветер, они осыпались на землю, будто в листопад.

Может быть, куст высох потому, что, когда горела деревня, пламя лизнуло и его, не обошло стороной, как, впрочем, и все кусты и деревья в Гуде, хотя не

все потом начало сохнуть. И еще Иосиф иногда думал, что его сирени самой судьбой предначертано погибнуть, не оставив после себя побегов: а если по-хорошему, так все живое должно иметь продолжение, иначе какой же смысл жизни?..

Иногда Иосифу казалось, что сирень здесь росла сама по себе, еще до того времени, как Варіончик купил эту землю в приданое дочери.

Впрочем, какой-то куст здесь все же был. Но какой?.. Варіончик, как ставили на этом месте хату Иосифу, говорил, что кусту здесь не место: дескать, лишняя корзина картошки вырастет, если его выкорчевать. И не помнит он уже, память словно отшибло, было это на самом деле или почудилось. Хотя время от времени появляется смутное, как за туманом, видение: он, он, а не кто иной, садит в теплую землю два квелых ростка… И еще видится, как он отбирает у старика топор, который тот занес над каким-то кустом, и слышится голос Марии, указывающей на прутья сирени:

— А это зачем? Подожди, ты еще наешься этим прутьем…

Иосиф сейчас не может сам для себя определить: это было действительно так или чудится. Но одно он все же помнит: когда-то в далекие молодые годы какой-то спор вокруг сирени был. И в споре этом победил он, Иосиф: не позволил ни тестю, ни Марии уничтожить куст. Значит, смог тогда он настоять на своем, проявить характер, а как же? Наверное, это был редкий случай в его жизни, когда он не подчинился им (а подчинялся он и Марии, и ее отцу, почитай, все время, пока жили они на земле), смог тогда настоять на своем.

И хорошо, что отстоял сирень. Уж очень хорошо она цвела. Весной словно кипела в бело-голубом цветении, и когда Иосиф выходил на крыльцо, голова хмельно кружилась от запахов, хорошо было на душе, спокойно.

Много лет Иосифа радовало, что посаженные им ростки прижились, вошли в силу, окрепли, дали побеги.

Со временем куст разросся, и чем больше он занимал земли, тем больше ругалась Мария, как говорили гуднянцы, ела Иосифа поедом.

А Иосиф, глядя на куст, на молодую поросль, думал: вот как в природе слажено — есть корни, есть побеги, и жизнь будет до тех пор, пока они не будут насильственно уничтожены.

И вот куст иссох, порвались его корни, что ли? Или земля не может больше напоить своими соками этих два ствола?.. Кто знает, в чем здесь причина.

4

Гуду сожгли летом сорок третьего года.

Солнечным утром, когда еще не высохла роса на траве, в деревню въехало несколько крытых брезентом машин. Из них высыпали немцы. А через некоторое время у колхозного клуба слышались нечеловеческие крики, плач и стоны. Над землей плыл черный дым…

Иосиф, присыпанный черной, полусгнившей прошлогодней листвой, лежал в беспамятстве в зеленом кусте сирени …

Когда утром по хатам начали ходить немцы да полицаи и выгонять сельчан на улицу, сгонять к клубу, Стас прибежал домой и сказал Иосифу, чтобы он прятался.

Иосиф понял: немцы затевают что-то недоброе, закричал на сына:

— Что надумали, изверги? Я давно подозревал это. Еще тогда, когда приходил к тебе в гарнизон посмотреть, что да как там у тебя. Людей упреждал,

но они меня не послушали. Бога у вас нет!.. Никуда я не побегу. Что людям, то и мне. Их судьбу разделю, коли так.

— Смотри! — гаркнул тогда Стас. — Немцы прихлопнут тебя, как мышь, да еще и поджарят в придачу…

— Нет, ты мне ответь! — Иосиф схватил сына за грудки, затряс: — Что удумали, изверги?

Стас не ответил. Он дохнул ему в лицо чесноком и перегаром, перехватил сухие отцовские руки и со всей силой отбросил его от себя.

Иосиф, словно сноп, отлетел в угол, ударился головой о скамейку, стоявшую там. И сразу же застонал от боли, а потом, преодолевая ее, подхватился и коршуном набросился на сына:

— Изверги!..

Стас тем временем выставил перед собой винтовку, заорал:

— Говорю тебе, прячься, старый дурак! Они не посмотрят, что ты мой отец…

Иосифа винтовка не остановила, Стас резко повернул дуло к себе, ударил отца прикладом в грудь, отбросил его к двери:

— Остынь, батька!

— Какой я тебе батька? Зверь ты… Нет, я никуда не побегу. Сказано, что людям будет, то и мне!

Иосиф, тяжело дыша, пошатываясь, встал с пола, но Стас вновь ударил его прикладом в грудь. Больше Иосиф ничего не помнит, очнулся он уже на земле, под кустом сирени. Наверное, когда он потерял сознание, Стас затащил его сюда и присыпал старой листвой.

Иосиф не знает, как долго он пролежал здесь без сознания. Впрочем, время от времени сознание возвращалось к нему, и тогда он, будто во сне, слышал жуткие крики и выстрелы, ощущал запах гари, видел огненные сполохи… и вновь проваливался во тьму… Мир, в котором он тогда пребывал, воспринимался как нереальный. И все, что в это время происходило вокруг него, Иосиф не воспринимал как земное действо. Все было — непонятно, необъяснимо, все плыло мимо него. Было оно кошмарное, такое, что и придумать невозможно…

Когда Иосиф вернулся в реальность, над землей уже лежала ночь. Вокруг было темно, и только высоко в небе острыми искрами были рассыпаны звезды…

Иосифа трясло, хотя, казалось, земля под ним была горячая.

Первое, что он тогда услышал, непонятные, приглушенные чужие голоса, доносившиеся из его хаты.

Иосиф, оттолкнувшись руками от земли, поднялся на колени. Земля под ним шаталась, и, чтобы не упасть, он ухватился за толстый шершавый ствол сирени. Глаза туманились то ли от слез, то ли от едкого дыма, принесенного сюда откуда-то ветерком. Прислушиваясь к голосам, уже собираясь позвать кого-нибудь на помощь, Иосиф увидел в окнах хаты слабый колышущийся свет и расплывчатые лица, бессильно застонал, тяжело опустился на землю.

Они!..

Да, это были они. За столом напротив окна сидел Стас. Его голова покачивалась. Черные волосы нависли на лоб и закрывали глаза. Время от времени он отбрасывал их рукой набок. Рядом с ним, держа в руке стакан, сидел немец. Кто еще был в хате, Иосиф не рассмотрел, но по голосам понял — непрошеных гостей было несколько…

Лежа на земле, Иосиф левой рукой нащупал в кармане спички, правой начал лихорадочно рвать сухую траву.

Он знал, что сейчас сделает…

Иосиф выполз из куста и направился к сараю, стоявшему шагах в десяти от хаты. Придерживаясь за стену, выпрямился. Сразу же в нос ударил запах прелого сена, его как отрезвило.

Пошатываясь, Иосиф долго стоял, держась за стену, размышлял, что прежде всего сейчас должен сделать: поджечь хату или… Ну, подожжет он ее. А немцы, услышав запах дыма, увидя в темноте отблески огня, выскочат во двор: хата сгорит, сгорит сарай, навес — только и всего. Конечно, его они схватят: он далеко не убежит, нигде не спрячется, найдут и в кусте сирени, и у реки, и в лугах — все прочешут… Ладно, убьют, сожгут его. Но с ними-то ничего не случится: вот что страшно.

Была тогда у Иосифа и иная возможность рассчитаться с нелюдями: винтовка, спрятанная под крышей сарая.

И тогда, поняв, что поджигать хату бессмысленно, он, будто спохватившись, быстро нащупал в соломе под крышей завернутую в тряпку винтовку. Почему-то сразу же, как только ощутил ее ствол, руки перестали дрожать.

Эту немецкую винтовку Иосиф спрятал еще в сорок первом, зимой, когда Стас вступил в полицию, а по деревне пошли слухи о партизанах, которые якобы объявились в Демковских болотах.

Что партизаны изредка наведываются в деревню, Иосиф догадывался. Не однажды ночью видел он, как вскрай огородов в направлении к Ефимову сараю двигались человеческие силуэты. Догадывался, что Ефим с партизанами связан…

Тогда Иосиф втайне ото всех целыми днями бродил по лесу, в надежде встретить людей с оружием, и если не прийти к ним в отряд, так хоть чем быть полезным: должны же у них кроме Ефима быть свои люди в деревне. В то время он не думал, что партизаны, если и видели его, то не хотели к нему выйти, не хотели, чтобы у них был связным отец предателя. Наивный старик рассуждал по-своему: «Я же ни в чем не виноват, люди это знают, им нечего меня опасаться». Но люди считали иначе, да и время было такое, что не каждый свой доверял своему!..

Длинной показалась Иосифу тряпка, в которую когда-то завернул винтовку, а когда рука ощутила гладкий теплый приклад, в висках застучало, и он, пошатываясь, брел назад к кусту сирени…

Вот уже затрещали под ногами сухие веточки… Иосиф присел на левое колено, щелкнул затвором, нашел в темноте квадрат слабого света, резко ткнул в ту сторону дуло.

На мгновенье оно блеснуло, задрожала на конце мушки, словно привязанной за нить к его пальцу, лежащему на курке.

Иосиф повернул дуло левее, тень от куста накрыла его, словно придавила к земле. Тогда он, резко раздвинув ветви, будто распорол эту тень — и блестящая тоненькая полоска пробежала от ложа к мушке. Через мгновение мушка медленно поползла по квадратной заплате слабого света, задрожала на Стасовой переносице.

Казалось, Иосиф не понимал, что делает. И вместе с тем понимал: еще мгновение — и все кончится, он сбросит с себя тот неимоверно тяжелый груз людского презрения, который лег на него еще тогда, когда Стас пошел в полицию. Пошел сам, без всякого принуждения, ничего не сказав Иосифу, — просто однажды исчез из дома на сутки (Иосиф думал, что где-то в лесу ходит, партизан ищет), а явился с полицейской повязкой на рукаве, заявив: «Сейчас заживем, батька…» Вот тогда односельчане, как только Иосиф вышел на улицу после бессмысленных скитаний по лесу в поисках партизан, начали

плевать ему вслед. Тогда он спиной чувствовал их презрительные взгляды, ненавистью прожигающие все его существо. Это было неимоверно страшной пыткой. С тех пор вся его жизнь превратилась в пытку, своеобразную, ежедневную, ежечасную, ежеминутную, в ту пытку, которую выдержать могло только каменное сердце…

«Да, тяжел груз отца полицая: угнетает, давит, сжигает, уничтожает тебя как человека, — часто думал о себе Иосиф. — Ладно, пусть бы однажды этот груз раздавил тебя, уничтожил, растворил. Так нет же — уничтожать уничтожает, а способность думать и размышлять обо всем, что видишь, оставляет».

Такие размышления были очень страшны, как настоящая пытка, от которой нет избавления. Иногда ему казалось, что избавления не будет даже тогда, когда ляжет в землю…

Многое за этой пыткой виделось Иосифу, много чувствовалось, особенно когда, случалось, бывал на людях, среди которых столько лет жил, с которыми ранее делили и радость, и горести.

Тогда Иосифу нужно было сосредоточиться на ином, на том, что он собирался совершить… Вот Стас вновь сбросил с глаз слипшиеся волосы — по его руке пробежал красный отсвет от лампы, скользнул по переносице, по виску, затем упал на щеку, застыл на мгновенье…

Нет, в те минуты не злоба владела Иосифом, а беспомощность и безысходность: «Сейчас, после того, что случилось с людьми, нет мне жизни, нет».

Как сейчас видится…

Мушка все дрожит, ползает по переносице сына.

Как Стас похож на Марию! У него такая же большая, как и у нее, голова, тонкие губы, длинный, полозком, нос и черные волосы.

Может быть, от нее и зло у него?.. Знать, ее, Мариино, семя перебороло его, Иосифово. А могло быть иначе, если бы верх взяло иное семя. Наверное, не зря издавна люди говорят, когда судят о человеке, дают ему характеристику, дескать, в нее (в мать) или в него (в отца). И этим, для тех, кто знает ветви этих родов, все сказано: припоминается, что в том или ином было хорошего, плохого.

И еще говорят: «В кого он (она) уродился (уродилась)? Ни в отца, ни в мать: какое-то чертово семя…»

Чертово не чертово, а, случается, чужое: жизнь штука сложная, всякое бывает…

Иосиф всматривался в сыново лицо до тех пор, пока оно не стало расплывчатым и не начало раздваиваться в его представлении: Стас — Мария… Мария — Стас… И когда палец уже твердо лежал на курке, Иосиф почему-то видел перед собой только ее, Марию.

Он застонал, опустил дуло. Иосиф понял, что в Марию выстрелить не сможет, какая бы злая она ни была, как бы пренебрежительно ни относилась к нему, как бы его ненавидела. Он также понимал, что во всем этом выражалось ее неприятие его и как мужа, и как человека вообще. И думал, что такое может быть ниспослано человеку свыше как наказание за какие-то деяния, как проклятие и тому, кто ненавидит, и тому, кого ненавидят. Сам он как-то все это терпел, а вот Марию ее же зло и съедало, иначе не скажешь. Наверное, рожденная такой, она не могла быть иной на этой земле, никто и ничто не могло ее изменить. Но и к страдальцам он не мог отнести ни ее, ни себя: страдальцы понимают, что они такие, Мария же — нет, да и он… Их отно-

шения — знак судьбы? Или расплата за грехи предков, совершенные перед людьми?..

Впрочем, кто знает? Мало ли что говорят люди, какие только причины не отыскивают, осуждая человека за творимое им зло, или сочувствуя ему в тех бедах, в которые он попадает. Но, наверное, во всем этом все же есть что-то неподвластное просто разуму: ведь никто еще не смог объяснить, почему и как происходит именно *это*, а не *то*…

Иосиф в бессилии отбросил от себя винтовку, упал на землю. Его вновь затрясло, как в лихорадке, и, кажется, он вновь потерял сознание…

Сейчас, вспоминая все это, Иосиф будто еще раз пережил то страшное мгновение и совершенно ясно понял, почему тогда не совершил то, что должен был совершить…

А голоса на улице удалялись. Они ускользали от него, словно что-то способное утешить его исстрадавшуюся душу, но почему-то не желающее это делать. Казалось, люди уходят от него навсегда, обрекая Иосифа на вечное одиночество…

5

После ссоры мужчины чувствовали себя словно не в своей тарелке. Миновав хату Иосифа Кучинского, выезжая за деревню, приближаясь к дамбе, направляясь к мосту через реку, они все время молчали.

И мост прошли молча. Старый, деревянный, он уцелел в войну. Ни для партизан, ни для немцев мост особой стратегической роли не представлял: взорви, сожги этих пятнадцать-двадцать метров бревен и плашек, так у того края деревни брод, на телеге реку переедешь. А вот дамба — другое дело. Без нее — никак нельзя. В иной снежный год, как пойдет по весне талая вода, так все зальет окрест. Тогда не свезенные стога стоят на лугах по шапки в воде, и кусты вдоль реки — тоже, и хаты в деревне — чуть ли не по крыши залиты.

Старики сказывали, когда деды и прадеды нынешних гуднянцев селились здесь на берегу реки, выжигая лес под пашню, выкорчевывая пни, так потопов этих и в помине не было. Время шло, люди обжились, и вдруг здешние земли приглянулись какому-то отставному генералу, и он купил их. Начал рыть канал, соединил Дубосну с Черножилкой, рекой за Демковскими болотами, верстах в двадцати отсюда (хотел гонять плоты к городу). Дубосне это не понравилось. С тех пор терпит-терпит она чужие воды, что идут через ее извечное русло, да в иной год по весне так закапризничает, что в один день выплеснет их на деревню: получайте!.. И Черножилка — еще та река! Темная, в омутах, берега низкие, болотистые. К тому же, она через какие-то только одной ей известные пути имеет связь с иными реками. А те — с водами, сбегающими в нее с каких-то возвышенностей.

Словом, выходит, что и в природе, как и у людей, все тесно связано, переплетено, отлажено. Так что стоит только человеку вмешаться в этот, веками устоявшийся лад, жди беды…

За мостом свернули на целину — большое заснеженное поле. За ним, почти у самого горизонта, чернела зубчатая стена демковского леса. Это с левой стороны от реки. С правой лес подступал почти к самой деревне: хороший, старый сосновый, стоящий на возвышенности. Наверное, поэтому он и уцелел в те далекие времена, когда здесь возводилась деревня: какая же на песке пашня или сенокос?

А вот за полем, спускающимся в низину, среди демковского леса, земля словно опрокидывалась вниз. Там начинались непроходимые болота, тянувшиеся на многие километры окрест. Там — царство птиц, зверья, клюквы…

На этих болотах попадалась твердь, и было ее не мало. Среди нее — луговины, на которых и косили. Говорилось так: «Там не сено — чай! Косу не потянуть: что взмах, то пуд…»

По целине лошадь шла тяжело. Ее копыта с хрустом ломали тонкую, как стекло, снежную корку. Лошадь проваливаясь по колено в снег. Сани же скользили поверху. Лошадь напрягалась, вытягивала вперед шею, старый истертый хомут скрипел так, что, казалось, вот-вот лопнет...

Видя, что лошади тяжело, мужчины старались помочь ей: Ефим тянул за уздечку, а Михей, воткнув вилы сзади в сани, толкал их.

Направляясь к лесу, мужчины посматривали, чтобы снежно-ледяная корка не порезала лошади ноги. Порежет — беда!.. Но пока обходилось, лошадь, вытягивая из снега ноги, шла не торопясь, наверное, она своим животным чутьем понимала, как ей нужно передвигаться по такому опасному насту.

— Не умница ли? — сказал Ефим. — Смотрите, как идет. Иной раз животина умнее человека. Вишь, какова! Сейчас при таком снеге копытному зверю тяжело. Если в такую пору волчья стая обложит лося, косулю, кабана — спасенья нет!

— Что зверь? — сказал Николай. — Сейчас о человеке думать надо.

— А ты бы меньше разговаривал да садился в сани, — ответил ему Ефим. — Ковыляешь, как неизвестно кто. Не боись, твой вес — лошади не тяжесть.

— Садись, садись, — поддержал Ефима Михей. — Дорога не близкая, — и добавил: — Я вот что мыслю, дядя Ефим. А назад-то, с возом, как? Небось, сани корку ломать будут.

— Не думаю, — сказал Ефим. — Полозья широкие. Хотя, смотря сколько нагрузим. Впрочем, и раньше сено возили по такому снегу. Сани хорошо идут поверху, конечно, кое-где корка хрустит. Не без этого. Тут главное не торопить лошадь, она сама нужный шаг выберет. Вот и вся хитрость.

Николай в сани так и не сел. Он по-прежнему ковылял за ними, выбивался из сил. Упрямец, не слушал мужчин, будто назло им шел по целине, дескать, что вы все время напоминаете, какой я никудышный…

Тем временем уже хорошо обозначилось утро. Далековатая полоска леса, еще полчаса тому черная, сейчас розовела на фоне снежной синевы. Небо из темно-голубого стало желто-голубым, почти зеленым, высоким. Из-за леса медленно поднимался огромный красный диск солнца — над землей занимался новый день.

Михей все подталкивал сани, время от времени втягивал голову в ворот изношенной шинели, иногда щурился, особенно когда на погорке ветер вихрем кружил снежок, полными горстями бросал его в лицо.

Холода Михей не боялся. Во всяком случае, он так считал, приучил себя к этой мысли, не зная, что к холоду вообще привыкнуть нельзя. За время партизанской жизни ему не раз доводилось мерзнуть и в снегу, и в ледяной воде. Сейчас в своей шинели бывший окруженец напоминал идущего издалека бойца, одежда которого истрепалась, и сам он выбился из сил, а ему еще — идти и идти… Дойдет ли туда, куда надо?..

Если уж так говорить, то в свое время Михей дошел... В начале войны он попал под Витебском в окружение. В Гуду пришел, когда уже легла зима. Вышло так, что остался он один: бойцы роты, в которой служил, в неразберихе первых дней войны разбрелись кто куда. Тогда их, молодых, необученных,

разбросал, рассыпал то ли страх перед неизвестностью, то ли поиск места, где и как определиться, чтобы потом противостоять беде. (Попробуй пойми, что у кого тогда было на душе?.. Кругом стреляют, люди гибнут, а ты не знаешь, что делать…)

Как Михей дошел до своей деревни, сейчас он и сам не сказал бы: то ли язык довел, то ли карта, то ли какое-то чутье на родные места. В конце концов пройдя немало дорог, минуя всяческие преграды, пережив опасности, а их много было на его пути, он очутился дома. Был он отощавшим, обессиленным, но живым, невредимым.

Прятался от немцев на сеновале, а когда пошли слухи, что в лесах появились партизаны, пошел к ним…

Где-то через час-полтора въехали в лес. Петляя по заснеженной дороге, по которой всегда ходили в луговины, находящиеся среди болот, мужчины заметили, что из леса к стожкам ведут цепи глубоких следов от копыт. Эти цепи были слегка припорошены снегом. Присмотревшись к ним, Ефим сказал:

— Боюсь, если лоси не съели наше сено, так располовинили его, уж это точно.

— Так мы же стога хорошо огораживали, — ответил ему Михей. — Неужто…

— Посмотрим, — вздохнул Николай. — А вообще-то, не должно. Так всегда раньше было: и огораживали, и лоси ходили, и — ничего.…

Стога, хоть и были огорожены жердями, но большей частью на высоте человеческого роста были хорошо пообскублены. Голодные лоси через жерди все же просовывали к стогам морды: надо было подальше огораживать.

Михей, сбрасывая из саней веревки в снег, раздраженно пробубнил:

— Ну вот, доэкономились.

— А ты думаешь, если бы сено возле сарая было, так оцелело бы? — произнес Николай.

— Оцелело бы не оцелело, но…

Михей взял вилы и, проваливаясь по колено в снег, пошел к стожку.

Воз они сложили быстро. Работали охотно, истосковавшись по делу. Разогрелись, разгорячились — лица красные, пар вокруг — клубами.

Сено на сани подавали Михей и Ефим. Николай был на возу, складывал его, деревяшкой притаптывал сухие, шуршащие пласты. Правильно сложить воз, чтобы он не рассыпался, нужно умение, и он в этом деле, как говорили сельчане, был спец. В прежние, довоенные времена в этом равных в деревне ему не было: сметает стог, не стог — кукла. Да и воз он мог сладить такой, что и увязывать не надо.

Сейчас, сложив сено на санях, Николай радовался, что его навыки не стерлись со временем, что он по-прежнему может уложить воз так, что мужики, осмотрев его, могут сказать одно: «Загляденье!..»

Ефим так и сказал. Эта высшая похвала старика, к мнению которого все всегда прислушивались, радовала Николая, убеждала его в том, что он, несмотря на свое увечье, человек в хозяйстве нужный.

— Ты, Николай, со своей ногой уж оставайся там, — посоветовал ему Ефим.

— Ну не пойму, почему вам моя деревяшка так мешает, — разозлился Николай. — Думаете, если я с деревом (он постучал самодельным протезом по жерди, которую ему подали мужчины, чтобы увязать воз), так уже и ломаного гроша не стою? Знать, вы меня и председателем избрали, потому что пожалели: инвалид!.. Я вот еще месяц-два этой деревяшкой поколю землю, да так наловчусь на ней прыгать, что шиш за мной кто двуногий угонится! Не надо

меня жалеть: живой я, живой, да еще в силе!.. Нам есть кого жалеть: детишек, Катерину… Война там, — махнул он рукой на запад, — а мы — здесь. Так что не надо — ля-ля да ля-ля, словно не мужики мы, а бабы какие…

Он лег на бок, ухватился руками за веревку, привязанную к концу жерди, ловко соскользнул с воза в снег.

— Ну ты и колючий! — улыбнулся Михей. — Да никто тебя не жалеет. Уж если — чуток. А ты в самом деле окрепни, пусть как следует заживет, тогда хоть танцуй… Лошадь жалеешь. Жалей. Оно, может, и так. Только кого жалеть: человека или животину? Да волк ее режь! Будем мы — будет все…

Ефим тем временем махнул рукой, дескать, затеяли пустое, дернул лошадь за уздечку, воз тронулся, сейчас сани уже шли тяжело, местами ломая снеговую корку.

Вскоре, почувствовав воз, лошадь напряглась, было видно, что ей тяжеловато: и голова часто-часто заходила сверху вниз, ноги будто подкашивались, на шее забугрились мышцы. Мужчины начали помогать ей, воткнув вилы в воз сзади.

— Я так рассуждаю, — через некоторое время сказал Николай, — вот вывезем сено, да денька через два-три в лес нам надо ехать. Пока держится снег, будем трелевать бревна, строиться надо. Не ждать же, пока мужики с фронта вернутся. Придут, ведь и спросить могут, дескать, чем вы здесь занимались, пока мы воевали?

— А мы не сидим сложа руки, — возразил ему Ефим и, обращаясь к Михею, спросил: — Как думаешь, Михеюшка?

— Спросят — найдем что ответить, — сказал тот. — На улице же никто не живет? Землянки сладили. Что-то и посеять смогли… Я за этот спрос не очень-то боюсь. Меня тревожит другое: что скажу им, когда спросят, почему эта вражина Стас здесь всю войну как хотел, так и расхаживал? Я же тут партизанил. Я за ним почти три года охотился, а все впустую. Не один раз пересекались наши стежки-дорожки, а результата никакого. Однажды в Демках уж точно мог я его придавить. А он выскользнул, как уж из-под вил. Убежал. Он тогда на окраине деревни в хате самогон с дружками хлестал. Мы налетели, пока туда-сюда, так он и ушел за реку… Вот доложи кому об этом, скажут: какой же ты вояка, если даже с пьяными полицаями не смог совладать?.. А вообще-то, могут спросить: «Что вы здесь делали, пока мы на фронте воевали?»

— Ладно, — сказал Николай, отрывая Михея от его размышлений, — сейчас в самом деле надо думать о том, как строиться. Навозим дерева, одну хатенку поставим, другую... Смотришь, постепенно жизнь наладится. А тем, кто немцу служил да уцелел, — сполна воздастся. И их помощникам — тоже.

— И их родным? — спросил Михей, как наивный мальчишка.

— Об этом мы уже говорили, — вмешался в разговор Ефим. — Они-то, родные, при чем?.. Скажем, при чем тот же Иосиф? Вот вы бы его без суда и следствия к стенке поставили, была бы ваша воля. А я еще подумал бы. Я же с ним сызмальства связан был. Молодой он был парень хоть куда, дружественный. Сирота. Земли у его отца имелось, как бабе сесть… И девушка у него была пригожая. Из Демков. Любились они. А вот надо же, с Марией снюхались, или опоила она его чем-то. Ему тогда перевалило далеко за сорок, а ей — тридцатник.

Да и у Марии парень был. Работяга. Матвей. Словом, если подумать, так у всех их жизнь как-то срикошетила. Кто в чем виноват, у меня ответа нет. Да и не судья я им. Помню, был там, в Демках, некто Бонафаций Комаровский.

Однажды, пока мы с Иосифом у Варiончика амбар ладили, так Бонафаций свел Иосифову красотулю: люди их в снопах заспели в срамных видах. Иосиф, как узнал об этом, уж очень кручинился. Помню, когда Комаровский, мы его звали Комар, вез ее под венец, так Иосиф перед конем на дороге бревном лег… Значит, была у человека душа, страдала.

— Была, да вся вышла, — сказал Михей.

— И все же кажется мне, что Иосифова Текля, так ее звали, не за Комара шла, а за его богатство. Паном настоящим он не был, но и не бедствовал. Земля у него, крепкое хозяйство, работников держал. А вот как Иосиф с Марией сошелся, не скажу, не знаю. Как-то в один день сосватал он ее — и все там. Может, отомстить Текле хотел, а может, на Варiончиково богатство позарился: у того земли хватало. Но вот что интересно, это вы сами знаете, как только колхоз мы здесь ладить начали, Иосиф — сразу же к нам. Все свое отдал: и лошадь, и корову, и овец. Да и работал он неплохо, как на себя.

— Еще бы, — злорадно усмехнулся Михей, — как ему было не работать? Тестя раскулачили, а его не тронули: успел все в колхоз сдать, выходит, перехитрил всех.

— Ну, это ты зря, — не согласился Ефим, — Иосиф же до колхоза не очень-то жил, а у тестя старался ничего не брать. А тот не любил его. Тесть даже ребенка, Стаса, себе забрал. При нем, при Варiончике, жил малец.

— И дожился. Гада вырастили дед с отцом, а не человека, — сказал Николай.

— Может, и так, — тяжело вздохнул Ефим. — Стас людей сызмальства сторонился, волчонком на них смотрел. Бывало, сидит на дедовой завалинке, ест хлеб с маслом, а рядом тот же Петька голодными глазами блестит. Нет, Стас разломить пополам не догадается. Дед его таким был: зимой у него снега не допросишься. Я не забуду, как землю делили. Тогда Варiончик с вилами и дневал, и ночевал на своей: любого мог проткнуть. А не понимал, что река не бежит вспять: если прорвет запруду, так уж прорвет!..

— Я думаю, — размышлял дальше Николай, — еще будет нам время во всем разобраться. Война столько всего наделала, столько судеб изломала, искалечила. Здесь дядя Ефим прав — не надо рубить сплеча. Во всем ясность нужна. Со временем все отстоится, муть осядет, светлое — оно само наверх подымется. Но все же я разумею так: если Иосиф по закону и не виноват, то как Стасов отец, как человек — весь в дерьме. Люди живут по своим, человеческим, неписаным законам. Их не обойдешь, не объедешь. Они, законы эти, веками складываются. По ним наши предки жили. По ним и мы жить должны. И дети наши. А как же иначе?..

— Мудрено, Николай, — пожал плечами Ефим. — Я в таких твоих пониманиях жизни не очень-то разбираюсь. Хотя, послушаешь тебя, подумаешь — выходит, так оно и есть: живи, как люди, и весь сказ. Только легко сказать: живи… Я побоялся бы других наставлять: как свое вспомнишь — так, вроде, права такого нет у тебя. Еще бы: случалось, и нередко, людей обижал ни за что ни про что, хотя и они тебя обижали… Конечно, когда не со зла обижал, а по глупости, — одно. А вот когда со зла — иное… Бывало, в молодости подерешься с кем из-за дивчины, так это еще ничего. А вот как кого облаешь, будто собака, — это уже иное. Бывало… Да мало ли что… Ясность, говоришь, придет время, говоришь… А я уже стар. Мне ждать некогда. Мой день — век. Ясность мне сегодня нужна. И не могу, да и не хочу сегодня, сейчас взять да и просто так вытащить из своей жизни Иосифа, словно занозу из пальца: выбросил и забыл. А если он у меня глу-

боко в душе сидит, тогда как?.. Если Иосиф втайне подсоблял сыну и это откроется — одно. Если нет — так и суда нет. Что он, старик, мог с ним сделать? Пьяного удушить?.. Так сын ведь… Грех. Мы уже люди старые, иногда остаешься наедине с собой, вспомнишь прожитое, да и подумаешь: а что там, за последней чертой, тебя ждет? Кто знает точно, есть тот свет или нет?.. Представь, что есть. С какой душой тогда, скажем, Иосифу туда идти? С душой сыногубца?.. Нет, мужики, нельзя сгоряча рубить, нельзя. Вот, скажем, вскорости аль нет, я уйду туда, куда ушло большинство когда-то живших на земле. И мне не все равно, каким я туда явлюсь. Не все равно и как вы здесь жить будете без меня. Как будет жить Катя, ее дитя, а оно родится. И мне хочется, чтобы то дитя училось ходить не в землянке, а в хате, по светлым теплым половицам, которые я, надеюсь, еще успею положить. Мне хочется, чтобы дитя это на солнышко смотрело через те окна, которые я поставлю. Мне хочется знать, какому Иосифу в молодости я подавал руку: такому, как Стас, или иному. Судить легко — понять, разобраться трудно.

— Да выберемся мы из землянок, выберемся! — раздраженно, возвращая разговор в прежнее русло, сказал Николай.

— А ты не перебивай, слушай, что старшие говорят, — остановил его Ефим и продолжал: — Я думаю так: если у человека есть зло, так ты его не прячь, рано или поздно покажется наружу. Злые мы сейчас какие-то. А почему, если бы кто спросил? А я отвечу: пережили много, души наши оледенели, еще не оттаяли. А почему? Да потому, что нас пока мало что греет в этой жизни. А вообще-то пока я знаю одно, что нельзя жить со злом в сердце: рано или поздно оно не выдержит, лопнет… Да, есть обида и есть зло. Обида постепенно исчезает, стирается из памяти, разве что еще какое-то время остается сожаление, что так было. А вот зло требует иного исхода. Оно слепое. К мести, к расплате за малейшую обиду человека толкает. Только к какой, за что?.. Скажем, я считаю, что кто-то виноват в чем-то, настаиваю на своем и никто меня не может переубедить. А если человек ни в чем не виноват? Вот что страшно, мое нежелание понять это.

— Ты как-то странно рассуждаешь, дядя. Так можно договориться до того, что любого гада надо оправдать. А если он тебя по морде бьет?.. А?.. По-твоему, по одной щеке бьют, другую подставляй? — возмутился Николай. — Как в Библии, что ли?.. Правда, я ее не читал, но от людей слышал, такое там есть.

— Читал, не читал. И я ее не читал, при своей грамоте: крестиком расписываюсь. Только свою щеку я никому не подставлял и не подставляю, — сказал Ефим. — Говорю, сейчас в жизни столько всего переплетено, что не так-то просто расплести, развести по своим местам.

Ефим смолк, вобрал голову в ворот шинели, прикрылся от ветра, потер руки. У мужчин было такое ощущение, что он выговорился сполна, что ему это давно нужно было сделать. Но и выговорившись, он ничего определенного для себя в отношении Иосифа не решил: вроде и защищает его, вроде и нет… И эти его размышления посеяли у мужчин сомнения: действительно ли все так с Иосифом просто, как они думают.

За разговором не заметили, как подъехали к мосту. Остановились. Ефим осмотрел ноги лошади: шла своей же колеей, в след, нет никаких порезов.

Ефим похлопал ее по шее, погладил.

— Дядь, а дядь, мы вот все о стройке говорили, — сказал Николай. — С Кати начнем, что ли?

— А с кого же, — ответил ему старик.

6

Катя Грудницкая, которой мужики первой в деревне собирались поставить хату, стала жить в Гуде со своим Петром незадолго до войны. Родом она была из Збродья, соседнего села (в нем до коллективизации стояла церковь, но когда организовали колхоз, ее превратили в клуб).

Забродье, как и Гуду, летом сорок третьего сожгли фашисты. Сожгли, как и многие белорусские деревни, вместе с жителями, творя нечеловеческие зверства на земле, неслыханные доселе людьми, не виданные небом.

До войны гуднянские парни ходили в Забродье на гулянье, брали тамошних девчат замуж, таким образом, две эти деревни, можно сказать, роднились.

Гуду и Забродье разделяло километров восемь. Это если говорить о расстоянии, которое можно было преодолеть по дороге. Если же идти тем путем, которым ходили парни, то получится раза в два ближе, хотя путь этот не простой. Еще бы — река. Она петляет в полях, в низинах, у болот, и не так-то просто преодолеть этот небольшой путь между двумя деревнями. Хотя через Дубосну переправлялись на лодках: буднянцы в Забродье, а те в Гуду.

Вообще-то, издавна повелось, что в родной деревне мало кто из парней обращает внимание на своих девушек — разве что уж если невзначай до беспамятства влюбится, — а так чужие кажутся привлекательней, красивее, загадочней, чем те, что рядом с тобой.

Вот и брали гуднянцы забродьевских, а забродьевские — гуднянских…

Забродье было большое: три Гуды, не меньше. Туда даже провели электричество, экое диво, не дошедшее до войны до Гуды.

В Забродье ходил на гулянки и Петро Журавец. Кто знает, когда Катя запала ему в душу. Может, в один из тех летних вечеров, когда легким туманом устлан луг у реки, а звезды падают в нее, и все вокруг чарует своей таинственностью. А может быть, весной, во время паводка, когда все живет ожиданием обновления.

Впрочем, когда бы это ни случилось, а все равно привез он девушку в Гуду весной. Самой обыкновенной, как и все земные здешние весны.

В ту весну на здешнюю землю пришел большой паводок — где-то в горах, в Карпатах, таяли снега, льды, и вода по необузданным рекам бежала сюда, заливала все окрест, срывала венцы новых срубов, сметала лежневки, доходила до Забродья, заставляя местных жителей перебираться из хат на крыши и там ожидать, пока все успокоится.

Конечно, такие паводки случались не каждый год. Хотя все паводки помнились, и людям бы лучше не селиться в здешних местах — так нет, без воды, пусть и такой, они не представляли себе иной жизни, и каждый знал: будет вода — будет хлеб.

В паводок здесь с утра до вечера по улицам плавали лодки, мужчины сидели на веслах, слышались женские и детские голоса, кричали петухи, лаяли собаки — все было привычным. Как пять, десять, двадцать лет тому…

Гуда стояла немного выше Забродья, паводками тоже не была обделена. Ее также, пока не насыпали дамбу, часто затопляло. Чью хату, что повыше стояла, до завалинок, а чью — по окна и выше. Когда же здесь за два года до войны солдаты насыпали дамбу (сначала такую же дамбу, только раза в три длиннее, они возвели у Забродья) паводок Гуду дважды обошел. Гуднянцы тогда вспоминали добрым словом военных: учения проводили, вал насыпали, а нам польза…

В последнюю предвоенную весну паводок откатился от Гуды, но все же накрыл правую, нижнюю часть Забродья — сумел-таки перехлестнуть там не достаточно высокую дамбу.

Тогда челны и лодки гуднянцев сновали между деревнями. Гуднянцы возили в Забродье хлеб, корма животным на колхозную ферму, стоящую на погорке возле леса и отрезанную водой от деревни.

В ту весну вытащил из сарая свою новую, только что сработанную, просмоленную лодку Петро. Столкнул ее в воду и, ловко орудуя веслом, направился в Забродье.

Высокий, широкоплечий, с веселыми глазами и добрым открытым лицом, он гнал ее по большой воде, не обращая внимания на то, что она местами кипит, несет бревна, пни, выворотни, кусты, которые, попадись на их пути, подомнут под себя. А может, и обращал, но, выросший на воде, он с малых лет научился как следует орудовать веслом, и нет ничего удивительного, что легко петлял среди этих преград.

Возле Забродья Петро веслом словно подсек корму, повернул лодку к ферме, привязал ее к старому дубу, расщепленному сверху донизу черной широкой извилистой лентой, оставшейся от молнии и, разбрасывая по сторонам брызги, похлюпал к длинному деревянному строению. Потом там слышался девичий смех, голоса.

Зачастил Петро в Забродье. Однажды, когда вода только-только начала возвращаться в русло, а на островах засветились желтизной серые ветви вербы, на золотисто-синей воде под высоким слепящим солнцем закачалась Петрова лодчонка, и слышалась из нее в два голоса песня:

Жаваранак, ранняя птушачка,
Чаго так рана з выраю вылятаеш?
А там пры даліне — там ляжаць крыгі,
А там пры дарозе — снягі і марозы.
— А я тыя крыгі крыламі разаб'ю,
А я тыя марозы нагамі растапчу…

Пел Петро, и подпевала ему Катя, зная, что встретила свое счастье — Петра, и с ним ей жить да жить…

И была свадьба в Гуде. И как здесь заведено издавна, гуляла на ней вся деревня. И был каравай, и звучали присказки, шутки-прибаутки и пожелания, чтобы жито родило, чтобы Катя любила, чтобы пчелы роились и детишки родились… И был на свадьбе Стас Кучинский. Он сидел рядом с молодыми и сыпал шаферкам горстями конфеты.

Но недолгим оказалось Петрово и Катино счастье… Война началась. Мобилизовали на нее вместе со всеми, кто под призыв попадал, Петра и Стаса. И их односельчане-одногодки вместе шли на войну. А там на долгие четыре года разошлись их стежки-дорожки. Встретились Петро и Стас, когда наши освободили район. Тогда командование части (редкий случай — она проходила рядом) отпустило Петра проведать родных. Пришел Петрок в Гуду в конце июля. И верила, и не верила Катя своему счастью. Будто предчувствовала, что будет оно недолгим: ни на шаг не отпускала от себя Петра. И не пускала она тогда его в лес, умоляла не идти. А он пошел выследить вепря: люди, которым посчастливилось остаться в живых после жуткой трагедии лета сорок третьего, голодали. Пошел, да там и остался…

В Вылозах, глухом заболоченном месте, когда Петро, походив по лесу, присел отдохнуть на старую подгнившую колоду, на него неожиданно вышел Стас с дружком-полицаем. (Когда пришли наши, эти полицаи убежали в лес: немцы не взяли их с собой, бросили, как ненужных собак.) Петро даже не успел снять с плеча винтовку, увидев Стаса и его дружбана, не бросился

бежать — как сидел, так и остался сидеть. Узнали они один одного: Петро и Стас, воин и дезертир… Долго смотрели в глаз друг другу. А потом…

В этом Стас и его подельник признались, когда возле Рогачева их арестовали, а Петра через несколько дней нашли в лесу гуднянцы.

Сейчас Катя жила одна в землянке, ожидая, когда у нее родится ребенок. По ее подсчетам, это должно случиться весной.

7

После того как немцы сожгли деревню, Иосиф как никогда остро ощутил свою беспомощность и старость.

Старости, обычной, возрастной человеческой, он не боялся. Когда-то, в молодые годы вообще не думал, что она придет. Казалась, будешь жить вечно. Казалось, ты неподвластен времени.

Получив за Марией полоску земли, Иосиф получил и лошадь. Это — настоящее богатство. К тому же у Иосифа имелось золото. Червонец, монета. Тяжело он ее заработал когда-то в молодые годы. У богатых людей жилы свои рвал на пашне, косьбе, жатве. За свои труды брал бумажные деньги, складывал рубль к рублю. Затем в городе обменял их на золотую монету. Мыслил так: женюсь, на хозяйство пущу, бумажки и есть бумажки, а золото со временем только дорожает, не зря так бывалые мужики сказывают…

И вот, женившись на Марии, получив за ней приданое, думал, что заживет как человек. В детстве настрадался, наголодался, и не потому, что якобы мачеха была жадная, нет. Она, эта чужая женщина, давала ему все, что и своим детям. Настрадался потому, что своей земли у его отца был маленький клочок, а на нем не разживешься. Когда же Иосиф начал самостоятельно вести хозяйство, мечтал стать хозяином, но все равно золото не посмел использовать: увидит Мария, отцу отберет, скажет, тебе оно без пользы, а он в дело пустит.

И сколько ни рвал жилы Иосиф на своем несчастном клинышке, а зерна в закромах так и не прибавлялось, хозяйство не расширялось, и, вопреки мечтаниям, хорошие сапоги он так и не обул, ладной избы не поставил. И жил, как говорят, с оглядкой на Марииных родителей: что они скажут, то и делал. Да и жена с утра до вечера сипела на него, укоряла, что хозяин он никудышный, не то, что ее отец, у которого и зимой, и летом были работники.

— Да на него вся деревня горб гнет! — говорил Иосиф, когда Мария уж очень надоедала, ставя отца в пример.

— Гнет, да не за так, за деньги.

— Считай, что за так. Копейки платит.

— Он их силой к себе не гонит. Сами бегут: «Дай работу, дай…» А ты, если и дальше так будешь хозяйничать, с голоду опухнем, дитя со свету сведем.

Иосиф смолкал. Дитя есть дитя. Как-то странно с его рождением получилось: только они с Марией начали жить как муж и жена, а у нее сразу же брюхо обозначилось. Хотя, вроде, не девкой Марию брал. Слыхал он от бывалых мужиков, какова она, девка, что с ней происходит, когда бабой становится… Была у них первая ночь, как у жены и мужа, и ничего, что должно было после этого остаться на простыне, не обнаружилось. Свекровь утром сразу же вытащила из-под них простынь, когда он невзначай зацепился за нее, заорала: «Глаза твои бесстыжие, че зыришь? Бабьей грязи не видывал? Отвернись, срамник».

Да не зырил он, само глянулось…

И тогда у него закралось сомнение: не Матвеева ли Мария женщина? Не он ли, Иосиф, умыкнул ее от Матвея? Хотя как умыкнул? Разлучили Марию и Матвея его родители: дескать, грех ему, приверженцу старой веры, с поганкой жить, свою веру блюсти надобно… А тут Иосифа его девушка осрамила. Обида жгла тогда Иосифа, стыд: как людям в глаза смотреть? Чувство было такое, что это тебя в негожем виде обнаружили, а не ее… Печалился, кручинился, места себе не находил. По деревням метался, по гуляньям ходил, на девчат засматривался: чем Текля лучше их, что в сердце его прикипела — не оторвать?.. Вроде и пригожие, и ладные девчата, а все не такие, как Текля. А она, ее образ жжет, жжет… Куда ни посмотришь вокруг, везде она видится. Без нее стал свет не мил, без нее жизни не было. И так долгих лет двадцать, что ли… Пока не встретился с Марией. Впрочем, он и сейчас не знает, не помнит, как и где Мария подвернулась, руками шею обвила, ласковые слова в уши прошептала… Да, хмелел он тогда от ее слов, и хмельность эта была какая-то злая, кому-то в отместку — это он после понял.

Сошлись они с Марией быстро: однажды Вариончик застал их вечером на завалинке у своей бани. Они сидели, даже не обнявшись, просто сидели. А он заорал: «Сопсел, как пес, состарился, девчонку совратил! Под венец, кобель ты этакий!.. Сейчас же под венец! Осрамил девку, осрамил!..»

Да не осрамил, не трогал он ее! Но раз уж так вышло, значит вышло: под венец! Видел, что Мария этому рада-радешенька. Правда, сперва это было. А потом уже, когда стали жить в супружестве, иной раз в постели Матвеюшкой его называла. А он, Иосиф, молчал, затаясь думал, с чего бы так?.. Он-то сам ее Теклюшкой не кликал.

Сын родился не так, как положено, не через девять месяцев, а через шесть их супружеской жизни. Свекровь орала: «Недоношенное дитя, с материнской голодухи. Слабый мальчонка, хотя бы выжил…»

Да не голодали они! Было что есть. И не слабый мальчик был — богатырь! Старушка Фекла, что бабила (отрезала пуповину), так и сказала: «Богатыря выносила». Свекровь зло зыркнула на нее: «Много видишь, глаза твои слепые. Слабое дитя, невыношенное, до сроку на свет объявилось». Да увела Феклу в кладовую, а потом за дверь выпроводила, пальцем погрозила…

Тогда Иосиф словно отрезвел: мать честная! Здесь что-то не то… Его ли дитя?..

Раздумья были тяжелые, только одному ему известные. Никому о них не говорил. Дитя есть дитя. Принял его, как и подобает отцу. Думал, а если и не его, так в чем оно виновато? Растил, смотрел, чтобы здоровый мальчик был. Однажды, когда Стасу годиков пять исполнилось, взял его в Дубосну на ярмарку. Уж очень хотелось мальчонке мир показать да каких-нибудь игрушек диковинных купить. У церкви встретил Матвея. Тот тоже на ярмарку приехал. «Здоров — здоров». А как иначе? Мужчины знакомы. Знал, Матвей тоже женился, детишки есть, вроде, двое, мальчик и девочка.

— Твой? — спросил Матвей, указывая дрожащим пальцем на Стаса, сидящего в телеге, и внимательно рассматривая его.

— А чей же? — удивленно ответил Иосиф.

— На мать похож, — заключил Матвей. — Знать, счастливое дитя, коли так. У нас так сказывают.

— Дай Бог, — только и ответил Иосиф, посматривая на сынишку, стараясь увидеть, чем же Стас похож на Марию. Не нашел тогда, чем: дитя как дитя, черты лица еще не совсем сформированы, разве что нос такой же, как у нее, длинный. Да губы тонкие.

Повернулся, а Матвея и след простыл. Странным тогда показалось Иосифу Матвеево появление и исчезновение.

Возвратившись домой, сказал об этом Марии. Она вдруг вызверилась: «Что ты мне Матвеем глаза колешь? У него своя жизнь, а у меня своя. Иди лучше навоз от коровы выбрось, по вымя в жиже».

Вышел из хаты. Нет, не навоз выбрасывать, а побыть наедине: тяжело ему с Марией, а ей с ним. Вот не препятствовали бы Матвеевы старики, может быть, жила бы она с ним по-иному, ладом, в понимании, не то что с Иосифом. А он, Иосиф, может быть, тоже нашел бы женщину по себе. А здесь получается, не пара они с Марией, не пара…

Так и жили под одной крышей два чужих человека, пока не отошла Мария раньше времени на тот свет, как рано отходили туда все женщины Вариончикова рода.

С тех пор много воды утекло в реке, многое в жизни изменилось, произошло. И в колхоз вступил не последним из гуднянцев… И, случалось, к вдовам здешним присматривался (а как же одному хозяйство вести?). И с людьми, кажется, ладил, со многими дружил, но никогда нигде никому и слова худого о Марии не сказал, тем более о своих сомнениях и догадках насчет отцовства Стаса. Поднял мальца, вырастил, человеком хотел видеть.

А Мария, сколько вместе жили, столько и сипела, да сохла с каждым годом все более и долее, пока не умерла. Впрочем, если вообще по годам, так рано: в сорок семь. А если исходить из всего женского Вариончикова рода, так по возрасту всех пережила. Конечно, грешно подобным образом рассуждать, но такова жизнь, с этим ничего не поделаешь…

Часто, глядя на фотографии в рамке на стене, где они вместе с Марией, Иосиф думал, что вместе они только и были на фото…

В такие минуты он словно говорил ей: «Вот, Мариечка, не слушала ты меня, а зря. Вроде я и не был отцом твоего ребенка, а так, твой парубок. Мой ли, не мой ли Стас — судить не мне. Когда-то слышал от женщин, дескать, не тот отец, что на свет пустил, а тот, кто вырастил. И еще слышал или причудилось: только женщина сама знает, чье дитя носит… Ну и пусть так, а Стаса я растил, стало быть, и отец я…

Да, грызлись мы с тобой, Марийка, как собаки. Было, и мирились. Постель делили. Только и через пять лет семейной жизни, случалось, называла ты меня Матвеюшкой. Значит, была со мной, а его видела. Но за это я тебя не корю: сердцу не прикажешь. Я себя корю за то, что жизнь свою тебе в руки всучил. И то, что отдавал Стаса твоим родителям, да еще в том возрасте, когда детская душа к худому не устойчивая: лепи из нее, как из глины, что хочешь. Вот они и вылепили: сами людей не любили и его этому учили. И как я ни старался потом уразумить его, что так нельзя, этак нельзя, ничего из этого не вышло… Вот с фронта пришел… Ладно, многие вернулись: кто в окружение попал, кто был ранен, пленен, каким-то образом оттуда вырвался. А кого — женщины у немцев выкупили, выдав за мужа, брата, сына. Так хлопцы потом в партизаны шли, здесь с немцем воевали. А Стас — нет, в полицию… Этим самым он меня на всю оставшуюся жизнь словно к позорному столбу пригвоздил. Как можно с этим позором жить — отец полицая?.. А вот как-то живу. Тебя пережил. А сейчас, может, и Стаса уже пережил: кто же ему простит людскую кровь? А я живу, хлеб жую…

Вот, о хлебе вспомнил. Жили, все сипела, что хлеба тебе мало. А он был, хлебушек, в хате, себе всегда хватало. И к хлебу было. Но правду говорят, что не хлебом единым жив человек… Эх, Мария, Мария! Мы с тобой виноваты, что со Стасом так вышло. Хотя, тебе сейчас легко, ты ничего не

знаешь, ничего не чувствуешь. А если бы и знала, чувствовала, то неизвестно, что сказала бы. А вот у меня кровоточит сердце, горит душа. Иной раз думаю, не наложить ли на себя руки?.. Оно-то можно, да выход ли это из всего того, что гложет?.. Никто мне не сочувствует и даже не пытается сочувствовать. Люди от меня отвернулись. Вот до чего дошло. Прости, чужие мы были, чужие. Сотый раз говорю себе, и всегда убеждаюсь, что ни я тебе не был люб, ни ты мне. Выходит, во всем мы сами с тобой виноваты: так жить грешно, как мы жили. Но что сейчас говорить? Тем более, что и моя последняя година не так уж далеко: какое сердце долго может выдерживать то, что на моем лежит?..

И сейчас, уже днем, Иосиф, так же мысленно разговаривая с Марией, сворачивал одну цигарку за другой. В хате было, как в смолокурне. Кружилась голова. Он медленно поднялся с места, одел старый, слежавшийся тулуп, прошел к двери.

В лицо сразу же, как и утром, дохнуло обжигающим холодом, возле крыльца из-под двери мело снежной колючей пылью.

Иосифу показалось, что эта пыль, будто крупинки стекла, впивается в лицо.

В полутьме сеней в углу возле двери он нащупал метлу, затем рукой сильно толкнул дверь на крыльцо. Она резко скрипнула, и сразу же в глаза метнулась белизна, на мгновение ослепила, Иосиф закрыл глаза.

Когда открыл, вновь, как утром, увидел перед собой слепящую белизну. И сразу же глубоко вдохнул холодный воздух с такой жадностью, будто у него в жизни оставалась одна-единая минута, за которую он должен вобрать в себя эту обжигающую холодную чистоту окружающего мира, чтобы навсегда запомнить, какой был этот мир.

В эту же минуту впервые за много дней Иосиф ясно услышал звуки деревни: голоса детей у реки и заливистый лай собаки, меканье козы в сарае на том конце Гуды, и треск сухих веток старой сирени на своем огороде, стрекот сороки на заборе, и глухой стук деревянного ведра о лед, наросший на колодезный сруб, стоящий среди улицы.

Иосиф вновь направился под навес, пристроенный к сараю.

Сухо скрипел снег под ногами, неприятно, словно песок на зубах.

Он остановился у лодки, запорошенной снегом, подумал, что надо было бы ее сразу же, как смастерил, полностью спрятать до весны под навес. Но как ты это сделаешь один? Потом прошел вглубь навеса, взял в углу деревянную лопату и начал расчищать дорожку от крыльца к своему колодцу, некогда им самим выкопанному на улице, чуть в стороне от въезда во двор. Работал с удовольствием, но вскоре вспотел, расстегнул тулуп, сбросил в снег рукавицы.

Прокопав дорожку, сходил в хату за ведром, вернулся к колодцу.

Голоса детей, неожиданно исчезнувшие, когда начал бросать снег, вдруг вновь возникли, но сейчас уже слышались где-то недалеко за спиной. Иосифу хотелось повернуться, посмотреть на детишек, но он почему-то сдержал себя, его пальцы быстро заскользили по шесту, к которому было прикреплено деревянное ведро.

Достав воды, Иосиф не спеша, посматривая, как ветер разбрызгивает капли на снег, налил ее в ведро, принесенное из хаты. Голоса вновь затихли, будто оборвались.

Иосиф посмотрел в ведро. Оно было неполное. Ну ничего, ему хватит: взял ведро и направился к хате, стараясь идти спокойно, хотя за спиной чувствовал легкие, быстрые шаги.

Он уже ступил на крыльцо, взялся рукой за обжигающий засов, как рядом с ним в дверь ударил, разлетелся на осколки кусок льда.

От неожиданности Иосиф вздрогнул, поставил ведро на крыльцо, повернулся, решив, что детишки затевают с ним шутливую игру, нагнулся, взял кусочек оледеневшего снега, намереваясь бросить в ответ, но застыл на месте: из-за забора на него с ненавистью смотрели две пары детских глаз — Валик и Света. Иосифа поразило, что дети, когда он повернулся, не бросились бежать, не стали прятаться, а Валик даже нагнулся, взял еще одну льдинку.

Иосиф стоял молча, ожидая, что будет дальше. Кажется, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Значит, и для детишек я…»

Валик, целясь в Иосифа, прищурив глаз, смотрел ему прямо в лицо, и его рука, в которой он сжимал льдинку, медленно поднималась, чтобы бросить ее в лицо старику. И когда, казалось, она вырвется из руки мальчишки, полетит в Иосифа, он услышал женский голос:

— Что же ты делаешь?.. Дедушка тебе игрушка, что ли? Как тебе не стыдно? И кто такому тебя научил?..

Дальше Иосиф не слушал, повернулся, открыл дверь в сени: он не хотел встречаться с Катей. Он вообще боялся, что когда-нибудь их взгляды могут встретиться.

В ту ночь он не сомкнул глаз.

8

Это было необъяснимо… На следующий день, встав с постели после бессонной ночи, Иосиф почувствовал облегчение на душе. Возможно, всему были две причины: первая — то, что длинной бессонной ночью он почему-то ни о чем не думал, просто лежал в темноте с открытыми глазами. Такое состояние у него было впервые за последние годы. А именно: ты есть в этом мире, и как будто нет тебя, а все, что происходило вокруг, к чему был и не был причастен, скользит мимо твоего сознания, не вызывая никаких чувств. Состояние известное — невероятная усталость, когда душа исстрадалась до предела.

Вторая — он еще с вечера решал, что уйдет куда-нибудь из деревни, уйдет навсегда, подальше от этих людей, которые его не принимают, не хотят понять, презирают.

Подальше — это куда?.. Да хоть бы в город. В городе можно найти какую-нибудь работу. Есть работа — есть конура. Там можно пережить зиму, подрабатывая на товарной станции, а потом, когда станет тепло, можно будет уйти в скитания, вообще подальше от людей. Тогда он забьется в какую-нибудь глушь в лесу у реки, соорудит куренек да и останется в нем. Руки у него еще крепкие, топор держать не разучились, сила пока есть, одиночество вдали от людей и будет ему избавлением от страданий.

Какое-то время Иосиф стоял среди хаты, боясь выйти во двор. Сейчас ему казалось, что, увидев с крыльца деревню или то, что от нее осталось — черные печные трубы, — он потеряет (или она сама ускользнет из души) ту легкость, которая там вдруг появилась.

Он стоял, утешая себя неясным и не вполне понятным будущим одиночеством вдали от людей, пока не почувствовал, что затекли ноги.

Рассвело. Хотя в хате было еще серо, но он уже мог различать все, что в ней находилось. Вот его взгляд вновь скользнул по стене, остановился на той же, вызывающей тяжелые размышления рамке с фотографиями. От них вновь повеяло колючим, гнетущим холодом.

«Ладно, что это я? — сказал сам себе Иосиф. — Время, надо собираться, раз уже решил, так нечего отступать…»

Собирался он недолго: положил в холщовый мешочек-рюкзачок пару нижнего белья, черствый ломоть хлеба, горсть мелких луковиц, забросил шлею за плечо, сунул руки в карманы тулупа, вышел с сени.

Там остановился: а золото… С собой взять? Кругом разруха, людям есть нечего, да золота ли сейчас?

Вспомнил, как, вступая в колхоз, вместе с коровой, лошадью, упряжью и монету хотел сдать в хозяйство. Но, поразмыслив, вовремя остановился — мужики заклюют: «Кулак!» Не сдал. Ночью еще глубже под кустом сирени зарыл. Потом уже, в войну, в хате спрятал: оторвал кирпич под печью, отодвинул его, засунул монету в щель, кирпич на место приладил — попробуй найди!

Подумал еще: сколько лет монету сберегал, так пусть и сейчас в тайнике лежит, мало ли что… В полутьме открыл дверь в кладовую, перед глазами качнулась и замерла полоса света, льющегося сюда через узкое, как рукавица, окошечко в стене.

Свет, падая на пол, преломился на нем, отскочил на старые рассохшиеся жернова, стоящие в углу возле стены напротив, рядом скользнул по ним… «Давно зерна не знают», — подумал он, вдохнул холодный воздух, пахнущий пылью и песком. Иосиф прошел к полосе света, чувствуя, как под ногами проседают половицы, привычным, легким движением взялся за гладкую деревянную ручку жернова, крутнул. Раздался холодный, полузабытый железный скрип. Из лоточка на пол сыпанулась горсть трухи. Пыльца долго оседала в полоске света.

Иосиф немного постоял, потом резко повернулся и вышел из кладовой в сени. Остановился, подумал, если задержится еще хоть на минуту, то вряд ли сегодня сделает то, на что решился, — останется в плену тепла хаты, никуда не уйдет. А не уйдет сегодня, не уйдет завтра: настроение меняется — сейчас он не жалеет себя, а через некоторое время, может быть, будет жалеть, да еще как.

Иосиф решительно вышел на крыльцо, закрыл дверной засов.

«Снег, снег метет, — подумал он, — пусть дверь будет закрыта со двора, пусть в хате сохранится тепло, может, она еще кого согреет. Увидят люди, что я исчез, зайдут в избу, пусть живут».

Он шел по заснеженной улице не озираясь, зная, что снег постепенно заметает его следы. Иосиф не хотел, чтобы кто-нибудь его видел, он рассчитывал, что в такую рань вряд ли кто будет разгуливать по улице.

«Ничего, — успокаивал он себя, — я еще в силе. На кусок хлеба заработаю, сойдусь с новыми людьми — тяжело без людей. Побуду там, где меня никто не знает, где никто не будет ковыряться в моей душе, а потом — в лес, в лес…»

Остановился он на минуту только у дамбы, окинул взглядом высокую, в человеческий рост, выгнутую подковой ее спину, отливающую снежной синевой, махнул рукой, вспомнив, что немцы, отступая, здесь почему-то задержались, что-то похожее на окопы копали, да так и не укрепились, и двинулся дальше.

Вскоре совсем рассвело. Снег блестел до боли в глазах. Где-то на реке у самого берега сухо треснул лед, звонкое эхо всколыхнуло воздух, и оно будто подтолкнуло его в спину: спеши, чтобы засветло дойти до города.

Он ускорил шаг.

До шоссе проселком ему нужно было пройти километров пятнадцать. Там, на шоссе, если повезет, можно было встретить попутную машину или

подсесть на какие-нибудь сани, направляющиеся в город, — мужики из близлежащих к нему деревень постоянно наведываются туда. Если не повезет, дойдет сам до города хоть к полуночи, но дойдет. В молодые годы за день успевал туда и обратно.

Вскоре вошел в лес. Здесь было еще темно, тьма словно держалась за ветви деревьев, и если уходила с дороги, то неохотно, тяжело, вползая вглубь леса.

Но вместе с тем вверху уже прочно держался свет, дрожал на острых вершинах сосен, небо заметно розовело, поднимаясь все выше и выше.

Хотя идти по узкой, присыпанной снегом колее от полозьев было нелегко, будто по узкой глубокой борозде, Иосиф не замедлял шаг — быстро привык к дороге, шел, не останавливаясь и не падая. К дороге местами выбегали хорошо известные ему поля-поляны, на погорках они блестели оледенелой коркой.

На этих полях-полянах когда-то колхоз сеял то рожь, то лен, то сажал картошку. И урожай то был, то не был: как год выдавался, если влажный, то росло все, если сухой — нет…

В войну эти земли пустовали, заросли худым разнотравьем. Отродятся ли? И — когда?

Иосиф думал, глядя на все это, что расстается с ними навсегда. Расстается с тем, что хорошо знал, что любил, что столько лет жило в его душе. Он не думал о том, сможет ли жить там, куда шел, без всего этого, такого дорогого и родного.

Перевод с белорусского автора.

Окончание следует.





МАРГАРИТА ПРОХАР

Открыть зашторенные окна

* * *

Я отправляюсь спать в мой старый дом.
Он ждет. Он верит:
кто-то есть живой,
и кто-то же придет
к нему открыть зашторенные окна —
из тех, из нечужих,
кого любил он
и кого растил,
учил смотреть на мир
сквозь вымытые мамой стекла…

* * *

В замке пустом долго никто не живет:
пыль по-хозяйски садится на лестницы, двери…
Молча и мы постоим
перед замком своим —
бывшим замком своим,
и отправимся снова искать где-то новые двери…

* * *

Досрочно умирают те,
кого больше не выносит мир
или кто больше не выносит его сам.
Им не нужна жалость —
их не жаль…

Досрочно умирают те,
кто быстро жил,
кто много узнал,
кто пробежал путь быстрее.
Им не нужна жалость —
их не жаль.

Кому-то удается построить
храм за три дня,
кому-то не удается всю жизнь
ничего построить.
А кто-то разрушает чужие храмы —
и тогда досрочно умирают не те…
Их — жаль.

* * *

Дни в нас приходят —
        дни и уходят.
Дни под осенним солнцем…
Жизнь бесконечна,
но встреча беспечная
сломает, перевернет…
И ты поскользнешься,
        умный и смелый,
о глупый весенний лед…

* * *

Ничего не надо говорить.
Помолчим с тобой на расстоянии…
То, что мы не можем объяснить, —
нам расскажут слезы на прощание.

Ничего не надо говорить —
слушай песню осени и помни:
то, что мы не сможем объяснить, —
лучшее, что мы когда-то вспомним…





ЯНКА СИПАКОВ

Мужские рассказы

Элен

Говорят, для того, чтобы родилось то неожиданное, но всегда желанное чувство между ним и ей, нужно, чтобы обязательно что-то щелкнуло. Что щелкнуло и как щелкнуло, никто не говорит, да, видимо, никто и не знает. Просто, чтобы щелкнуло, и все.

Между ними то таинственное «что-то» прозвенело сразу же, как только они увидели друг друга.

Как-то их, белорусскую делегацию, в те далекие, еще советские, богатые на встречи времена, для подведения итогов международной конференции, проходившей в Эстонии, привезли в колхоз «Венемуйнэ». Такие итоги тут подводились, наверное, не впервые, потому что, как показалось, все в этом колхозе соответствовало такой работе: просторный, хорошо оформленный деревенский клуб; немного подальше от глаз, в затишном месте, в лесу, на берегу лесного озера добротно, с любовью срубленная из желтых смолистых бревен лесничевка, а через несколько сосен — пруд для разведения лучистой, радужной форели-стронги.

Одним словом, было где выпить, чем закусить и откуда любоваться пейзажами.

Ее он заметил сразу, как только они вышли из автобуса. Женщина както странно стояла посреди пруда и, наклонившись, нежно, по-детски, как маленькая, похлопывала обеими ладошками по воде.

Когда подъехал автобус, она разогнулась, выпрямилась, тыльной стороной ладони оттянула вверх косынку, завязанную чуть ли не по самые глаза, и заинтересованно посмотрела на гостей — будто кого-то искала.

И он в тот же момент невольно пошел к ней. Женщина, увидев это, снова склонилась, снова похлопала ладонями по воде, а потом, что-то насыпав в одну из них, опустила ее в пруд.

Она стояла на деревянном настиле, который — целый лабиринт! — пересекал водоем в различных направлениях.

По доскам, слегка возвышающимся над водой, он подошел к женщине, поздоровался и спросил:

— Что это вы делаете?

— Рыбок кормлю, — не разгибаясь, снизу вверх посмотрела на него женщина.

— А зачем по воде хлопаете?

— Зову их к себе. Я хлопаю — они и подплывают. Видите, сколько их…

И действительно, рыбы было много. Форельки спокойно плавали в воде, кружились возле настила, подплывали и к нему, к его ботинкам. Одна, покрупнее, заплыла к женщине в ладонь и теперь, ничего не боясь, не спеша собирала из нее какие-то крошки — то ли зернышки, то ли приготовленный уже корм. Форелька, беря, слизывая еду, осторожно, деликатно прикасалась своим ротиком-присоской к женской ладони — как будто специально щекотала ее. Он, казалось, и сам почувствовал это щекотание и понял, насколько оно приятно женщине. И потому тихонько, будто стесняясь того, что говорит, попросил:

— И я хочу так.

Женщина повернула к нему лицо, взглянула так мило и ласково, так искренне улыбнулась, что на ее щеках появились две очень симпатичные ямочки, и тоже тихо, еле слышно сказала:

— Давайте вашу руку.

Она ласково взяла его ладонь в свою, натрясла в нее того самого корма, что и себе, и осторожно, чтобы ничего не рассыпать, потянула к воде. Ему, высокому, пришлось стать на коленки, а женщина все тянула и тянула его вниз, и он, сам удивляясь этому, послушно подчинялся ей.

Она утопила его руку рядом со своей. И в нее в тот же миг, совершенно не колеблясь, тоже заплыла форелька.

Боже мой, какое наслаждение он испытывал в тот момент!

Губы стронги щекотали, гладили, ласкали его ладонь, едва ощутимо тычась в нее, чуть касались складок, морщинок на ней, выбирая из них крошки.

Их руки с рыбками на ладонях под водой встретились, соприкоснулись, прижались одна к другой. Ему показалось, что он даже чувствует прикосновение и той форельки, которая пасется в ее ладони...

Между руками бушевала какая-то неведомая ему до сих пор энергия, от которой, казалось, вот-вот забурлит вода.

Видимо, именно тогда и щелкнуло то загадочное «что-то» — как электрический ток.

— Элен, что же ты гостя задерживаешь? — раздался вдруг над самой его головой мощный мужской бас, от которого, показалось, завибрировал воздух. — Там его ждут, а ты не отпускаешь. Времени хватит, познакомитесь потом.

Гость, все еще сидя на корточках, не доставая из воды руку, чтобы не потревожить форельку, обернулся на голос. За его спиной стоял крепкий, коренастый, рыжеватый мужчина. Он очень дружелюбно подал гостю руку, сказал:

— Пойдем в компанию. А форелью вы и дома можете полюбоваться. Мы же лет тридцать назад завезли к вам эту рыбу. Под Минск, в Острошицкий Городок завезли и выпустили ее в озеро. Не были там?

— Был. И стронгу ел. Но не знал, что она ваша.

В лесничевке все уже сидели за столами. Деревянные столы, умышленно грубовато, но с большой любовью и вкусом сбитые из свежих, желтеньких и еще ароматных, досок — казалось даже, что их тут, как скатерти, меняют с каждым новым приездом гостей, — были щедро заставлены едой и напитками. Деликатесы, среди которых и видом, и запахом бередили аппетит разнообразные блюда из дичи и рыбы, так вкусно приготовленные с каким-то своим, эстонским секретом, что отказаться от «еще одного кусочка» было невозможно.

Он знал, что эстонцы обычно очень сдержанные, если не сказать — холодноватые люди, и потому удивился, с каким гостеприимством хозяева, жители Севера, почти скандинавы, их угощали, уговаривали, присматривали за ними — прямо как у нас на какой-нибудь свадьбе с добрым и милым белорусским «примусам». А после всего с полка, с пылу с жару — да в озеро, в воду. И плывешь, плывешь, плывешь — аж до того берега.

Его как-то ненавязчиво, будто на расстоянии, опекал тот человек, который на рыбной плантации подал ему руку и привел сюда, в лесничевку.

За столом они и познакомились.

— Я — директор пруда, всего рыбного хозяйства, которое вы видели уже, — улыбнулся он. — Зовите меня Арви. А мне к вам как обращаться?

Когда Максим назвал свое имя, Арви, пожав ему руку, сказал:

— А я уже знаю одного вашего Максима.

И одним только голосом напел гостю мелодию «Зоркі Венеры» Богдановича.

Женщину же ту, с которой они вместе кормили с рук форелек, он сначала не узнал. На пруду, на дощатом настиле она была в рабочей одежде, а здесь, за столом, сидела такая красивая, такая нарядная и причесанная, с таким достоинством державшаяся за столом, что мужчины не только боялись с ней знакомиться, но даже и смотреть на нее.

Она же время от времени поглядывала в ту сторону, где сидел он. Сначала Максим думал, что красавица знает кого-нибудь из его соседей и посматривает именно на них, но потом, когда, внимательно обводя взглядом застолье, наткнулся на ее открытую улыбку, понял, что сам знает эту женщину. Только откуда знает? Где он видел ее? Где встречался с ней? Когда?

Красавица еще раз приветливо улыбнулась ему, на ее щечках появились ямочки, и Максим, наконец, узнал женщину: «Так это же дама с пруда, вместе с которой я кормил стронгу и которую Арви называл Элен!»

После очередного перерыва они уже сидели за столом рядом, говорили обо всем и ни о чем — будто в лесничевке были одни. На них уже никто не обращал внимания — даже Арви делал вид, что ничего не замечает, и деликатно отворачивался, когда их нетерпеливые руки вдруг встречались.

Они теперь и в лесничевке, и вне ее были только вместе. Однако в сауну, где парились только мужчины, Максим ходил один — она провожала его до бани, а сама шла на дальнюю прогулку вокруг озера.

Он и дома любил баню, любил попариться, а потому и тут охотно снимал усталость от многочисленных встреч и разговоров на полке, можжевеловым веником — хлестал себя так, будто в чем-то провинился, или пока всего лишь предчувствуя какую-то свою будущую вину.

Перебрав все веники, выбрал можжевеловый — ему нравилось, как этот колючий, как ерш, можжевельник, отпаренный в горячей воде, становится очень ласковым, нежным, почти шелковым. Хлещи себя им сколько угодно, а он не бьет, а только гладит твое тело.

После парилки Максим со всех ног бежал к озеру и с берега прыгал в него. Вода бурлила, пенилась, шумела — будто в нее бросили нагретый до красноты камень. Она в лесном озере была холодная, и Максиму это нравилось — ему доставляло наслаждение приятное покалывание там, где только что ходил веник.

Он плыл по-мужски красиво. Яростно, стремительно, высоко поднимая руки над собой, широко загребая ими, сильно отталкиваясь ногами от тугой массы воды.

Иногда ложился на спину и обеими руками загонял под себя бурлящие брызги — чтобы потом неподвижно лежать и слушать, как выбирается из-под тебя воздух.

Случалось, она подплывала к нему с того берега неслышно. Неожиданно, когда Максим плыл на спине, ее лицо накрывало сверху его. Губы находили губы. Обе головы шли под воду, но губы не разлучались, оставались вместе и под водой.

Обычно они встречались посреди озера. Встречались опять же губами. Надолго замирали в страстном поцелуе: не двигаются руки, успокаивается возле них вода, и они, счастливые, как в приятном сне, в полной тишине опускаются в озеро. Через некоторое время бурно выныривают из воды и расплываются — каждый в свою сторону: он — к одному берегу, она — к другому.

В тот раз Максим еще с середины озера видел: она медленно, не спеша идет вдоль берега, не спеша раздевается, долго входит в воду, но вдруг поспешно ложится на живот и стремительно плывет ему навстречу.

Они опять встречаются губами и, не прерывая поцелуя, спешат к берегу — он как плыл, так и плывет, а ее одними губами подталкивает туда, где она только что входила в озеро. На берегу, утомленные водой и ожиданием, падают в высокую траву и затихают. Они молчат, их тела на земле привыкают друг к другу.

И вдруг с того берега, где лесничевка, чей-то взволнованный, но негромкий голос доносится до них:

— Элен!

Ему даже кажется, что это закричала испуганная чем-то птица. А женщина вздрагивает.

— Иду! — отвечает Элен тому невидимому голосу, быстренько сбрасывает со своей груди его руку, поспешно встает, одевается и торопливо исчезает, растворяется в темноте.

Он какое-то время неподвижно лежит на траве и упорно вглядывается в темноту, будто надеясь, что женщина все-таки вернется.

На берег как-то незаметно, минуя вечер, опустилась густая темная ночь, и уже ничего не было видно даже вблизи. Только на той стороне озера весело светились окна лесничевки, свет от которых бежал по воде в его сторону, почти достигая середины водоема.

Ночь будто приглушила все звуки, вобрала их, как губка, в себя.

И все же он прислушивался, надеясь услышать шаги.

И через некоторое время действительно под чьими-то ногами зашелестела трава — кто-то и в самом деле шел сюда. Но не с той стороны, с которой он ожидал, а с другой.

Пугаться было нечего, но он все же вздрогнул и всем телом, не вставая, перекатился, повернулся на шаги. В темноте никого не было видно, но трава шелестела уже близко. Вскоре гость увидел человека, подходящего к нему. Еще издали незнакомец, будто смутившись, сказал:

— А, это ты, Максим.

Это был Арви. Он шел с другой стороны озера. Подойдя совсем близко, то ли спросил, то ли констатировал:

— Отдыхаешь, переплыв наш деревенский океан. Замерз? — и, не ожидая ответа, подал руку.

Максим легко вскочил на ноги.

— Пойдешь со мной берегом? Или обратно тоже поплывешь?

— Поплыву, — ответил Максим, сразу же нырнул в воду и, вытянув вперед руки, долго плыл под водой.

Вынырнул только на глубине — уже далековато от берега.

Оглянулся, однако на берегу никого не увидел — Арви, так же, как и Элен, исчез, растворился в темноте.

Теперь вода была Максиму неприятной — и по цвету, и на ощупь. Черная, она казалась очень грязной, и он несколько раз поднимал вверх руки, чтобы убедиться, что они не испачкались.

И озеро ему показалось холоднее, чем до этого, однако он понимал, что остыла не вода, а он сам. Потому сразу же, выйдя на берег, Максим пошел в сауну.

Но все же то «что-то», которое так потрясло их в первый день, не проходило, не исчезало, не оставляло их в покое — он, куда бы ни пришел, сразу же искал глазами ее, и она тоже в это время оглядывалась: тут ли он?

С застолья они чаще всего убегали на пруд и там, прижавшись друг к другу, хлопали ладонями по воде и кормили рыбок.

Иногда, когда Максим был нужен коллегам, за ним приходил все тот же Арви, привычно подавал руку, и они рядом шли к лесничевке. Арви только с улыбкой бросал Элен:

— Мы его не задержим. Он скоро вернется, и вы докормите своих рыбок.

Кормление форелек стало чуть ли не главной его заботой. Максим, как только просыпался, сразу же бежал к пруду. Там уже его ждала Элен. Они шли по настилу, выбирали уютное место на пруду и там опускались на колени. К ним сплывалась стронга едва ли не со всего озера, и влюбленные кормили ее с рук.

На пруду они и встречали солнце, и провожали его за горизонт.

Там были и в последний день, перед отъездом. Под вечер, когда автобус уже стоял у лесничевки и в нем сидели почти все участники форума, они все еще кормили рыбок.

За Максимом, как обычно, пришел Арви. Он долго шел по настилу, нарочито громко топал ботинками — чтобы не застать их врасплох.

Арви опять же подал руку, сказал:

— Пора, дорогой друг, — по-эстонски это слово звучит как и по-белорусски: «сябра». — Автобус ждет тебя.

И тогда вдруг с колен вскочила Элен и с криком «Никуда он не поедет!» бросилась Максиму на шею. Она обвила ее руками, повисла на нем, прижалась щекой к груди.

Арви пытался разнять ее руки, оттянуть женщину от гостя, но она отбивалась от него ногами.

Максим же, опустив руки, стоял неподвижно. Хоть ему и хотелось обнять Элен, крепко прижать к себе, взять на руки, занести в автобус и усадить рядом с собой.

Но он почему-то даже не осмелился погладить женщину на прощание — как будто стеснялся Арви, с которым успел подружиться.

Наконец Арви все же удалось оторвать Элен от Максима — толкаясь, они чуть не свалились с мокрого и скользкого настила в воду.

— Иди, Максим, в автобус, — повернувшись к нему и не выпуская из рук Элен, как будто приказал Арви.

И гость послушался — медленно, очень медленно пошел по доскам к берегу. Собрал в лесничевке свои вещи — там и собирать-то было нечего — и побрел к автобусу.

Элен выбежала откуда-то из темноты, порывисто обняла его и зашептала:

— Я приеду к тебе в Острошицкий Городок, и мы будем там кормить наших рыбок. Номер твоего телефона я запомнила навсегда…

Тотчас, из той же темноты, вышел Арви, снова разжал на шее Максима ее пальцы. Взял Элен под руку, и они исчезли в темноте.

Провожал их председатель колхоза, с которым Максиму так и не удалось познакомиться ближе. Он стоял у открытых дверей автобуса и ждал его одного. Прощаясь, Максим пожал сильную руку хозяина и спросил:

— А кем приходится эта женщина Арви?

— Она его жена, — спокойно ответил председатель.

Максим вздрогнул, взялся руками за обе половинки дверей и как-то слишком торопливо, одним броском втолкнул себя в автобус.

Ы, ы, ы

Ее бросил муж.

Он развелся с женой.

И они встретились.

Она шла к нему, нет… она бежала к нему, нет… она летела к нему — вся в солнце, вся пушистая от лучей, — и он даже видел за ее спиной легкие, прозрачные, невесомые крылья — они были невидимыми, но он видел их и поражался, как они трепещут, купаются, плещутся, как воробьи, в солнечном свете.

Пока она бежала, он, как очарованный, не сводил с нее глаз, любовался ею.

Идеальная фигура манекенщицы. Коротенькое облегающее ситцевое платьице, из-под которого чуть ли не полностью выглядывают ее ноги — загорелые, упругие, манящие. Грудь, туго обтянутая платьем. Она как будто оголена, на ней будто ничего и нет. Только возбужденные виноградинки нетерпеливо натягивают ткань, и от этого прикосновения набухают еще больше: они дышат вместе с ней, и им не терпится так же, как и ей. Гибкое, упругое тело. Жаждущие, пухлые губы — на них почему-то суетится солнечный зайчик. Как будто прилип и сейчас дрожит, отрываясь. И локон — завиток волос, маняще спадающий на левый глаз. На нем тоже висит, будто колышется, лучик.

Она, не замедляя свой бег, не останавливаясь, на всем ходу налетела на него — он даже услышал, а то и увидел, как под ноги им осыпаются, стряхиваются с нее солнечные искорки — и те, которые висели, и те, которые суетились, и те, которые, словно в диадеме, сияли только что в волосах…

Он набросился на нее, как зверь. И она обняла его всем, чем можно было обнять: руками, ногами, губами. И этих рук, и этих губ ей все равно не хватало, было все мало, мало, мало…

Они рухнули в траву.

Под ними — примятые цветы. Ее спиной примятые. Над ними — огромное небо, которое он держит своей спиной. И в нем, в небе, высоко-высоко, без звука, летит самолет. Он не видит его. А она — видит. Да и она, кажется, ничего не видит тоже.

Она закусила травинку. Мнет ее во рту. Ему в лоб уперлась ромашка. Пружинит. Все жучки, червячки, козявки, которые ползали по ним и возле них, теперь были с ними, были их. Все мотыльки и стрекозы, летающие над ними, — тоже стали их.

Он любил сейчас все, что ползало рядом и летало над ними.

Радость окутывала их, нежность и желание наполнили тела. И особенно души. Думалось, что так будет вечно, всегда, и хотелось, чтобы такое никогда не кончалось. Они нашли друг друга, и теперь им уже больше никого и ничего не нужно. Обнялись души и уже не выпускали одна другую из объятий. Обнялись глаза и уже не сводят друг с друга жадного взгляда.

Даже после страсти он все равно хотел ее снова. И она опять находила его губы.

Им было хорошо. Они забыли обо всех, кто раньше был с ними рядом. Сейчас они были первые и единственные.

И они не помнили ничего, что было у них до этого.

Потом они затихли, успокоились. Лежали и слушали, как все еще осыпаются в траву потревоженные ими пушистые солнечные лучи.

Над ними кружился мохнатый шмель. Он почему-то гудел, как самолет…

Денис открыл глаза. Долго, возвращаясь в себя, смотрел на высокое голубое небо, по которому, выше редких облаков, и действительно медленно, летел, будто плыл, самолет. Он гудел так, как только что приснившийся шмель.

— Это же надо так уснуть, — даже сам удивился. — И чтоб такое приснилось…

Мужчина ждал женщину и, наводя порядок на даче, слегка подустал, прилег под яблоню отдохнуть и неожиданно крепко уснул.

Сейчас, постепенно возвращаясь к действительности, — сон все еще не отпускал его, — он вспоминал кое-что из приснившегося. И вдруг, глянув на часы, спохватился:

— Что же это я делаю! Электричка, наверное, прошла уже, а Марыси все еще нет. Видимо, не знает, в какую сторону податься.

Вскочил на ноги, отряхнулся и быстро зашагал через прилегающий к дачам лес на остановку.

Перед этим они договорились, что Марыся приедет к нему на дачу, на которой он, после развода с женой, отдав городскую квартиру ей с дочерью, жил теперь один.

И вот она почему-то задерживается… Может, передумала? Может, совсем не приедет?

А познакомились они как-то очень просто, примитивно и даже банально. Денис случайно — его толкнули — в троллейбусе наступил ей на ногу — она даже вскрикнула, — а потом долго извинялся, просил прощения. И Марысе это понравилось.

Он, проехав тогда свою остановку, помог женщине выйти на нужной ей. Она, держась за него, сильно хромала, а потому Денис довел ее до самого дома.

С тех пор и начались их встречи. Нога вскоре перестала болеть, а интерес друг к другу у них обоих остался…

Так почему же она опаздывает? Неужели и правда не приедет совсем?

Денис ускорил шаг и почти тотчас впереди услышал гам — люди разговаривали, шутили, смеялись.

Она шла с толпой. С дачниками, приехавшими на этой электричке и спешащими на свои огороды. Шла среди них.

Они показались на лесной полянке — дорога как раз вывела на нее. Всех их осветило солнце. Но удивительно — все, и под солнечным светом, оставались обычными людьми, а вокруг нее снова, как и во сне, клубилось солнце, она была вся пушистая от света, и вокруг нее звенели, словно пчелы, лучи — он и издалека явственно слышал этот звон.

Марыся была манящая и желанная, как и во сне, и Денис, надеясь, что она бросится к нему в объятия, расставив руки, побежал ей навстречу.

Она же смутилась и немного отстала от толпы — чтобы люди не видели, какой бурной будет их встреча.

Однако дачники, наоборот, остановились, повернулись в их сторону, стояли и во все глаза удивленно смотрели, как он нетерпеливо сжимает в объятиях женщину, которая, незаметная, только что шла рядом с ними…

Когда дачники снова пошли вперед и вскоре скрылись за поворотом, Денис снова сгреб Марысю в объятия — никто уже не смотрит на них! — но она и в этот раз, хоть и нерешительно, но отстранилась от него.

А он, все еще думая, что и она откуда-то знает, что между ними недавно произошло, упорно хотел объединить сон с явью, желал, чтобы все было так же, как и во сне, однако уже и сам начинал понимать: сны обычно в действительности не повторяются.

Хотя, кажется, все было так же, как и во сне: она стройная, привлекательная, вся пушистая от лучей. С соблазнительными губами. С голубыми глазами. Такой же завиток спадает на левый глаз.

Однако вместо коротенького платьица на ней были красненькая кофточка и черненькая юбочка. «Красное и черное, — подумал он, — это же цвета огня, любви и печали. Такое сочетание получилось случайно, или она оделась так умышленно?»

Они уже вышли из лесу. Под ногами у них расстелился зеленый, весь в цветах, лужок с молодыми березками, листья которых пахли приятно и первородно.

Денис растер в ладонях молодые клейкие листья, вдохнул этот аромат сам, дал понюхать и Марысе.

— Ой, у меня закружилась голова, — сказала она и сделала вид, что падает.

Он не делал никакого вида, а только искренне, с удовольствием поддержал ее. И ласково, нежно притянул к себе.

Ему все же хотелось, чтобы увиденное во сне повторилось сейчас, здесь. Чтобы она была такой же ласковой и ненасытной, как во сне. Чтобы она хотела его.

Ему казалось, что они вот-вот рухнут в нетоптанную траву, и трава примет их, и все будет так, как тогда во сне.

Однако Марыся решительно оттолкнула его от себя — видел, что это она делает не из каприза, а ей и действительно не нравится его поспешность и настойчивость.

Вдруг, без звука, опередив звук, бухнулся ей в лицо, в самые губы какой-то будто чем-то напуганный шмель. Марыся тряхнула головой, достала из сумочки платок и стала усердно вытирать рот.

— Ты не умеешь, давай я, — пошутил Денис, осторожно провел пальцами по ее губам, а потом прижал Марыську к себе и всего лишь прикоснулся к ним своими губами и затих. Марыське это понравилось, и она ответила на такой поцелуй.

Оставшуюся дорогу до домика Дениса они уже шли в обнимку, целуясь — просто время от времени останавливались и припадали губами к губам.

Сначала что-то ему мешало, что-то было не так, что-то препятствовало. Торопливо искал причину и не находил. Потом вспомнил: именно с этой стороны всегда находилась его прежняя жена, когда они вместе шли на дачу и тоже целовались.

Марыся как будто почувствовала эту неловкость, легко, словно танцуя, перешла на другую сторону, и он успокоился: то, что было слева, осталось слева, а то, что будет справа, — появилось справа.

Как только они вошли во двор, она, еще не закрыв за собой калитку, остановилась и удивленно посмотрела на его грядки. Смотрела долго и молчала.

— Ну и зарос же ты, Дениска, — наконец промолвила Марыся, улыбнулась, бросила сумочку на скамейку у дорожки и пошла к первой заросшей грядке.

Он попытался ее отговорить:

— Не надо, мы завтра с тобой вместе все прополем…

Однако Марыся не послушалась — наклонилась и начала вырывать траву. В своей нарядной ярко-красной кофте на зеленой грядке она смотрелась очень привлекательно.

Работала старательно, даже увлеченно, а он подсознательно, неожиданно для себя сравнивал ее с женой — у Ирины, кажется, это лучше и быстрее получалось. А Марыся делает все не так — и сорняки бросает не туда, и волосы с лица откидывает по-другому.

Теперь уже он невольно все, что бы она ни делала, сравнивал с привычками жены.

Когда, наконец, оторвав ее от работы, Денис поливал ей на руки, его опять же смущало: Марыся не так подставляла под воду ладони, не так смывала с них мыло, не так вытиралась.

Теперь уже, когда накрывали на стол, Марыся сама искала его руки и губы.

И вдруг в какой-то момент она смутилась, успокоилась, потускнела, загрустила. Он, не понимая, что случилось, стал осматриваться. И на стеклянном журнальном столике увидел фотографию жены в рамочке — все хотел убрать ее с глаз, но никак не доходили руки.

Сделав вид, что ему нужно там что-то поискать, Денис подошел к столику, сначала перевернул рамку фотографией к стеклу, а потом все же взял ее в руку, спрятал, как ребенок, за спину, и как будто ему необходимо что-то найти уже на веранде, вынес снимок туда и засунул его за книги.

Марыся нарезáла колбаску и, кажется, ничего не заметила.

Они поужинали. Даже выпили немного красного вина. Марыся собиралась ночевать, поэтому разложили диван. Вдвоем. Вдвоем же и стелили. Она стеснялась, мялась, опускала глаза, но помогала готовить постель. Они осторожно брали простыню с двух сторон за уголки и медленно опускали ее на разложенный диван. Простыня надувалась посередине, и они, держа ее за кайму, ждали, когда та сама упадет, когда из-под нее выйдет весь воздух. Потом Марыся обеими ладошками разгладила складки, — и даже когда уже не оставалось ни одной из них, она все равно, как заведенная, водила и водила по простыне руками.

Он бросил на диван подушку — она единственная только и была у него на даче. Марыся взяла ее, опять же разгладила, взбила, вспушила и положила посредине, под головы обоим.

Они стали раздеваться. А по сути, он один и раздевался сам, и раздевал ее.

Как очутились в постели, ни он, ни она уже не помнили.

Денис почувствовал ее тело. Оно тянулось, прижималось к его телу, готовое полностью вжаться, втиснуться в него, объединиться с ним.

Губы сами собой нетерпеливо нашли себя, и они задохнулись в том поцелуе, который уже ни остановить, ни прервать, ни сдержать невозможно.

Это был первый их настоящий поцелуй, потому что все случавшиеся до этого поцелуями называть не хотелось бы.

В нем было все настоящее, не приснившееся.

И вдруг она спохватилась, оттолкнула Дениса от себя. Он, ничего не понимая, удивленно посмотрел на нее:

— Что случилось?

— Она все еще здесь, — зябко поежилась Марыся.

— Кто — она? — спросил Денис.

— Твоя жена. Я очень отчетливо почувствовала запах ее парфюмерии. Он как будто ударил меня. Это духи «Пур фам». Они ей нравятся?

Денис принюхался к подушке — никакими духами та не пахла, но, как ни странно, именно этим «Пур фамом» Ирина, и правда, чаще всего пользовалась.

Марыся уже встала с дивана. А потом снова присела на край его. Набросила на плечи свою красную кофточку. Тихо, словно извиняясь, сказала:

— Мне нужно идти, Дениска…

Он, лежа, взял Марысю за руку, ласково погладил ее, попробовал притянуть к себе.

— Не нужно, Денис. Я пойду.

Она высвободила свою руку, поднялась и стала одеваться. Он хотел задержать ее:

— Куда ты? Уже поздно.

— На последнюю электричку еще успею. Понимаешь, я не могу так. Она же все еще здесь, с тобой. В каждом уголке — она, она, она… Ты думаешь, я не заметила, как ты за спиной выносил на веранду ее фотографию? Заметила, но промолчала. Ты все время видишь не меня, а ее. Не меня на ее месте, а ее — на моем. Я не хочу быть третьей.

И Денис почему-то в этот раз не стал возражать, удерживать ее.

— Ладно, я провожу тебя.

— Не нужно. Еще светло, не заблужусь.

Однако он настоял:

— Я провожу тебя.

Стали искать сумочку, долго не находили, а потом как-то одновременно вспомнили, что она осталась на скамейке возле грядок…

До самой станции шли молча. Шли рядом, а казалось, идут каждый сам по себе. Только на станции, когда уже приближалась электричка, она заговорила:

— Прости, Денис, что так получилось. У меня же дети… Они одни в городе остались…

— О, я хочу посмотреть на твоих детей.

— Так приезжай.

— Когда?

— Когда захочешь, — и взялась за поручень, поднялась на подножку, чтобы зайти в вагон. Уже из тамбура крикнула: — Адрес же мой у тебя есть!

Поезд ушел, а он еще долго стоял на остановке.

В свой домик Денис вернулся уже когда стемнело. Печаль его в темноте еще усугубилась, и он, чтобы хоть немного развеять ее, везде зажег свет.

Он чувствовал, что эта женщина наперекор всему больше и больше входит в его душу.

Конечно, она не писаная красавица. А что такое красота? Есть же красота лица и красота души. Всегда ли они нераздельны? Да и вообще, как говорят, вся красота женщины — в глазах того, кто ее любит. И только!

Конечно, нет в ней ничего яркого, неземного. Обычная блондинка. Носик мог быть немного поаккуратнее. Да и глаза обыкновенные, серые — под небом голубые, а в доме — серые. Но все-таки есть в ней нечто такое, что притягивает к себе как магнитом. Какая-то искренность необычная. И от этого — доверчивость. Кажется, что она из тех, кто не умеет, да и не может обманывать.

Почему она ушла?!

«Калекой сижу я, одинокий, в пустыне печали своей, — вспомнил он когда-то давно прочитанные слова. — Где ты, моя жемчужина? Чувствуешь ли ты, как мне одиноко? Я плачу, тоскуя, без тебя. Океан слез вокруг меня. Я тону в нем, желанная!»

И тут же расхохотался. И сам испугался своего хохота: вот если бы кто-то увидел его, такого, с улицы, подумал бы, что с ума сошел человек: сидит в доме один и хохочет.

«Сижу, одинокий, в пустыне печали своей»… О чем ты, парень, говоришь?! Какая печаль?! «Океан слез я наплакал»… Какой океан, каких слез?! Да глупости все это! Ты же знаешь ее телефон, адрес. Позвони, зайди! Вот и весь твой океан слез!

И он на следующий день поехал к ней. Она не удивилась — открыла, восприняла этот приезд как что-то само собой разумеющееся.

Квартирка была тесненькая, но уютная. Из трех небольших комнаток.

В одной из них играли дети — девочка лет десяти и мальчик, совсем еще маленький карапуз.

Марыся убирала на кухне.

В квартире было накурено.

— Ты что, куришь? — спросил он.

— Не-а, — из кухни, не выходя, ответила ему Марыся.

— Так ведь надымлено.

— Это отец приходил к своим детям.

Денис глянул в уголок, где были дети, — они, мальчик и девочка, играли с маленькой машинкой, которую им, видимо, только что принес отец.

Он пошел на кухню. Остановился в дверях. Молча стоял и наблюдал, как она домывала посуду, подметала пол.

Денис смотрел на нее очень пристально, внимательно, и она, было заметно, стеснялась его взгляда: Марыся была одета в легенький, открытый сарафанчик, и ее руки, плечи и грудь почти голые.

— Это же дети только что поели. Пойду гляну, что они там делают. Миколке спать пора, глаза уже давно слипаются, а они, ишь, заигрались. Велю, чтобы Алеся укачала его, — сказала она, опустив глаза.

Выйдя из детской комнаты, Марыся спросила:

— Кушать хочешь?

Он отрицательно покачал головой.

— А чаю?

— Тоже не хочу.

Она села на диван и взглядом показала ему:

— Садись.

Денис сел. И сразу же в глаза бросилась спальня, находившаяся напротив дивана. Дверь была открыта, и он увидел уже расстеленную постель — пышные одеяла, белоснежные простыни, мягкие подушки. И все белое, белое, белое…

Он сразу же встал и прошел в спальню. И в тот же миг в нос ему ударил еще более резкий запах дешевых сигарет — кажется, «Астра».

— Что, он и в спальне курил? — спросил Денис.

— Ага, — из-за спины его ответила Марыся.

— И в кровати тоже?

— Ага, и в кровати. Отвернется и курит.

— И сегодня он был здесь?

— Дениска, я уже говорила тебе, что мой бывший муж ходит к своим детям. После того, как развелись, ни он ко мне, ни я к нему ничего не имеем. Нас — друг для друга, — будто не существует. Слышишь, не существует…

И она нежно, ласково прильнула к нему, прижалась щекой к его щеке.

Долго они стояли вот так, обнявшись. Из детской комнаты доносилась нежная песенка:

Ходзіць сон ля вакон,
А дрымота — ля балота…

Это Алеська укладывала Миколку спать и пела колыбельную. Он заслушался, глубоко задумался. Когда открыл глаза, увидел, что стоит с одним ее платьем в руках — когда и как она выскользнула из одежды, Денис не заметил.

Марыся лежала уже в кровати. Из-под белого-белого одеяла выглядывала только ее голова. Она отодвинулась к стене, сказала:

— Ложись.

Ему же раздеваться почему-то не захотелось. Он отвернул одеяло и сел на край сильно накрахмаленной простыни — та, кажется, аж захрустела под ним.

И странно, даже от таких чистейших простынь и одеял он вдруг почувствовал сильный запах мужского пота.

Ситуация, возникшая вчера на его даче, почти повторялась. Он сидел, она лежала. Он молчал, молчала и она. Молчали и думали.

Этот мужской запах раздражал его, вызывал какие-то неприятные, даже непристойные картинки, связанные с этой белой накрахмаленной постелью.

— Так чисто, а я очень отчетливо, резко слышу запах мужчины.

— Не выдумывай, я постелила постель только что, — сказала она и тихо, почти одними губами добавила: — Чувствовала, что сегодня увижу тебя.

— Прости меня, Марыся, но я пойду.

Марыся приподнялась, оперлась на локоть, сказала:

— Ну что ж — иди. Я не задерживаю тебя. — Она немного помолчала. — Но знай, я всю жизнь буду завидовать той женщине, которую полюбишь ты. И той, которая полюбит тебя.

Денис ничего ей на это не ответил. Он встал, поправил одеяло, сделал так, как оно лежало раньше, и не спеша, будто еще над чем-то раздумывая, пошел к вешалке.

Надел плащ, взял в руку кепку и вернулся в прихожую — чтобы отсюда крикнуть Марысе напоследок «Прощай!».

И вдруг дверь детской комнаты открылась, из нее выбежал маленький Миколка — он так и не уснул! — и радостный, с улыбкой во весь ротик, как-то интересно — топ-топ, топ-топ! — побежал в его сторону. Он показывал на Дениса пальчиком и без остановки лепетал:

— Папа, папа, папа…

Малыш взял Дениса за палец, а своим стал показывать в коридор:

— Ы, ы, ы.

Денис подчинился карапузу и пошел с ним туда, куда вел малыш. Тот подвел его к вешалке и опять настойчиво тем же пальчиком стал показывать на нее, упрямо повторяя свое:

— Ы, ы, ы.

— Он требует, чтобы ты разделся и опять повесил плащ на вешалку, — улыбнулась ему из-за двери Марыся.

Денис не увидел эту улыбку, но послушался малыша: снова разделся, повесил плащ на вешалку и положил кепку на полочку над ней.

Вертолеты

Ее грудки, тверденькие, кругленькие и загорелые, как и все тело, кажется, сами по себе выкатились из-под ослабленного купальника — не помнит: то ли купальник ослабился сам, то ли уже он в порыве страсти развязал его золотистые тесемочки. Он нежно водил по грудкам ладонью, и когда под нее попадали сосочки-ягодки, просто с ума сходил от нетерпения, и тогда пальцы, ставшие нежными-нежными, обнимая, сами собой ласково сжимали грудки.

Одна грудка только немножко выглянула из-под купальника, ягодка зацепилась за краешек, за рубчик да так и осталась почти спрятанная. Это его очень волновало и возбуждало, а потому он не спешил совсем освобождать ее из плена.

Ее грудки тоже отвечали лаской на ласку, сами искали его ладони, вжимались в них, и им там было, он чувствовал, радостно и уютно.

Наконец ему захотелось освободить из плена и вторую грудку, и он уже взялся было за ягодку, осторожно, чтобы не сделать больно, освобождая ее из-под тесемочки, но тут снаружи неожиданно донесся сильный гул — сверху сильно тарахтело и гудело.

Он какое-то время, все еще держа на груди руки, прислушивался к шуму, а когда тот начал нарастать и все больше и больше усиливаться, встал и подошел к окну.

Над самой крышей Дома творчества с оглушительным грохотом протарахтели два военных вертолета — как будто кто-то пробежал в кованых сапогах.

Его комната была на последнем, двенадцатом, этаже — выше, над ним, находился только солярий, — и потому показалось, что вертолеты протопали, прокатились колесами по самому стеклянному солярию, где обычно под вечер, когда спадала жара, они любили отдыхать, ловя приятные последние лучи закатного солнца.

Сюда, в Пицунду, на берег ласкового Черного моря, поражавший бамбуковыми рощами, самшитовыми зарослями и пушистой сосной, которая не колется, он приехал со своей девушкой, чтобы именно здесь, возможно, даже на высокогорном абхазском озере Рица — так он планировал, — сказать друг дружке те искренние слова признания, после которых бы и стал действительно медовым месяц их отдыха.

Они записались на экскурсию к озеру Рица, которая должна была состояться через три дня, и с нетерпением ждали ее: хотя между собой и не говорили об этом, но оба понимали, что поездка будет для них долгожданным сюрпризом и навсегда останется большим праздником — на Рице они фактически поженятся!

Антон и Люся были убеждены, что все так и получится, как они задумали. Им не помешало даже то, что неожиданно попали на грузино-абхазскую войну, и время от времени по утрам, а чаще по вечерам, то здесь, то там начиналась беспорядочная стрельба.

Они очень ждали экскурсию на Рицу.

Вертолеты, наклоняясь тяжелой передней частью к земле и задирая легкие хвосты вверх, спеша, полетели туда, где в кукурузе, немного дальше от моря, стояла советская ракета.

Вертолеты, он видел, как большие назойливые мухи, кружились над ней, то опускаясь чуть ли не до самой кукурузы, то взлетая ввысь, в небо. Вертолеты не имели опознавательных знаков, поэтому немногочисленная охрана, находящаяся при ракете, не выдержала, — видимо, сдали нервы, — и начала стрелять то ли по вертолетам, то ли просто так, лишь бы куда. Те, к счастью, не ответили на стрельбу, поднялись еще выше, развернулись и полетели туда, откуда и появились.

Когда гул вертолетов затих, он вернулся к кровати.

Там за это время ничего не изменилось. Любимая лежала в той же позе, в которой он оставил ее: неудобно закинутая за голову рука, юбочка, задержавшаяся на коленях... И ягодка, которая так и осталась неосвобожденной, все еще чувственно выглядывала из-под краешка купальника.

Антон подошел ближе и первым делом освободил ее: ягодка, получив свободу, обрадованно прыснула ему в пальцы и, довольная, кажется, даже засмеялась.

Он ласкал ее, снова прятал в своих ладонях грудки, гладил все загорелое тело любимой и чувствовал, что теперь уже весь он будто переливается в то, чем дотрагивается до нее, — руки, ладони, пальцы, даже подушечки на них.

Его руки говорили. Признавались ей, всему ее телу в любви. Она, замерев, тихонько слушала их движения. Они опускались все ниже и ниже.

Вот гладенький, бархатистый животик. Ладони чувствуют пушок на нем, который топорщится от прикосновения. И вот они — два непревзойденной формы и красоты бугорочка. Он не видит их, потому что ладони как раз под ними, но руки, и особенно глаза, знают и помнят их невероятную красоту и великолепие. Они, бугорочки, такие кругленькие, нежные и манящие, что, кажется, только и созданы для того, чтобы ими любовались глаза и чтобы на них замирали влюбленные мужские ладони.

И вдруг его пальцы вздрогнули и неожиданно остановились. Они были уже сверху и невольно наткнулись на белый треугольничек ее незагорелого тела, который на пляже был под бикини…

Люся содрогнулась вся, и ее губы в то же мгновение стали тянуться к его губам. Он видел только губы, а их желание было таким неодолимым, что они, губы, кажется, поднимали за собой и голову, и все тело.

Антон вдруг заметил на ее губах маленькую царапинку. О боже, как она, эта царапинка, была ему мила и дорога!

И он впился в нее, целовал именно ее, размазывая и по Люсиным губам, и по своим ярко-красную помаду.

Вот-вот они вздрогнут в том апогее страсти, имя которому — диво, чудо. Вот-вот они, кажется, навсегда исчезнут, растворятся друг в друге.

Ее красиво загорелое тело каждой клеточкой ожидало, жаждало старой как мир и в то же время всегда желанной, будто она впервые случается, тайны близости.

И он тоже желал одного: бесконечно обладать этим, таким трепетным и таким грешным, девичьим телом, отдавая ему всю свою радость и беря такую же радость себе…

Над Домом творчества вновь послышался характерный гул вертолетов. Но в этот раз он уже был не такой грохочущий, и они даже не разомкнули губы.

Теперь ему казалось, что они оба превратились в одни только губы. Губы жили сами по себе. Они, казалось, даже не думали, а правильнее — ничего не думали. Они молчали и стонали, желали и жаждали. Губы устремлялись друг к дружке, вжимались друг в дружку, и разлучить их сейчас, казалось, никто и ничто не сможет.

И вдруг над крышей загрохотало так, что задрожали стены, зазвенело стекло в окнах, закачалась даже люстра под потолком. Все вокруг гудело и колотилось. Этот гремящий, как грозовой, гул спешил за вертолетами — он будто гнался за ними, будто догонял их.

Антон почувствовал, что его губы слабеют, в них исчезает напряжение, они утрачивают силу и настойчивость. Ее же губы не отпускали их, они еще сильней впивались в него, словно пытаясь вернуть им силу и упругость.

Странно, этот звук, этот шум, чем больше отдалялся, тем больше усиливался и становился пронзительнее.

Он с усилием оторвался от губ любимой и рывком вскочил с кровати. Опять подбежал к окну. Оно было открыто, и Антон, высовываясь из него чуть ли не по пояс, напряженно всматривался, что же там так гремело.

Мощный военный истребитель «СУ-27», догнавший уже вертолеты, хищно задрав, будто клюв, нос с кабиной, уже барражировал над кукуру-

зой. Вертолеты вились над ракетой, а над ними, широко расправив крылья, кружился самолет, прижимая вертолеты почти к самой земле. Когда он, заходя на новый круг, пролетал над Домом творчества, стекла так дрожали и звенели, что казалось, они вот-вот выскочат из рам…

Он, высовываясь почти по пояс из окна, вертя головой во все стороны, наблюдал за поединком самолета и вертолетов, понимая, что «СУ» пугает, отгоняет вертолеты от ракеты и, зная, чем это может закончиться — истребитель же с ядерными боеголовками, — только неопределенно поводил плечами.

Вертолеты будто специально дразнили истребитель, совсем не обращали на него внимания — будто делая какой-то свой, обычный, запланированный ранее облет.

Антон долго не отходил от окна и вздохнул с облегчением только тогда, когда улетели отсюда вертолеты, и в тот же миг исчез истребитель — его последний гул эхом отразился от стены Дома творчества, и в комнате неожиданно стало тихо-тихо.

Он отошел от окна и медленно направился к кровати.

Люся уже сидела на краю постели. Полностью одетая и собранная, застегнутая на все пуговицы.

Он неловко сел рядом с ней. Что-то хотел объяснить.

— Вот видишь, как получилось, — словно начал в чем-то оправдываться. — Эти вертолеты, этот самолет…

— Ага, и самолет тоже, — всерьез поддержала она Антона, но он не понял, то ли она действительно испугалась всего этого шума-гама, то ли всего лишь подтрунивает над ним.

Он несмело, неуверенно положил ей руку на плечо, хотел притянуть к себе. Но Люся вздрогнула, как от холода, раздраженно повела плечами, и его рука сама собой упала на постель.

— Не надо, — приложила она палец к губам. — Только после Рицы.

И тогда Антон вдруг почувствовал себя таким жалким, таким неуклюжим и нелепым. Представил, что она видела, как он испуганно суетился, как чуть ли не полностью высовывался из окна, чтобы лучше разглядеть, куда полетят вертолеты и самолет…

Снова хотел как-то оправдаться:

— Знаешь, такой грохот… И в этом грохоте…

— А может, оно как раз и интересно было бы… В таком грохоте… целоваться… — улыбнулась Люся и в тот же миг поправилась, заговорила о другом: — Но ты правильно говоришь. Не время для медового месяца… Самолеты гудят, повсюду стреляют…

Когда он вернулся с Черного моря раньше времени и один, когда все, кто знал, что парень с любимой поехал на юг провести медовый месяц, и спрашивали, что случилось, Антон всем отвечал одинаково:

— Не сошлись характерами.

Перевод с белорусского Алексея Череты.





МИКОЛА ШАБОВИЧ

Покуда жизнь — поэзия

* * *

Юрию Малаховскому

Гудят ветра над милой стороной,
И гнутся до земли лесные кроны,
Как некой отягченные виной.
Одни дубы не бьют ветрам поклоны.

Они под шквалом выстоят любым,
Им нипочем осенний дождь обложный.
Однако что-то нынче и дубы
Шумят ветвями глухо и тревожно…

Гудят ветра над милой стороной,
И в тон ветрам деревья стон возносят…
И кружат вихрем листья надо мной,
Как будто от судьбы защиты просят…

* * *

Девчонка, научи меня летать,
Хотя б во сне, коль не в небесной сини,
Чтоб эхом в облаках сопровождать
Тебя — царицу, равную Богине.

Девчонка, научи меня любить,
Считать часы с едва прошедшей встречи
И миг волшебный в мыслях торопить,
Когда рука твои погладит плечи.

Девчонка, научи меня смотреть
На все, что есть, спокойно и без позы,
Чтоб не спешить и все-таки успеть,
Покуда жизнь — поэзия, не проза.

* * *

Хоть судьбы нам едва ль соединить,
Одни у нас дороги и тревоги.
Мы и в разлуке учимся любить
И не просить у Господа подмоги.

Как будто вместе — в одиночку мы
Свиваем нити жизненной рутины
И милости не просим у зимы
За наших душ былые карантины…

Хоть осени еще не вышел срок,
Но даль уже снегами серебрится.
Седой декабрь — сомнений злых итог —
Вот-вот уже в окошко постучится…

* * *

Когда душе тоскливо отчего-то,
Мне возвращает сердца именины
Твоей рукой подписанное фото —
Всего-то лишь: «На память от Ирины».

И правда, эти сны доныне снятся —
Как наши грезы птицами взлетали,
Стремясь над одиночеством подняться
И плыть-лететь в заоблачные дали,

Где так уютно и устам, и взглядам,
Где нет нужды в условностях и фальши
И можно просто быть с тобою рядом,
Не думая о том, что будет дальше…

Хоть дней былых поблекла позолота,
Но солнцем золотится меж рутины
Твоей рукой подписанное фото —
Всего-то лишь: «На память от Ирины».

* * *

Грустноватая фея с улыбкой Джоконды,
Героиня эфира, богиня бомонда,

Как живешь-поживаешь ты на улице классика?
Все как прежде витаешь? Отмечаешь ли праздники?

Шлют ли нашей звезде поздравленья пространные?
Ты в любой суете быть умеешь желанною.

Ворожея ночей. Фантазерка небесная.
Ты — как чистый ручей. Ты везде. Ты чудесная —

Грустноватая фея с улыбкой Джоконды,
Героиня эфира, богиня бомонда…

* * *

Это явь или, может быть, сон —
Слышать слов твоих звон бубенцовый.
Как я музыкой их опьянен!
Так и слушал бы: «Что Вы! Ну что Вы!..»

Златоглазая фея огня
Или ласки ручей быстротечный?
Мы не пробыли вместе и дня,
А знакомы как будто бы вечность…

Вновь когда в мои явишься сны
Ясным проблеском глаз васильковых,
Я скажу: «Ты царица весны!»
И услышу: «Ну что Вы! Ну что Вы!»

* * *

Кто природы певец, кто-то славит Отчизну,
Я же выбрал свой путь — он, поверьте, не райский.
Мои строфы о женщине ныне и присно,
Будь то мартовский день или празднично-майский.

Пусть там ищут потом всех моих «прототипов»,
Кто меня вдохновлял, чьи я волосы гладил,
С кем гулял меж берез, из реальности выпав,
На кого свои дни быстротечные тратил…

Что утехи искал не в семье, а на воле,
Укоряйте меня, только все ж не карайте.
Перемелется все — и обиды, и боли.
Остаются стихи. Вы читайте, читайте…

* * *

Среди настуженных дорог,
Когда душа дрожит от холода,
Возможно, слово — серебро, —
Не забывай: молчанье — золото.

По дням потерянным скорбя,
Себя не мучай тяжким бременем.
Возможно, любят не тебя, —
Не забывай: любовь вне времени.

И что там горы важных дел,
Коль жизнь такая быстротечная?!
Возможно, мало ты успел, —
Не забывай: мы все не вечные…

* * *

Светлой памяти Алеся Письменкова

Вечный круг — за закатом рассвет,
Дни за днями летят бестолково.
А под вечер зайду в Интернет:
Снова в ящике пусто почтовом.

На мобильном немного звонков,
А на этом — поставил бы точку.
Незабвенный Алесь Письменков!
Как ты там? Есть ли новые строчки?

Тут, поверь мне, никто не забыл
Дня твоей преждевременной тризны.
Для друзей ты остался — не был
Верным сыном любимой Отчизны.

Как сегодня нам недостает
Твоего неподкупного слова!
Не напишет никто, не споет
Так, как ты, в этом мире суровом…

Перевод с белорусского Андрея Тявловского.





НАТАЛЬЯ ПАРХИМОВИЧ

Материк

Короткие рассказы

Ведь я тебя нашла…

Топ, топ, шлеп, шлеп — торопятся босые ножки. Утро, еще очень рано, но Федьке не до сна. Стараясь вставать на носочки, она пробегает по коридору. Заглядывает в спальню: конечно, мама еще спит. Сегодня выходной.

В кухне на стене тикают большие часы с красным циферблатом. Встретив ласковый бабушкин взгляд, Федька подбегает к столу.

— Бабуля, цифра лебедь скоро?

— Сколько тебя учить. Это цифра два. Иди ложись, рано еще.

Захватив в ладошки теплый блин с творогом, Федька шлепает обратно. Сегодня воскресенье. Значит, придет папа.

Когда она еще жила у мамы в животе, все почему-то думали, что родится мальчик. Его решили назвать Фёдором, в честь деда, который *ушел*. Федьке не хотелось быть мальчиком. Когда она родилась, имя решили не менять. Так на свет появилась Федора.

Дедушку Фёдора она никогда не видела. Доставая из альбома его фотографии, бабушка говорила, что он теперь далеко.

Папа тоже ушел. Но каждое воскресенье он приходил, топтался в коридоре, ожидая, когда бабушка оденет Федьку, чтобы отправить с папой гулять. Мама в такой день становилась сердитой, говорила, что если, не дай бог, ребенок простудится, она больше никогда не отпустит ее с ним.

Федьке очень хотелось, чтобы папа никогда не уходил. Но бабушка гладила ее по голове и говорила, что так надо, — когда Федька вырастет, то все поймет. И Федька теперь старалась ходить на цыпочках, время от времени посматривая в зеркало — не подросла ли.

Папа брал Федьку на руки, прижимался к ней щекой. Федька осторожно дотрагивалась пальцем до его щетины: ей почему-то казалось, что папе больно.

В день рождения папа подарил ей большого коричневого медведя. У него были забавные мягкие пяточки и ладошки палевого цвета. Глаза-бусинки оказались разными: один темно-коричневым, а второй янтарно-желтым. Медведь с Федькой подружились. Она повсюду таскала его с собой, кормила кашей, поила молоком, отчего его мордочка становилась засаленной, и бабушка с трудом ее отмывала. Куклы-барби, «хор Пятницкого», как их называла бабушка, сиротливо сидели за пластмассовым столиком с пустыми чашками.

Перед сном, глядя в янтарный мишкин глаз, Федька рассказывала ему сказки про других медведей, которые жили в лесу и зимой сосали лапу.

Папа сказал, что в это воскресенье они пойдут в парк. Туда привезли новые аттракционы. Парк находился недалеко от дома, и Федька обрадовалась: не нужно долго ехать автобусом, можно будет и мишку взять с собой.

По дороге в парк они держали мишку за лапы с обеих сторон, весело разговаривали и смеялись. Папа рассказывал про зверей, которые выступают в цирке. Пообещал, что обязательно сводит Федьку на представление, когда в цирк приедут медведи.

Еще папа сказал, что у Федьки есть братик. Он совсем маленький, но когда подрастет, они с Федькой обязательно познакомятся.

На детской площадке в парке было шумно, многолюдно.

Папа встал в очередь за билетами на карусели. Билеты продавались в маленькой деревянной будочке. Федька рассматривала картинки, нарисованные с разных сторон будки, топталась вокруг нее и незаметно для себя оказалась с обратной ее стороны. Когда Федькин взгляд наткнулся на обшарпанные доски и заросший травой заборчик, она испуганно стала озираться по сторонам. Ни очереди, ни папы видно не было. И тогда Федька заплакала, отчаянно, во весь голос, прижимая к себе медведя.

Отец прибежал сразу. Держа ее на руках и растерянно-смущенно оглядываясь, он вытирал платком ее зареванное лицо и бормотал:

— Ну что же ты плачешь. Ведь я тебя нашел…

Потом она весело махала им рукой, кружась на цепочных каруселях, подскакивая на прыгалках, лазая по разноцветным запутанным лабиринтам. Папа с мишкой сидели на скамейке и улыбались ей.

Когда она залезла на живот большому накачанному воздухом бегемоту и, стараясь не помять воздушно-сладкое облако сахарной ваты на тонкой палочке, крепко зажатой в руке, съехала вниз, начался дождь. Сначала он только изредка ронял капли на асфальт и скамейки вокруг каруселей, затем сердито зашумел в кустах и наконец полил из большой темно-синей тучи.

Площадка опустела.

Папа набросил на Федьку свой пиджак, накрыв ее с макушки, и они побежали домой, смеясь и разбрызгивая мелкие лужицы.

Мамы дома не было. Попрощавшись с Федькой и бабушкой, папа ушел. Бабушка торопливо сняла с Федьки мокрые сандалики и колготки, чтобы переодеть ее в сухое. Затем усадила Федьку за стол, налила ей в тарелку суп и приказала поесть и ложиться в постель, пока сама она сходит в магазин.

Оставшись одна, Федька рассеянно водила ложкой по тарелке, потом слезла с табуретки и отправилась к своим игрушкам. Войдя в комнату, она растерянно замерла на месте. Мишка… Мишки нигде не было. Они забыли его в парке! Теперь он там один, под дождем, и ему очень страшно.

Федька накинула курточку, подставив под дверь табурет, повернула защелку. Дверь легко открылась…

Испуганный отец, набегавшись, обнаружил ее возле каруселей. Дождь кончился. Федька сидела на скамейке, прижимая к себе намокшего мишку. Вытирая пальцем его слезящийся янтарный глаз, она шептала в мокрое, печальной тряпицей опавшее плюшевое ухо:

— Ну что же ты плачешь. Ведь я тебя нашла…

Танцующая над облаками

Молодая артистка балета совсем недавно была принята в труппу театра. Но о ней уже заговорили. Говорили о ее поразительной технике, ее умении парить над сценой. Когда она исполняла свою партию в па-де-де из «Корсара», зал аплодисментами заглушал оркестр.

Павел ходил на все спектакли, в которых была занята Настя. Он так же шумно аплодировал ей и кричал «Браво!», бросал на сцену цветы.

Знакомы они были уже давно. Настя тогда занималась в балетном училище. Они встречались по вечерам, бродили вдоль набережной. Стараясь понравиться, Павел читал ей стихи. Она благосклонно слушала. В те времена они жили мечтами: он — о военной карьере, она — о театре.

Его восторженная привязанность со временем переросла в любовь.

Настя жила в своем мире, непостижимом для Павла. Весь тяжелый многочасовой труд, изнуряющие упражнения у станка, пот и слезы — все это рождало поразительную легкость и гибкость движений на сцене. Один из критиков назвал ее фуэте «заоблачными».

Павел гордился ею. Настя же просто любила его, принимая таким, каков он есть.

Павел решил познакомить ее со своими родителями, предложив однажды провести рождественский вечер в их доме. Его мама, кутаясь в теплую пуховую шаль, пригласила девушку «заходить еще», увидев в ней достойную пару для своего сына.

Когда грянула «перестройка» и некогда великая держава распалась, резко изменилась и жизнь людей. Для многих эти события стали катастрофой. Но отец Павла, в прошлом скромный банковский служащий, сумел основать собственное дело, оставив далеко позади своих неудачливых попутчиков.

Настина мама жила в далеком Екатеринбурге. Настя туда не вернулась. Они с Павлом снимали небольшую квартиру, которую оплачивал его отец.

Павел, окончив училище, поступил, наконец, в Военно-инженерную академию. К концу первого курса отец подарил ему вольво. Павел был в восторге от машины и в свободные часы просиживал в гараже, копаясь в моторе, или постигал азы вождения автомобиля на дорогах. Настя была занята в театре. Они почти не виделись.

Весной молодые решили пожить несколько дней на даче, посвятив это время друг другу. Благо проселочные дороги не загружены и можно вести машину не напрягаясь. Они весело болтали, обмениваясь шутками, когда навстречу им вылетел мотоциклист. Павел резко крутанул руль, машину занесло. Изо всех сил упираясь ногами в пол, Настя страшно закричала…

Очнулась она на четвертый день в больнице. Туда она поступила в тяжелом состоянии: сотрясение мозга и множественные переломы костей правой голени.

Начались трудные, долгие месяцы лечения в различных клиниках, где врачи пытались сохранить ей ногу, восстановить ее функции.

В состоянии полубреда-полусна Настя продолжала жить в танце. Вот она в плавном адажио кружится на сцене с партнером… и вдруг он, подняв, роняет ее, и она больно ударяется о деревянный настил.

О прежней жизни, о театре нужно было забыть. Теперь Настя существовала в иной реальности, к которой, боясь сойти с ума, должна была привыкать. Балет остался в прошлом...

Возвращение домой было тяжелым. Павел все свое время отдавал учебе в академии. Настя подолгу оставалась одна. Часто он заставал ее заплаканной. Он смотрел в ее измученные глаза, видел в них ее душевную боль и ничем не мог помочь… Ее многочисленные друзья и поклонники остались по другую сторону жизни.

Однажды вечером Павел обнаружил, что она совершенно пьяна. По комнате были разбросаны ее платья, а посреди стола, на коробке из-под торта, стояли пуанты, прикрытые розами. Как могилка…

Их жизнь превратилась в ад. Пытаясь Настю образумить, Павел кричал в ее пьяное лицо, что так больше продолжаться не может, что он начинает ненавидеть ее. В ответ она дико хохотала, распахивая полы шелкового халата, выставляла покрытую шрамами ногу, грозилась уйти в ночной клуб, где ей будут платить за танец «на шесте».

Одну из таких сцен застал его отец. Взбешенный, он ударил Настю. Ударил тяжело, по-мужски, со всего размаха, так, что она отлетела от него, взмахнув широкими рукавами халата. Павлу на миг показалось, что она попыталась взлететь…

«Чтоб я эту… больше здесь не видел!» — орал отец.

Она ушла и больше не вернулась.

В маленьком зале приглушенный, играющий свет. За столиками — богатые посетители. В центре, на возвышении, танцует полуобнаженная женщина. Все взоры устремлены на нее. Мерный гул голосов сливается с музыкой. Саид ласкает взглядом нежные изгибы ее тела, тонкие запястья. Его оливковые глаза плавятся. Эта женщина — его богатство. К ее ногам бросают деньги, кольца, золотые цепочки.

У женщины есть ребенок и старенькая мать, которых Саид содержит. Этим она прикована к нему как цепью. Саид любит ее и ее маленькую дочь, называет их ласковыми именами. Ее девочка уже умеет красиво танцевать.

Он очень хотел иметь общего с ней ребенка, но ее тело пока нужно ему для другого — оно приносит большие деньги. Женщина танцует так, как здесь до нее не танцевал никто. Ее называют Танцующая над облаками.

Многие предлагали за нее целое состояние. Но целое состояние — это она сама. Саид любит и бережет ее, она ни в чем не нуждается.

Саида расстреляли в упор. Он лежал на залитом кровью полу, и его оливковые глаза были широко раскрыты, как бы удивляясь тому, что произошло.

Фарид, старый друг Саида, предложил ей уехать с ним в Эмираты. Она согласилась.

Там он продал ее за большие деньги.

Мама

Самолет из Якутска прилетел ночью. Столичный аэропорт долго не давал разрешения на посадку: не позволяли погодные условия.

Город встретил Николая проливным дождем. Из аэропорта он позвонил своему старому приятелю, бывшему однокурснику, с которым заранее договорился насчет машины. Ехать предстояло еще не менее трех часов…

Накануне ему позвонила сестра и приглушенным срывающимся голосом сообщила, что маме стало совсем плохо и она хочет его увидеть, чтобы проститься.

Дома он не был уже несколько лет. Часто переписываясь с сестрой, он узнавал все новости через нее. В последнее время мама стала сильно болеть. Перенесенная ею давно операция остановила болезнь лишь на время.

Когда Николай выехал за пределы города, шел уже четвертый час. Дорога была почти пустая. Машина набирала скорость. Опасаясь уснуть за рулем, Николай включил музыку. Началась его дорога к маме. Дорога его воспоминаний…

Отца Николай почти не помнил. Вся его жизнь была связана только с матерью.

Она работала швеей на фабрике. С детства он помнил ее ситцевую косыночку, которую она повязывала на туго заплетенные волосы. Густые, непослушные, они все равно выбивались из-под косынки, отчего лицо ее всегда казалось веселым. Мама и вправду была веселой, любила петь и даже участвовала в фабричном хоре.

Когда Коле исполнилось восемь лет, в его жизни появился отчим. Неугомонный балагур, он вносил в их жизнь ощущение праздника. Коля видел, как светилась при нем мать, как она похорошела. Отчим работал мастером на той же фабрике. Часто в день получки приходил навеселе, выкладывал на стол пачку денег: «Веселись, Анюта!» И в доме начались шумные застолья — приходили его друзья, многие с женами. Отчим усаживал Кольку к себе на колени, называл сынком, пьяной рукой ероша его упрямую челку.

Душа компании, отчим брал в руки аккордеон, который принес с собой, ловко пробегал пальцами по клавишам. Пел он очень красиво, рисуясь перед присутствующими, особенно перед матерью.

Аккордеон он хранил в красивом чехле, пряча его на шкафу. Коле было запрещено даже прикасаться к нему. Но однажды он не выдержал, снял его со шкафа. Красивый, лакированный аккордеон грустно вздохнул в его руках, когда Николай по очереди стал нажимать на клавиши и кнопки, подражая отчиму. Так, оставаясь дома один, он потихоньку упражнялся, пока одна из клавиш вдруг не стала западать… Отчим обнаружил это через несколько дней. Подозвав Колю к себе пальцем, он сурово спросил: «Твоя работа?» Коля молчал, опустив голову. В комнате повисла напряженная тишина. Мать в кухне перестала греметь посудой. Отчим, тоже молча, начал расстегивать ремень. «Не смей…» — спокойно сказала мама, оказавшись вдруг рядом с ним. И тогда отчим замахнулся на нее. Колька бросился к нему и, как щенок, повис у него на руке, вцепившись в нее зубами. Отброшенный в угол, он больно ударился о подлокотник кресла.

Наутро мать собрала вещи отчима и выставила их за дверь…

А через несколько месяцев в их доме появилась Галинка. Она непрерывно пищала, морща, как старушка, красное личико и призывно чмокая губами. Коля часто сменял мать у кроватки, раскачивая ее, рассматривал этого человечка, который назывался его сестренкой. Она и впрямь была галинкой: слабенькая, хрупкая, болезненная. Едва ей исполнилось три месяца, как у нее обнаружили воспаление легких. Мама легла с ней в больницу. Коля каждый день приносил в палату отварную картошку и молоко. Мама обнимала его, целуя, плакала, а он уворачивался, стыдясь ее соседок по палате. Он чувствовал себя взрослым, ответственным за них обеих.

Мама стала брать работу на дом. Коля с сестренкой засыпали и просыпались под стук ее швейной машинки.

Утром он отводил сестру в садик, а сам бежал в школу. Вечером забирал ее, и вместе они шли в магазин, чтобы купить продукты к приходу мамы. Они стали удивительно дружны, несмотря на разницу в возрасте. Когда Николай заканчивал школу, Галинка только начинала в ней учиться.

Старшеклассником Николай подрабатывал на фабрике, выполняя посильную работу. Мама стала болеть, и нужно было зарабатывать деньги.

Когда он получил свою первую зарплату, ребята из бригады затащили его в каптерку «обмывать» заработанное. Николай не помнил, как добрался домой, как его раздели и уложили в постель. Утром мать отхлестала его по щекам. А потом, прижав к себе его голову, горько заплакала — ведь она никогда его не била. Он долго не мог забыть этого чувства — щемящей жалости к ней. Больше он к спиртному не притрагивался.

Однажды ее забрали в больницу. Николай с сестрой всю ночь просидели в больничном коридоре, ожидая конца операции.

Из больницы мать вернулась нескоро. Она как-то изменилась, посуровела. Часто подолгу бесцельно смотрела в окно, думая о чем-то своем.

Но жизнь брала свое. Постепенно мама вернулась к прежним заботам. У нее были дети, был дом, и в этом доме строилось их будущее. Болезнь отступила.

Когда Николая забрали на призывной пункт, он, стоя в ряду таких же стриженых, неоперившихся вчерашних школьников, отыскал глазами в толпе провожающих мамино лицо. И вдруг пронзительно осознал, что нет у него в жизни никого дороже.

Мужчины взрослеют рано.

Николай, закончив вечернее отделение института, уехал в поисках работы. В Якутске он встретил свою любовь, там и остался. С женой они приезжали на свадьбу к сестре. Тогда Николай с мамой долго сидели в ее маленькой комнатке и не могли наговориться.

Он часто звонил ей по межгороду, и слушал ее голос, и пытался представить в этот момент ее лицо, ее поседевшие прядки, которые она по привычке прикрывала косынкой.

И вот теперь он ехал прощаться с ней…

Его путь подходил к концу. Машина мчалась на большой скорости, когда впереди показалась одинокая фигурка. Прямо посередине дороги, широким крестом раскинув руки, ему навстречу шла мама.

Николай отчаянно, резко затормозил… и проснулся.

Материк

Уже снега весною мечены…
И в этот день, в его начале самом,
шагами тихими рассечена
площадка перед Божьим храмом.

Любовь Шелег

Февраль… Не зря его называют *люты*. Иду сквозь пелену колючего, с ветром, снега. Все вокруг покрыто этой непроглядной, безнадежной пеленой. Серые очертания деревьев, серые заплаты асфальта. Веселой ноткой прорвалась синица и смолкла — холодно.

Перед глазами — потемневшее лицо сына. «Скорая» увезла его в реанимацию.

— Вам туда нельзя, вы этого не выдержите, — сказал мне молоденький врач-реаниматолог в белой шапочке, натянутой на самые брови.

Наивный губошлеп. Откуда ему знать, что я могу выдержать…

Несколько дней подряд пытаюсь прорваться в палату, где лежит сын. «Никакой надежды. Соберите все свое мужество…»

Опустошенная прихожу в стылую квартиру, тоже заполненную пустотой.

Ночами сплю коротко, как в обморок проваливаюсь. Один и тот же сон: звук приближающегося поезда. Огромный состав, еще не видимый мной, несется из темноты, и я не в силах пошевелиться. Звук приближающейся беды…

Десять лет назад, в таком же стылом феврале, не стало мамы. И тогда я тоже видела во сне груженный горем мчащийся на меня поезд.

Я смотрела на ее изболевшееся лицо, ее детскую шейку и ничего не могла ей дать, кроме ободряющей улыбки. Позволяла себе плакать только когда она засыпала. Она умирала мучительно и терпеливо.

Февраль, я ненавижу тебя.

Беззащитное сиротство ощущаю по сей день. Родители — это материк, оторвавшись от которого, дети долго не могут найти опору.

Мама незримо оберегала меня всегда, каждый день и минуту. Маленькой — от болезней, повзрослевшей — от несчастий и плохих людей. «Когда же ты поумнеешь… Ты принимаешь их у себя в доме, смотришь им в глаза, кормишь борщами. Они предают тебя, и ты опять прощаешь. Как ты будешь жить без меня в этом мире…»

Я живу, мама. Как умею.

Человек никогда не расскажет никому, кто он есть *на самом деле*. И не потому, что не захочет, а потому, что не сумеет. Нет таких слов, их не придумали.

В памяти возникает картинка. Мой маленький сын бежит ко мне по асфальтированной дорожке, держа в руках перламутровую ракушку. Не добегая нескольких шагов, падает плашмя, ударяясь всем телом: лбом, грудью, коленками… Хватаю его на руки, прижимаю к себе, вбираю в себя его боль, его крик, постепенно затихающий и переходящий в тихие всхлипывания…

Как мне помочь ему сейчас… Ловлю себя на том, что непрерывно говорю с ним, как будто он рядом.

«Детей лучше не иметь, — говорила мне когда-то моя подруга. — Ты даришь им жизнь и постепенно, год за годом, отдаешь собственную, не получая ничего взамен».

Гордая птица, она была свободна и довольна жизнью. Ее дом всегда был заполнен людьми и весельем.

Приезжая из загранкомандировок, она показывала мне альбомы с фотографиями: вот она среди собратьев-журналистов на фоне южных гор, вот у моря, а вот возле стен знаменитых европейских музеев. Красивая, ухоженная, она свысока поглядывала на мою ежедневную суету и усталость.

Когда у меня родился второй ребенок, она приехала из Турции и привезла много забавных, пестрых и красивых одежек и игрушек. Я видела, какой нежностью наполнились ее глаза, когда она неумело-бережно взяла моего сына на руки. Мне стало жаль ее…

«Никакой надежды…»

Много дней ношу в руках фотографию сына, сделанную им когда-то на паспорт. Открытый, твердый взгляд и мягкие, пухлые, как у девушки, губы… Согреваю в ладони его лицо. Я здесь, я рядом. Всегда и везде.

Воскресным утром иду в храм. Повязав на голову платок, вхожу под его своды. Полумрак. Горят свечи. Я иду к Ней. Оказывается, и сюда есть очередь. Терпеливо собираю на пальцах горячий воск, капающий со свечи. Вот и мой черед. Что сказать? Как просить? Сколько здесь, на каменном полу, распласталось отчаяния, мольбы, надежды… И я среди них. Я песчинка в этом потоке. Кого он вынесет?

Слов молитвы не помню. Всматриваюсь в темнеющий над позолотой лик. И вижу в Ее глазах свою боль.

Холодный снег в лицо, промозглый унылый день. Но сквозь серую стылость в небе пробивается голубизна. Ведь скоро март. А значит, впереди — жизнь.

Смотрю в глаза Богородице…

Да будет свет шагающему смело!

В современной поэзии стало модно плакать. Печаль и безысходность так увлажняют страницы редакционной почты изумрудными, янтарными, красными, черными (кто какой цвет любит больше) слезами, что хоть ты их выжимай. Причин слезообилия у таких авторов много, но чаще всего — неразделенная любовь, неустроенность жизни, крушение мечты, одиночество. Недавно прочел у Рене Баржавеля: «В ее страданиях есть доля шантажа. Когда вы уйдете, она останется наедине со своим подлинным страданием». Проницательный француз. Но гораздо раньше него о том же написал Баратынский: «А ваша муза площадная, // Тоской заемною мечтая // Родить участие в сердцах, // Подобна нищей развращенной, // Молящей лепты незаконной // С чужим ребенком на руках». Как много чужих детей предлагают усыновить редакциям журналов некоторые авторы! И как же на фоне их высоко и благородно смотрятся стихи тех, кто самой судьбой, казалось бы, имеет право на страдание, но поднимается над ним, не пускает в душу, чтобы не убить ее. В поэзию плакальщиков входишь, как в душную, давно не проветриваемую комнату, а в поэзию мужественных и гордых людей — как на волю луга и неба, ветра и солнца. Сегодня мы печатаем подборку стихотворений таких поэтов. Они входят в Минское творческое объединение «Світанак», сдружившее людей с ограниченными физическими возможностями.

Юрий Сапожков,
редактор отдела поэзии.

ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА

* * *

Когда ветра помчатся на восток,
Срывая кровли, словно паутину,
И уплывет опора из-под ног,
Чтоб не упасть, держи ровнее спину.

И если в обезличенной толпе
Ты сохранил лицо, а не личину,
Внимательно прислушайся к себе,
Не бойся и держи ровнее спину.

И даже если будничный поток
Снесет твою надежду, как плотину,
Сжимая сердце в ледяной комок,
То и тогда держи ровнее спину.

Когда же от немыслимых потерь
Твой дом напомнит мертвую равнину,
От глаз чужих закрой плотнее дверь,
А главное, держи ровнее спину.

ИРИНА ЦВИРКОВСКАЯ

Кораблик

Моему кораблику
Капитан не нужен,
Мчится он «вприпрыжку»
По ручьям и лужам.

И плывут в кораблике:
Труженик-мурашка,
Божия коровушка
Да жучок-букашка.

На бумажном парусе —
Мотылек крылатый.
Что ж трудиться крылышкам,
Коль проезд бесплатный?

Шарик

В дни юности, далекие, родные,
Пришла я к пионерскому костру,
Привязанные шарики цветные
Игриво трепетали на ветру.
Но был для них последним мигом взлета
Костер прощальный в лагере лесном,
Полопались без славы, без полета,
Погибли шарики в веселье детском том.
И лишь один в огне горячем бился,
Хотел взлететь, но нить была крепка.
Отчаянно и страстно вверх стремился,
Туда, куда манили облака.
Взирала я с надеждой потаенной,
Что нить тугую пламя пережжет
И шарик этот, гордый, непокорный,
Отправится в свободный свой полет.
В нем столько было в этот миг живого,
Что верилось: взлетит, взлетит сейчас!

В нем столько было в этот миг родного,
Но пробил и его прощальный час.
Мечты мои, души моей пилоты,
Как часто в небо улетаю с вами я!
Жаль только, что сердец благие взлеты
Порой сжигает проза бытия.

АЛЕКСАНДР ПЛЮЩАЙ

Вожак

Вот и дождались — первый снегопад!
В лесу лай, шум, охоты канонада,
И волки в страхе у флажков кружат,
Нутром почуяв — нет для них пощады.

Матерый зверь все понял раньше всех —
И, вздыбив шерсть и выгнув гордо спину,
Чтобы спасти других, взрывая снег,
Вожак ушел в открытую долину.

Горячей кровью метил белый снег,
Взлетая над сугробами прыжками.
Казалось, серый волк был человек,
А люди… люди — серыми волками.

Последний бой был с гончими суров.
И под клыками кровью истекая,
Вожак упал. В то время от флажков
В глубь леса уходила волчья стая.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАПИН

* * *

Над храмом радуга цвела
В лучах закатных, золотых,
И блеск хранили купола
Зарниц недавних, грозовых.

Слезливо отцветал каштан,
Стекали капли-лепестки,
Озона сладостный дурман
Души заполнил уголки.

Выказывал обиды дождь,
Светилась радужно роса.
Как битву проигравший вождь,
Ворчала дальняя гроза.

* * *

Мне стало хорошо от этих женских глаз,
Глядящих в мир и скромно, и лукаво,
Как будто есть у них святое право
Одним судить: что чисто, что не чисто в нас.

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВ

* * *

…В январский день я жду апреля…
Среди сугробов жду тепла…
Чтоб ты в распахнутые двери
Подобно облаку вплыла.

Вплыла походкой невесомой
Не нарушая тишины…
И этот город полусонный
Ожил предчувствием весны…

* * *

Видит Бог — я от обид еще не плакал,
Только челюсти сжимались чуть сильней.
Я на душу, что давно уже в заплатах,
Нашивал еще заплату поскорей.
И никто не видел круче оптимиста,
И никто не верил в лучшее, как я!
Пусть на небе на моем еще не чисто,
Но придет моя минута, лишь МОЯ!
И тогда еще посмотрим, что случится,
И тогда еще посмотрим, чья возьмет!
Правда, может ничего не получиться,
Но минута просто так не пропадет!

МИХАИЛ СОТНИКОВ

* * *

— О, дай мне сил страданье удержать
И не озлобиться на мир чудесно белый.
Я отработаю… Могу ли обещать,
Когда не знаю ближнего предела:
Руки протянутой и пальцев не видать…
— Да будет свет шагающему смело!

* * *

Где мне взять доброты, простоты и любви…
Не о теле пекусь — о свободе.
Средь убожества дней ты меня позови,
Отыщи в небытья хороводе.
Дай мне силы глаза от земли оторвать,
Я восстану из пепла, воскресну.
Снова ветреных зим голубую тетрадь
Уложу на почетное место.
И пойдет разговор, несказанно далек
От того, что минутою греет.
Будем дуть и дышать, и ночной уголек
Беспросветную стужу развеет.
Только ты улыбайся, неведомый друг,
Непрестанно листая страницы:
Хороводит Добро среди морока мук,
Удивленная радость на лицах…

ЕВГЕНИЙ ВЕРМУТ

* * *

Я навещал, и меня навещали.
Я ни ногой, и ко мне тоже нет...
Сколько обид мы друг другу прощали,
Сколько обид мы топили в вине…
Ох, эта гордость, безумная гордость,
Страшно подумать: какого рожна
Мы проявляем ненужную твердость
Там, где как раз наша мягкость нужна.

ВЛАДИМИР ШПАДАРУК

* * *

Говори со мной на равных,
Боль мою не ублажай.
Пусть я в жизни этой крайний
И горчит мой каравай.
Говори со мной на равных,
Не жалей, прошу, меня,
Что на поле этом бранном
Я остался без коня.
Говори со мной на равных,
Чтобы я поверить мог
В свои силы, волю, разум
И судьбой не пренебрег.

АННА ОТОКА

* * *

Не переставай любить себя
После неудач и потрясений,
Верь, что улыбается судьба
Даже за границей огорчений.

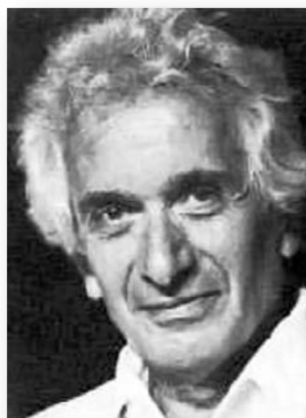
Не переставай любить других,
Все имеют право на ошибку,
Лучше помолись в тиши за них,
Лучше подари свою улыбку.

Никогда не осуждай людей,
И по мелочам не обижайся,
Никогда в глазах своих детей
Самоуваженья не лишайся.

В гневе никогда не засыпай,
Не жалей себя, а воспитай,
Не бери, другому отдавай
И покой душевный обретай.

Покори себя самоотдаче,
На своих предателей не злись,
Помни, что ты очень много значишь
Для тебе позволившего жить.





РЕНЕ БАРЖАВЕЛЬ

*Дороги Катманду**

Роман

Официанты, быстрые и молчаливые, освобождали стол от посуды, меняли тарелки, поднесли несколько больших подносов, заваленных фруктами, и блюдо с огромной пирамидой из разноцветного мороженого. Они не понимали ни слова по-французски, они не представляли, что происходит, и не пытались понять. Они походили на муравьев, такие же озабоченные, быстрые, эффективные. Старик-музыкант и его ассистенты, которым нечего было делать, спокойно сидели, ожидая приказа возобновить концерт. Они знали, что то, что должно произойти, произойдет, и в этом не будет ничего удивительного. Обезьяны, коровы, люди в этой столовой или в любом другом месте делали или говорили то, что они должны сделать или сказать. И никого больше это не касалось.

Жак неторопливо выбрал другую сигару и закурил. Он спокойно опроверг все, что сказала Ивонн. Она давно говорила ему о подпольном рынке, которым, как она была уверена, заправлял Тед. Он скупал за гроши похищенные из храмов статуэтки, чаще всего эротические, и продавал их за большие деньги туристам. Жак был убежден, что это выдумки, игра воображения романтически настроенной женщины.

— Ты не можешь не знать, что это правда, — фыркнула Ивонн. — Ты просто делаешь вид, что не веришь этому, чтобы продолжать свой цирк.

Оливье молча наблюдал за спором, отодвинувшим на второй план предъявленный отцу счет.

— Наполеон! — воскликнула Ивонн. — Он разыгрывает из себя Наполеона! Непобедимый маршал! Великий вождь краснокожих! Длинный карабин! Просто кино! Он изображает актера каждую минуту дня и каждый день в году! Но ему ничто не принадлежит. Ни декорации, ни костюмы, ни ассистенты, ни даже его роль!

Не садясь за стол, Жак схватил бокал и залпом опорожнил его. Он выглядел совершенно спокойным, хотя было заметно, что у него немного дрожат руки. Потом он повернулся к Оливье, приглашая его в судьи.

— Все это из-за женских нервов! Просто ей никак не удается уговорить меня бросить это замечательное дело и уехать с ней. Вернуться во Францию, чтобы обрабатывать несколько гектаров земли, которые она унаследовала от своих родителей. Ты можешь представить, что я выращиваю свеклу? — Он искренне рассмеялся и добавил: — Эти рассказы о статуэтках… Бред какой-то! Тед честный человек!

— Тед вор! — крикнула Ивонн. — Он крадет твою жизнь! Он обкрадывает всех! Сначала, покупая статуэтку, он обкрадывает того, кто ее украл, потом он

* Окончание. Начало в № 1, 2011 г.

обкрадывает простака, который покупает ее, переплачивая в десять раз под предлогом, что добывать статуэтки опасно. Опасно для кого? Кому приходится щекотать тигра, чтобы отвлечь внимание властей? Однажды ты промахнешься, и он сожрет тебя!

— Это я-то промахнусь? Я?

Жак расхохотался, швырнул сигару в ведерко для шампанского, сорвал со стены ружье, вскинул его и нажал на курок восемь раз подряд, постепенно поворачиваясь вокруг своей оси. Стрельба продолжалась пять секунд. Пустые гильзы отлетали на стол, на музыкантов, на Ивонн. Небольшое облачко голубоватого дыма отгородило Оливье от отца. Вокруг них неподвижно застыли официанты; на их лицах не было заметно ни испуга, ни волнения. Висевшие на стенах четыре головы тигров, три буйволов и одна носорога лишились каждая одного глаза.

Жак улыбнулся, довольный собой.

— Видишь? Твой отец еще не скоро позволит сожрать себя.

Ивонн подошла к нему. Она смотрела на Жака с любовью и жалостью. Взяв у него из рук ружье, она передала его подбежавшему слуге.

— А теперь, когда ты закончил свое выступление, посмотри своему сыну в глаза и повтори, что ты дашь ему все, что он потребовал.

Она слегка подтолкнула Жака к столу, но тот возмутился:

— Оставь меня в покое! Не вмешивайся не в свое дело, это должно быть решено между мужчинами.

— Для этого нужно, — грустно улыбнулась Ивонн, — чтобы было двое мужчин… У тебя уже никогда не будет возможности стать одним из них! Скажи ему правду! Ну, давай! Скажи ему все! Может быть, ты найдешь для него хотя бы один миллион из тех тридцати, которые ты ему должен?

Жак растерянно огляделся. Потом он взглянул в глаза Оливье. Тяжело опустившись на стул, он превратился в того, кем был на самом деле, в человека, внезапно оказавшегося под грузом невыносимой правды.

— Мне очень жаль, малыш… Я не могу дать тебе даже миллион… У меня его нет… Нет даже половины, даже четверти миллиона… Она права… У меня нет ничего… Ничего…

Он взял со стола свой бокал, уже наполненный официантом, но сообразил, что играть дальше нет смысла, и поставил его назад. Потом пожал плечами и улыбнулся сыну жалкой улыбкой.

— Ты не таким представлял себе отца, не так ли?

Оливье немного помолчал, потом негромко произнес:

— Да, совсем не таким… — Снова помолчав, он добавил: — Я думал, что это негодяй с набитыми деньгами карманами, который заставляет нас голодать…

Его взгляд медленно смягчился, в его груди словно лопнула невидимая пружина, и все мышцы расслабились. На лице появилась совершенно детская улыбка. Он схватил свой бокал, к которому ни разу не прикоснулся с начала застолья, поднял его приветственным жестом и выпил.

Джип остановился на тропе, в нескольких шагах от дороги. Оливье выбрался из него. Жак, сидевший за рулем, протянул ему рюкзак. Солнце, уже высоко поднявшееся над горизонтом, нещадно припекало.

— Пешком ты будешь добираться очень и очень долго! Почему ты не хочешь подождать, когда мы закончим охоту? Потом мы вместе отправимся в Катманду…

— Нет, я не могу ждать…

— Почему ты так торопишься в город? Что, тебя там кто-то ждет? Наверное, девушка?

— Угадал, — вздохнул Оливье.

Перед ним не оставалось других препятствий. Деньги, из которых он воздвиг вокруг себя непроницаемую стену, превратились в дым, исчезли, растворились. Джейн была там, совсем недалеко, в нескольких шагах. Нужно было преодолеть это расстояние и встретиться с ней. Ему даже не нужно было избавляться от других парней, она сама выбросит их из своей жизни.

— Она красивая? — спросил Жак.

— Конечно!

— Ты влюблен в нее?

— Кажется, да.

Жак вздохнул.

— Поосторожней с девушками! Какое-то время все бывает очень хорошо, но если затянуть, то может выйти совсем иначе… Ладно, давай! Счастливого пути!

Он помахал рукой, развернул джип и исчез за деревьями.

Некоторое время Оливье считал дни, но на пятом или шестом сбился со счета. Впрочем, ему было все равно. Он шел вперед, то поднимаясь в гору, то спускаясь, и каждый раз перед ним возникал новый подъем. Он не уставал, и если бы ему не нужно было найти Джейн, то ему даже понравилась эта бесконечная дорога. Она казалась ему легкой, и не только потому, что торопился к Джейн, но и оттого, что он лишился тяжелого груза ненависти и презрения к своему отцу.

Он пришел сюда с другого конца света с ножом, которым собирался вспороть мошну мерзкому миллиардеру, чтобы извлечь из нее свои миллионы, но вместо угрюмого богача встретил жизнерадостное несмышленое дитя, такое же бедное, как он сам. Несколько банкнот, которые Жак сунул ему в карман и от которых он сначала хотел отказаться, пришлось взять, чтобы не обижать отца. Теперь они лежали на дне его рюкзака, делая его совсем невесомым, потому что эти деньги были символом отцовской любви и мужской дружбы. Получи он миллионы от чужака, который был его отцом, и они давили бы на его плечи свинцовым грузом.

Дорога обогнула узкую долину и устремилась кверху, к свету, становившемуся все ярче, все сильнее. Оливье вышел на гребень и остановился, пораженный.

Под ним простиралась широкая долина, зеленая, словно английский газон, пересеченная во всех направлениях множеством тропинок и дорог, разрисованная трудолюбивыми руками земледельцев, без малейшего клочка дикой растительности, без единого неухоженного пятачка земли. На противоположной стороне долины, далеко на горизонте, к небу мрачными уступами все выше и выше поднимались гигантские горные хребты. Вершины самых дальних пиков тонули в чудовищных облачных массах, тяжело опиравшихся на горные хребты. Это было предупреждение человеку, что его мир не должен преодолеть границы охраняемого ими беспредельного пространства. Над медленным водоворотом облаков еще выше в небо уходила вершина прозрачной фарфоровой белизны, зазубренная, острая, нереальная, легкая, как мечта, и в то же время подавляющая своей мощью. Она занимала половину неба.

— Гималаи, — зачарованно пробормотал Оливье.

Огромное белое зеркало горы нереальных размеров посылало в долину невесомые лучи, концентрат лазури и света, извлеченный из небесных глубин, субстанцию белее белого, прозрачнее пустоты, которая проникала в обычный дневной свет и вспыхивала, не смешиваясь с ним. Эти лучи ложились на все контуры рельефа, на каждый дом, на каждое дерево, на каждого человечка-муравья, копошащегося в земле, даже на уродливый грузовик, рыча поднимавшийся на перевал, создавая вокруг всего ореол неземной красоты. Благодаря этому освещению воздух казался менее плот-

ным, более пригодным для дыхания, а любое напряжение сил становилось радостным. Это был свет божественного праздника, подаренный людям, чтобы укрепить в них уверенность в том, что все, что они ищут — справедливость, любовь, истина, — существует, нужно только всегда идти вперед, искать и добиваться. И если смерть останавливает вас на пути, это не имеет значения — цель продолжает существовать для других.

Когда мимо застывшего на обочине Оливье прогрохотал грузовик, он прокричал заполнившим кузов пассажирам: «Катманду?» — и махнул рукой в сторону долины. Все в кузове принялись отрицательно качать головой, смеясь и выкрикивая непонятные фразы.

Оливье свернул на сокращающую путь тропинку и быстро зашагал вниз по склону, мурлыча какую-то глупую мелодию, песенку счастья.

По всем дорогам в Катманду стекались крестьяне в пестрых, иногда даже довольно чистых, одеждах. Семьями, целыми деревнями, взрослые, старики и дети, идущие с четырех сторон света и со всех промежуточных направлений, спешили к центру мира, которым в этот день стала главная площадь Катманду, на которой храмы самых разных размеров, столь же многочисленные, как деревья в лесу, были заполнены небесными и земными богами. В этот день в этом месте людям и богам полагалось встречаться, беседовать и радоваться тому, что каждое существо в мире находится на своем месте и делает то, что должно быть им сделано. И все радовались жизни и смерти, непрерывно сменяющим друг друга, противоположным и в то же время стремящимся в одном направлении.

Оливье, до сих пор в одиночестве шагавший по своей тропинке, скоро был поглощен все более и более густой толпой радостных грязных людей, пахнущих сеном и навозом. Его сжимали со всех сторон, толкали и тянули вперед, пока он не попал в стены Катманду через западные ворота.

Толпа завлекла его на узкую улочку, ведущую к площади. В воздух поднималось едкое облако пыли из растоптанного тысячами ног высохшего на солнце коровьего навоза, помета собак и обезьян и человеческого кала. Проникнув в ноздри Оливье, отвратительный запах едва не задушил его. Он поспешно прижал к лицу носовой платок, но тончайшая пыль просачивавшаяся сквозь него, продолжала производить такой же эффект, как негашеная известь. Сунув платок в карман, он глубоким вдохом через рот заполнил свои легкие пылью с запахом дерьма и… перестал замечать его. Так бывает в море, когда ты, кинувшись очертя голову в воду, невольно хлебнешь добрую порцию. Сопротивляясь, ты только ухудшаешь свое положение, продолжая поглощать горькую воду, пока не утонешь. Если же подчинишься, то быстро превратишься в рыбу.

Толпа замедлила движение, пропуская корову, выбравшуюся на улицу через распахнутые двери. Не реагируя на людскую массу, она неторопливо пересекла проезжую часть и сунула морду в лавочку на противоположной стороне. Не обнаружив среди медной утвари ничего достойного внимания, она медленно направилась к площади. Это было упитанное животное, преисполненное чувства собственного достоинства. Обгонявшие корову люди старались не задеть ее и ничем не потревожить. Обе стороны улицы были заняты лавочками без витрин, с настежь раскрытыми дверями. Они были заполнены металлической посудой, веревками, инструментами, религиозными картинками, ожерельями из жемчуга и красного коралла, мотками шерсти, непальскими одеяниями и европейской одеждой, шапочками самых разных цветов и прочей хозяйственной мелочью, заполнявшей небольшие коробки. Там можно было увидеть небольшие кучки порошка желтого или красного цвета на зеленых листьях или клочках рисовой бумаги, кусочки непонятной еды, сложенные в виде конусов, лепестки цветов и множество

других предметов, происхождение и назначение которых оставалось для Оливье непонятным. Много места занимали ведра, тазы, миски, браслеты, ужасные статуэтки и разные другие пластмассовые изделия индийского производства. Ветхие домишки, казалось, были готовы в любой момент обрушиться на жалкие лавчонки. Великолепные ставни из резного дерева разваливались, деревянные кружева, украшавшие фасады, были изъедены временем, пороги стерты, а балки изогнуты. Но мимо этих дряхлых строений, по улицам превращенного в мумию города стремилась толпа юных, здоровых и жизнерадостных людей, увлекая за собой Оливье.

Он пытался, впрочем, без особой надежды, разглядеть между головами людей силуэт Джейн или кого-нибудь из ее приятелей. Но ему не встретилось ни одно европейское лицо, и в его ушах стоял сплошной гул от слов, произнесенных на неизвестном языке. Он ощущал себя здесь более чужим, чем в любой другой стране. Его словно погрузили в иное пространство, с обитателями которого он мог общаться с тем же успехом, что и с муравьями или курами. Но он был уверен, что имеет дело с доброжелательным племенем, от которого не может исходить никакое зло, хотя, впрочем, и добро. Только улыбки и дружелюбные жесты, сопровождающие непонятный язык, любезность вместе с безразличием. Старые и молодые, мужчины и женщины мелькали, обращая на него внимания не больше, чем на какой-нибудь бесполезный предмет. Они были охвачены радостью повстречаться со своими богами и провести праздник вместе с ними.

Вдали, в конце улицы, Оливье уже видел возвышающийся над домами лес храмов, слышал звуки музыкальных инструментов и нестройный хор поющих голосов. Его вытолкнули на площадь в тот момент, когда на ней появился оркестр, в котором наряду с небольшими скрипками преобладали странные духовые, струнные и ударные инструменты из дерева и металла. Музыканты извлекали из них звуки, способные погрузить в нирвану любителей атональной музыки. Тем не менее музыка были жизнерадостной, а мелодия свободной. За музыкантами медленно передвигался буйвол, украшенный цветами и разноцветными лентами, которого вел за собой мужчина в маске обезьяны. Вслед за буйволом шел воин, игравший чудовищными мускулами, на котором из одежды была только узкая полоска ткани на чреслах. На правом плече сверкало длинное, широкое и тяжелое лезвие кривого меча, заточенного с внутренней стороны изгиба. Он возглавлял группу разодетых в пестрые одежды танцоров, лица которых скрывались под ярко раскрашенными масками богов и демонов. Не останавливаясь, они разыгрывали сцену, изображавшую, по-видимому, один из актов творения.

Справа от Оливье высоко в небо устремлялся громадный храм. Построенный в виде массивной четырехгранной ступенчатой пирамиды из красного кирпича, он заканчивался одиннадцатью квадратными крышами, налегавшими друг на друга, постепенно уменьшаясь, и гармонично продолжавшими таким образом свое пирамидальное основание.

Под самой нижней крышей находилась открытая дверь, за которой виднелись тысячи золотистых огоньков. Сбоку от двери расположилась группа хиппи, около двух десятков девушек с длинными волосами и заросших бородами юношей в экстравагантных одеждах. Возвышаясь над толпой, занявшей ступени на боковой грани пирамиды, они вместе со всеми наблюдали за приближающейся процессией.

Они были слишком далеко и слишком высоко от Оливье, чтобы он мог различить лица, но, несмотря на это, он был уверен, что узнал бы Джейн, находись та среди них. Но, может быть, они знали ее и, по крайней мере, могли сказать, где находится девушка.

Он осторожно, боком, протиснулся сквозь плотную толпу к основанию храма. На его нижних ступенях крестьяне разложили плоды своих трудов:

связки шпината с листьями в половину газетного листа, груды редиса размером с бутылку, пучки мелкого лука с длинными зелеными хвостами, самые разные фрукты, кучки которых не помещались на ступеньках и спускались на пыльную землю, что, впрочем, не имело никакого значения для тех, кто с детства привык к этой пыли.

Оливье прошел между двумя стражами храма, сидевшими по сторонам лестницы, поднимавшейся к двери золотистых огней. Это были каменная львица с выкрашенным в красный цвет носом и добродушный лев с половыми органами такого же цвета. Почтительные руки паломников натерли шафраном морды зверей и посыпали головы лепестками роз.

Кортеж музыкантов и танцоров с буйволом в их рядах продолжал обходить площадь, останавливаясь перед каждым алтарем, перед каждой стелой, перед каждой украшенной цветами статуей божества. Музыканты исполняли торжественную мелодию, танцоры совершали ритуальный танец, после чего кортеж трогался дальше. Буйвол тащился вслед за ними с опущенной мордой. Очевидно, он представлял, что его ждет.

Оливье, едва поднявшись на вершину ступенчатой пирамиды, сразу уловил запах марихуаны, еще более сильный и едкий, чем у сигарет Свена. Двое парней и четыре девушки явно использовали широко известный гашиш Катманду, как они его называли.

Сидевшие встретили вновь пришедшего с пассивным дружелюбием. Французов среди них не оказалось. Оливье попытался узнать хоть что-нибудь, повторяя на разные лады:

— Jane? Jane? You know Jane? Sven? Garold? Jane?

Они отрицательно качали головами, что-то говорили на английском, немецком и, вероятно, на голландском. Но было ясно, что они ничего не знают о Джейн и ее спутниках. Немного понимавший по-французски американец сказал, что в Катманду очень много «путешественников», юношей и девушек, которые приходят, уходят, потом снова появляются. И всех их знать невозможно.

— А где можно их увидеть?

Американец неопределенно помахал рукой во все стороны.

Потом Оливье выяснил, что тот видел красную машину. Но не помнил, когда и где… Он посоветовал обратиться за справками в отель «Гималаи». Обычно богатые американцы устраиваются именно там. На вопрос, где находится этот отель, последовал еще один неопределенный жест.

Оливье повернулся, чтобы спуститься вниз. За это время на площади с разных сторон появились еще три процессии, также в сопровождении буйволов. Музыканты каждой процессии играли что-то свое, отличавшееся ритмом, мелодией и звучанием инструментов. Точно так же различаются, в то же время сливаясь в одно целое, четыре стороны света и четыре основных элемента мира.

Вокруг процессий колебалась плотная толпа, то растекаясь, то снова смыкаясь, медленно кружась, устремляясь вслед то одному, то другому кортежу, добавляя пение одиночек и небольших групп к разноцветной мозаике, сотканной из звуков четырех отдельных оркестров. Над людской массой возвышались крыши, на которых суетилось множество обезьян, скачущих, дерущихся, взволнованно щебечущих.

В небе над крышами величественное видение огромной горы старалось прикрыть свои тайны колеблющимся покровом облаков, медленно поднимавшихся все выше и выше. Белые, серые и черные облачные массы неудержимо стремились в зенит, надвигаясь друг на друга, вступая в схватку и порождая все новые и новые тучи.

Оливье больше не видел города. Его скрывал частокол шпилей. Храмов было множество. Казалось, что они продолжаются до бесконечности,

покрывая собой весь мир. На мгновение ему почудилось, что так и должно быть, что это правильно. Но он тут же забыл эту мысль. Его глаза все видели, мозг фиксировал четкий отпечаток картины, но разум не был готов к тому, чтобы прочесть это послание и понять его.

Все храмы были созданы по одному и тому же подобию. Но их ориентировка, высота пирамиды, количество ступеней и очертания крыш менялись в зависимости от места, которое они занимали в общем построении площади. Таким образом, площадь отражала облик вселенной, вселенной живой, как видимой, так и скрытой от глаз смертных. Каждый храм играл одновременно роль двигателя и тормоза, выполнял функции позвоночника, мускулов, костей, сердца, души, открытых глаз и руки, протянутой для того, чтобы отдать и в то же время получить.

В центре вселенной, в самой середине площади, находился бассейн, выложенный гранитными плитами.

В середине бассейна возвышался каменный столб, опиравшийся на круглую чашу. Это были лингам и йони, олицетворение мужского и женского начал, единых в своем каменном облике и соединенных на всю бесконечность жизни, создаваемой их единством. Вселенная вокруг, площадь, храмы, толпа, коровы, собаки, облака, скрывшаяся под их покровом гора, звезды, долженствующие появиться ночью, были плодами их любви, вечной и непрерывной.

Под прямым углом к западной стороне бассейна, мордой к заходящему солнцу, лежала каменная корова, выкрашенная в желтый цвет, завороженно наблюдавшая за единением, сочетанием, слиянием пустоты и изобилия, из которых она вышла, когда была живой.

Над головой Оливье раздался собачий лай. Он удивленно поднял голову и увидел ворона в коричневом оперении, сидевшего на краю нижней крыши храма и следившего за ним внимательным желтым глазом. Хитрая птица нацелилась на него своим длинным клювом, продолжая ругать его на собачьем языке. Нахальная обезьяна подскочила к ворону и схватила его за хвост. Ворон нанес свирепый удар своим опасным клювом по неосторожной лапе, и обезьяна умчалась, жалобно повизгивая. Ворон подмигнул Оливье, прокашлялся и принялся мурлыкать на кошачьем языке.

В небесной лазури, прямо над площадью, родилось небольшое белое облачко. Оно тут же принялось расти, напоминая распускающийся бутон розы. В это время первая процессия подошла к бассейну в центре площади. Музыканты, не переставая играть, расположились вокруг бассейна. Тучи над горой поползли к небольшому облаку в зените. По всему горизонту прокатилось ворчание грома. Мужчина в маске красной обезьяны запрыгнул в бассейн и потянул за собой буйвола за веревку, привязанную к его рогам, заставив его уткнуться мордой в сочетающиеся столб и чашу.

Музыка четырех оркестров в сочетании с нестройным хором окружающей толпы, гармонично сливалась с пантомимой облаков, к которым взлетали длинные вертикальные ноты высоких женских голосов. С окружавших площадь крыш к ним присоединялись пронзительные крики обезьян. Сидевшие там же вороны дружно взлетели и принялись описывать в воздухе длинные плавные кривые. Лежавшая в пыли корова встала, вытянула шею и громко замычала. Обнаженный воин вознес над головой свою страшную саблю, держа ее обеими мускулистыми руками, на мгновение замер в таком положении и, внезапно испустив дикий вопль, обрушил саблю на шею буйвола, отрубив ему одним ударом голову.

Струя крови ударила в лингам и потекла по нему в йони. Толпа громко закричала. Обезглавленное животное все еще стояло на четырех ногах; кровь, пульсируя, продолжала вытекать дымящимися струйками из его шеи.

Потом буйвол рухнул в воду. Высоко в небе тучи смешивались в единое клубящееся месиво ярости и радости, освещаемое вспышками молний.

К бассейну приблизилась вторая процессия со вторым буйволом. Над толпой, которая клубилась и разбухала, подобно тучам, звучали гимны, посвященные богам, олицетворяющим образы жизни, смерти и вечности.

На заре ворон в коричневом оперении слетел с привычного насеста на крыше храма, опустился рядом с головой Оливье, уснувшего на верхней ступени, и принялся осторожно перебирать своим стальным клювом его волосы, вероятно, в надежде найти какое-нибудь съедобное насекомое.

Оливье, вздрогнув, поднялся резким движением, и возмущенный ворон отскочил в сторону, рассерженно забормотав. Оливье улыбнулся, почесал голову, зевнул и развязал рюкзак, служивший ему подушкой. Из рюкзака он извлек пакетик из прозрачной пленки, в котором оставалось немного рисовой каши, и принялся поглощать ее небольшими шариками, которые он лепил пальцами. Ворон, сидевший на расстоянии не более метра и рассматривавший его поочередно то правым, то левым глазом, явно недоумевал, почему этот грубиян не торопится поделиться с ним своим завтраком. Оливье бросил ворону один шарик. Тот склонил голову набок, чтобы рассмотреть подношение правым глазом, и осторожно клюнул. Попробовав рис, он тут же выплюнул его, испустив жуткий крик, взлетел и помчался над площадью, продолжая вопить, словно собака, которой грузовик отдавил хвост. И все вороны в городе, как с коричневым, так и с черным оперением, какое положено иметь воронам, а также коричневые и черные вороны, оперение которых от времени стало серым, голубые птицы с красным хохолком, голуби и воробьи, длинные зеленые птички, собаки, коровы, весь обезьяний народ и единственный в Катманду кот с круглыми ушами, который считался котом-леопардом и жил в замке Бориса, все животные и даже некоторые люди, понимающие язык животных, узнали, что один появившийся накануне в городе хулиган, в волосах которого нет ничего съедобного, попытался скормить своему брату-ворону отравленный рис.

И никто не знал, что это была не отрава, а всего лишь запах пластика, в который был завернут рис.

Почти не отдохнувший за ночь Оливье, у которого от лежания на твердом болела спина, улегся на свое кирпичное ложе и закрыл глаза, но через мгновение снова открыл их. Встающее солнце окрасило в розовый цвет наклонные балки, поддерживавшие крышу. Каждая из них, раскрашенная и покрытая резными узорами на всем протяжении, изображала бога или богиню, атрибуты которых, выражение лица, поза и количество рук на каждой балке были уникальными. Получалось, что храм держался на плечах множества небожителей. В свою очередь, их поддерживали жители Земли, занимавшиеся своими обычными делами. На каждой балке под ногами бога или богини находились служившие им опорой мужчина и женщина, сочетавшиеся в самых невероятных позах. Оливье разглядел, что при этом женщина всегда занималась выполнением своих повседневных обязанностей — она дробила в ступе зерно, сажала рис, мыла волосы, кормила грудью младенца, подметала пол, что-то варила, доила корову... В то же время мужчина, не мешая ей выполнять работу, которая обязательно должна быть выполнена в свое время и в нужном месте, не прекращал оплодотворять ее своим огромным членом спереди, сзади, сверху, снизу, иногда с помощью соседа, иногда с участием соседки. Несмотря ни на что, женщина, мать, квинтэссенция земли и воды, не перестававшая делать то, что она должна была делать с незапамятных времен и в бесконечном будущем, наводившая всюду порядок, извлекавшая пищу из живого для

живого, получавшая от земли фрукты и создававшая из фруктов дитя, превращавшая в муку грубое зерно и выпекавшая из этой муки золотистый хлеб, продолжала, не теряя ни мгновения, вновь и вновь принимать семя, чтобы непрерывно порождать новую жизнь и, таким образом, продолжать род человеческий.

Заинтересовавшись увиденным, Оливье встал и обошел храм по периметру, от одной балки к другой, задрав голову и рассматривая эротические скульптуры. Вскоре поведение мужчины показалось ему достаточно нелепым. Он походил на карикатуру пожарного с брандспойтом в руке, которому никак не удавалось загасить пламя. И этот предмет, который, как он считал, принадлежал ему и который он так старательно использовал, чтобы заткнуть любую повстречавшуюся дыру, казалось, не принадлежал ему, но он сам был его рабом.

Вскоре Оливье добрался до окончания цикла. На последней балке мужчина исчез, и женщина осталась одна. Сидя лицом к зрителю и придерживая руками высоко поднятые ноги, она рожала девочку, находившуюся в такой же позе, как мать, и тоже рожала очередную девочку, а та в свою очередь тоже рожала... Так продолжалось до последней фигурки размером не больше чечевичного зерна, но и из нее изливался поток новой жизни, стремящейся, таким образом, к бесконечности.

Из дверей храма, за которыми все еще горело несколько огоньков, вышел остриженный наголо мальчик лет десяти, с висящей под носом соплей. Его лицо, рубашка и штаны были все того же универсального для всей страны грязно-бурого цвета, но в ясных глазах светилась радость, которую ничто не могло запачкать. В руке он держал небольшую палочку. Увидев, что привлекло внимание Оливье, он остановился, засмеявшись, поднял палочку горизонтально и подвигал ее вверх-вниз, воскликнув «зип!-зип!-зип!». Затем, отвернувшись, он принялся спускаться вниз, прыгая с одной ступеньки на другую сразу обеими ногами и продолжая выкрикивать свое «зип-зип-зип!».

Внизу начали появляться крестьяне с зеленью и овощами. Свой груз они несли не на спине, как это принято среди шерпов, а в больших плоских корзинах, подвешенных к коромыслу.

Площадь, обласканная солнцем, окрасилась в розовые тона. Теперь Оливье увидел под фальшивыми румянами юности, что храмы, как и весь город, были невероятно древними, покосившимися, с выщербленными ступенями и ободранными крышами, готовыми обрушиться под весом обезьяньих стад.

Интенсивность эмоций толпы на несколько часов омолодила их, но как только празднество окончилось, они снова вернулись к прежнему состоянию, словно старики возле печки, молодеющие, когда в ней пылает огонь, и дряхлеющие, когда огонь гаснет и угли покрываются пеплом.

Накануне Оливье весь вечер искал Джейн, пробираясь сквозь заполнившие город толпы. Он встречал хиппи из самых разных стран, но их сознание было затуманено наркотиками. Никто из них не смог вспомнить Джейн, Свена или Гарольда. Он разыскал отель «Гималаи», перед которым клиентов ожидало несколько такси с изображением головы тигра на капоте и кузовом, разрисованным полосами, словно шкура хищника, но американские автомобили ему не попадались. Это было естественно, так как большинство туристов добиралось до Катманду на самолете. Редко кто решался совершить опасное путешествие на машине. Он направился к входу в отель, перед которым стоял великолепный гуркха в тюрбане и безупречном белом одеянии, но остановился. Что он мог спросить у него? Кроме имени, он ничего не знал о Лорин...

Надвигалась ночь. Толпы крестьян покидали Катманду, возвращаясь под предводительством музыкантов в свои деревни. Торговцы опускали деревянные ставни своих лавочек, огни в храмах гасли один за другим.

Неожиданно Оливье почувствовал себя страшно одиноким, как если бы он затерялся среди лунных кратеров. Он присоединился к парочке хиппи из Штатов, заросших грязными волосами и увешанных ожерельями и амулетами. Они привели его в просторное помещение, большую часть которого занимал длинный деревянный стол со скамьями по сторонам, где несколько хиппи пассивно ожидали, когда появится кто-нибудь с деньгами, чтобы купить немного еды. Оливье пришлось раскошелиться. За несколько рупий индус, хозяин комнаты, водрузил посреди стола большое блюдо риса с остатками каких-то овощей, разложил ложки, тарелки и поставил стаканы для воды. Хиппи распределили рис по тарелкам, но почти никто так и не очистил их от еды. После одной-двух ложек у них пропадал всякий аппетит, они не хотели есть, не хотели ничего, они превратились в растения, которым было достаточно солнца, дождя и того, что им могла дать земля. И у них не осталось ни малейшего желания хотя бы пошевелить одним листом.

Напротив Оливье сидела девушка-блондинка, казавшаяся не такой грязной, как остальные. Ее волосы были аккуратно уложены в виде шиньона. Прическа и пухлые розовые щеки делали ее похожей на учительницу из Голландии. Она уставилась в пустоту над левым плечом Оливье, даже не пытаясь делать вид, что хочет есть. В пустой тарелке не было ни зернышка риса, она сидела неподвижно, бессильно опустив на колени вялые руки. Только слегка поднимавшаяся грудь говорила о том, что она еще дышит. Она не отводила взгляда от стены слева от Оливье, и тот прекрасно знал, что там не на что смотреть. Тем не менее, все время, пока он сидел за столом, девушка продолжала смотреть в пустоту, не двигаясь и не произнося ни слова. Оливье старался не смотреть на нее; ее взгляд пугал его.

Юноши и девушки вокруг лениво ковыряли рис в своих тарелках, то сгребая его в небольшие кучки, то снова разравнивая. Изредка они подносили ко рту ложку с несколькими крупинками. Он заметил, что девушки находились в более глубоком трансе по сравнению с юношами. Они уходили дальше, сильнее отстранялись он обычных законов повседневности, от необходимости и обязанности жить. Ужас охватил его, когда он подумал о Джейн. Где она находилась сейчас? Возможно ли, что она тоже оказалась на этом туманном берегу, откуда наш реальный мир предстает чем-то призрачным, все более и более отдаляющимся и постепенно исчезающим?

Никто из сидевших за столом не знал Джейн. Но были другие места для сборищ, другие столы, другие дороги, другие храмы и другие праздники. Непал — страна богов, и каждый день в одной из деревень одному из них посвящался праздник, только потому, что солнце восходит каждый день. Музыканты и правоверные перебирались от одного поселения к другому узкими тропинками от одного холма, увенчанного храмом, к другому. И «путешественники», собравшиеся здесь со всех концов земли, шли за ними теми же путями, думая, что они все понимают, но на самом деле ничего не понимая, несчастные, потерявшие свой мир и не нашедшие ничего взамен, блуждающие в поисках смысла жизни и заглушающие дурманом воспоминания о том, что покинули, и боязнь того, что не найдут ничего, что могло бы заменить все, от чего они отказались.

Где были Джейн, Свен и Гарольд? Может, в Свайянбунате, может, в Патане, может, в Пашупакинате, может, в Покаре, может, еще где-нибудь... Они постоянно перемещаются... Они никогда не сидят на одном месте... Они нигде не находят места для себя, места и покоя. Они всегда идут все дальше и дальше... И они курят... Чистенькая блондинка с хорошо уложенным шиньоном, смотрела через плечо Оливье. Она ничего не видела.

Оливье не представлял, где он сможет провести ночь, но двое американцев позвали его с собой. На пустынных улицах, плохо освещенных

редкими и слабыми лампочками, прицепленными к натянутой над перекрестками проволоке, мелькали тени тощих псов. Лавочки были закрыты на массивные висячие замки. Вороны и обезьяны давно уснули.

В гостиницу, куда Оливье привели американцы, можно было попасть только через узкую дверь в щели между двумя лавками. Из ниши над дверью выглядывал многорукий божок. Тусклый свет небольшой лампочки освещал его лицо и жалкие подношения — небольшую кучку риса и горсть лепестков роз. Пройдя по узкому коридору, они попали в квадратный дворик, посреди которого теснилось несколько каменных богов и возвышался стоявший над йони лингам. Лица богов были вымазаны желтой или красной краской, в ладони им были насыпаны зерна риса, а плечи и головы были украшены свежими цветами. Вокруг дворика деревянные столбы поддерживали кружевной деревянный навес с выщербленными краями, покрашенный в красный цвет. Под навесом на дворик выходили двери комнат.

Едва очутившись во внутреннем дворике, Оливье почувствовал сильный запах гашиша. Подавив отвращение, он последовал за хиппи в их комнату, располагавшуюся в глубине двора. Юноша толкнул дверь и первым вошел в комнату, не заботясь о следовавших за ним. Шагнув через порог вслед за девушкой, Оливье остановился. Комната освещалась масляной лампой, стоявшей в стенной нише. Вместо мебели на земляном полу лежало несколько ковриков; ни простыней, ни одеял он не увидел. Лежавшие на полу юноши и девушки спали или курили. Несколько ковриков оставалось свободными. Справа от двери парень и девушка, только что занимавшиеся любовью, уснули. Их совершенно не волновало, что они остались почти обнаженными.

Оливье отшатнулся, задержав дыхание, потом повернулся и выскочил во двор. Опрометью промчавшись по коридору, он снова оказался на улице. Здесь остановился, поднял лицо к небу, на котором сверкали непривычно яркие звезды, и глубоко вздохнул. Заполнивший его легкие воздух, насыщенный запахом навоза, показался ему свежим и даже приятным, словно он вдыхал аромат весенних фиалок.

Ущербная луна освещала крышу храма в конце улицы. Усталость быстро сморила Оливье, и он заснул на его верхней ступеньке. Желтый пес, следовавший за ним по пятам, улегся рядом, положив ему голову на грудь, чтобы им обоим было теплее. Когда на восходе солнца появился ворон, пес уже отправился на поиски завтрака.

Он искал ее весь день. Исходив весь город, улицу за улицей, расспрашивая всех попадавшихся ему навстречу хиппи. Но получал от тех, кто его понимал, только отрицательные или невнятные ответы. Несмотря на терзавшую его тревогу, он постепенно начал понимать этот удивительный город, в котором барахтался, как муха, упавшая в кружку с молоком. Повсюду ему встречались боги — над дверями, в простенках между окнами, даже посреди улицы, в гуще движения, где их устанавливали на массивном основании. Боги поселялись в храмах, находившихся на каждом перекрестке, целыми группами располагались во дворах, выглядывали из окон, поддерживали крыши или сидели на них. Похоже, их было так же много, или даже больше, чем жителей города. И они были такими разными и такими похожими. Это были не просто части декораций, но живые участники городского быта. Мужчины и женщины общались с ними, приветствовали, проходя мимо, делились с ними едой, посыпали лепестками цветов, гладили по лбу, выражая таким образом свою признательность. Дети карабкались на них, птицы и обезьяны забирали у них рис, оставляя взамен помет, коровы чесали бока об острые углы, стриженые овцы дремали у их ног, вороны цвета табака садились им на голову, чтобы обра-

титься к прохожим с похвальными словами или ругательствами, торговцы овощами вешали связки лука на их протянутые руки. Они жили обычной жизнью, такой же, как и все горожане. Люди, боги и животные были перемешаны, сплетены в нечто единое подобно волосам, цветам и шерстяным ленточкам в женских прическах. Люди всегда относились к ним так же дружелюбно, как к своим соотечественникам. Боги были везде, в тысячах существ из плоти, из камня, из шерсти или из перьев, они были в глазах множества детей, игравших голышом перед дверями своих хижин, где их, казалось, не занимало ничто иное, как только счастье быть живыми.

Бог был везде, но «путешественники», пришедшие сюда из далеких краев, нигде не находили его, потому что забывали, что искать его нужно было прежде всего в себе.

В плане Катманду походил на звезду с восемью лучами. Восемь торговых улиц, расходившихся в разные стороны от площади Храма, протянулись во все концы долины. Между ними размещались кварталы ремесленников, в которых небольшие мастерские, открытые взглядам прохожих, заменяли лавки.

На севере, за пределами звезды, вдоль дороги в аэропорт, были построены отвратительные бетонные здания, в которых размещались посольства, отели для туристов, казармы, а также госпиталь Красного Креста, банк, водонапорная башня, хлебозавод, электростанция и тюрьма.

На юге квартал горшечников обрывался на берегу большого пруда с темной водой. Здесь Оливье закончил поиски вечером второго дня.

В конце улочки, по сторонам которой груды глиняных горшков и кувшинов достигали крыш, он очутился среди мрачного пейзажа. Пруд был большим, и люди на противоположном берегу выглядели небольшими фигурками. Вода в нем была цвета ночи. Множество черных свиней, коротконогих и волосатых, бродили по берегам пруда, разрывая грязь пятачками и пожирая обнаруженных червей и личинок. Буйволы погружались в воду почти целиком, так что над поверхностью торчали только ноздри и рога. На берег они выбирались черными от грязи. К пруду подошла женщина, опорожнившая в воду синее пластмассовое ведро, в котором были собраны семейные экскременты, накопившиеся за день. Потом она протерла рукой ведро внутри и ополоснула его. Немного в стороне три женщины, болтая и смеясь, полоскали белье, выжимали его и снова полоскали. Одна из них распустила волосы и долго мыла их. Потом она полностью разделась и, присев на корточки, принялась обливать себя водой с головы до ног. Она была уверена, что ничем не нарушает приличия, так как ее нагота не была заметна со стороны.

Повернувшись, чтобы уйти, Оливье увидел Джейн. Она лежала на спине на самом краю грязной лужи. Спутанные волосы закрывали лицо, джинсы были выпачканы в грязи. Огромная свинья обнюхивала ее. Толкнув лежавшую рылом, свинья распахнула у нее на груди блузку, обнажив грудь. Оливье кинулся к девушке, громко выкрикивая ее имя. Наткнувшись на не успевшую убраться в сторону свинью, он упал. Пока он поднимался, свинья, бродившая вокруг девушки, принялась мочиться на нее. Подбежав, Оливье пинком отшвырнул в сторону животное, умчавшееся прочь с громким визгом, заставившим прачек обернуться на происходящее. Оливье, потерявший голову от ужаса, приподнял Джейн и отбросил с ее лица волосы. Это была другая девушка.

Она очень походила на Джейн ростом, общим обликом и цветом волос. Но она была заметно старше Джейн, с большим носом и показавшимися ему почти желтыми подслеповатыми глазами, тупо смотревшими на него из наркотического тумана, в котором сочувствие юноши и моча свиньи ничем на отличаются и одинаково не имеют значения.

Оливье попытался поднять ее на ноги, чтобы увести отсюда. Но ноги не держали ее, она выскользнула из рук Оливье и осела на землю, едва не упав. Увидев, наконец, юношу, она протянула к нему руку, невнятно бормоча что-то вроде «упи, упи». Оливье с трудом понял, что она просит денег. Положив ей на ладонь бумажку в несколько рупий, он сжал ей пальцы, чтобы она тут же не потеряла ее.

Прачки громко смеялись, словно присутствовали при забавной сцене или смотрели на смешных животных. Оливье повернулся и ушел с тяжелым сердцем, повторяя про себя имя Джейн.

Пройдя по улице горшечников, он присел на ступеньку небольшого храма, со стен которого на него таращились рогатые чудовища. Они грозили ему оскаленными мордами, царапая воздух когтистыми лапами. Это были стражи храма, которым полагалось отгонять демонов.

Оливье казалось, что один из демонов поселился у него в груди. Неужели это любовь?

Девушка, с которой он едва знаком и которую обнимал только одну ночь, внезапно, после его встречи с отцом, оказалась способной дать ответы на все его вопросы, разрешить все его проблемы. День за днем он шел к ней, вспоминая ее огромные глаза, в которых не было и тени лжи, ее светлую улыбку, ее слова. И в особенности чувство безграничного покоя, который он испытывал, находясь рядом с ней, даже если они не разговаривали, даже если он не смотрел на нее. Когда она сидела на траве, в нескольких шагах от него, все в нем и вокруг него приходило в равновесие, все становилось спокойным, все было хорошо.

Час за часом, по мере того, как продолжались его бесплодные поиски, он все отчетливее понимал, какая пустота образовалась вокруг него с того момента, как он оставил Джейн, оставил так легко, не придавая этому значения. Поспешность, с которой он расстался с отцом, его стремление скорее попасть в Катманду отражали потребность снова ожить, найдя ее, заполнить смыслом жизнь, такую невыносимую, о чем он не имел представления, пока не встал на ведущий к ней путь, каким бы долгим он ни оказался.

Но в конце пути он не нашел никого.

Отныне окружающий мир перестал существовать для него, и внутри не осталось ничего, кроме пустоты. Сидя на каменной ступеньке, обхватив руками голову, находясь на грани полной утраты физических сил и надежды, он был воплощением страдания, не имея возможности удовлетворить потребность, более насущную, чем смертельная жажда или смертельный голод. Отсутствие Джейн было для него страшной травмой. Казалось, что огромная рука с острыми ногтями вырвала его внутренности, оставив только пустую оболочку. Такая же пустота возникла и в окружающем его мире; дома, города, люди и животные, все вокруг превратилось для него в бесцветные и беззвучные тени.

То, что он не смог найти ее, казалось ему жестокостью, в которую невозможно было поверить; она казалась настолько абсурдной, что он зажмурился и протянул перед собой руку, уверенный, что сейчас его пальцы коснутся ее, что она засмеется от счастья и бросится к нему в объятья, и он обнимет ее так крепко, что она вскрикнет от боли и радости…

Открыв глаза, он увидел трех совершенно обнаженных детей, сидевших напротив него на другой стороне улицы среди нагромождений глиняных мисок и горшков. Они смотрели на него серьезно и дружелюбно. Оливье медленно сжал протянутую руку в кулак и опустил ее. Дети засмеялись и замахали руками. Они кричали «bye-bye!» и «hello!». Благодаря американским туристам на них распространилась западная цивилизация.

Оливье вскочил на ноги и набрал полную грудь воздуха. Ему нельзя было отчаиваться. Она должна была находиться в Катманду или где-нибудь

в ближайших его окрестностях. Он обязательно найдет ее! Но если не найдет? Никогда? Неужели его жизнь остановится из-за какой-то девчонки? Что в ней такого, чего нет у других девушек? Неужели он начинает сходить с ума? Если она не хочет встретиться с ним, то к чертям ее! Почему она не пошла с ним, когда он попросил ее? Это понятно, ведь она спала с этим типом! А со сколькими она переспала до этого? Нет, в Катманду и в других местах достаточно девушек не хуже, а может быть, и лучше нее.

Он двинулся большими шагами по улице, уверенный в себе, легкий и бодрый. Но прежде чем он дошел до конца улицы, он понял, что другие девушки ничего не значат для него, будь они хоть в тысячу раз прекраснее Джейн, и что Вселенная без нее становится мрачным и бессмысленным местом, ничего для него не значащим. Она могла спать с этим типом и с сотнями других, это имело значения не больше, чем пыль под ногами. Единственное, что имело значение, — это то, что они были созданы друг для друга, что с начала начал мир был задуман только для того, чтобы они оказались вместе среди окружающей их бесконечности. И их разлука была столь же противоестественна и чудовищна, как черное солнце.

Он замедлил шаги, не представляя, куда идти. Со всех сторон его окружала пустота, и о его собственном существовании напоминала только угнездившаяся в нем боль. В конце концов он снова оказался за тем же столом, что и накануне, перед тем же блюдом с рисом. Здесь он повстречал Густава, когда-то работавшего подмастерьем в пекарне, но оставившего квашню, чтобы уйти с компанией хиппи, потому что ему казалось более приятным болтаться без дела, чем выпекать булки с утра до вечера. Это был маленький тощий человечек лет тридцати, с копной длинных черных волос и маленькими живыми глазками, похожими на сливы, с усами и бородкой в стиле д'Артаньяна. Не интересуясь гашишем, он все время играл на небольшой флейте. Густав быстро сообразил, что вызывает смех у крестьян на рынке, исполняя им «Радости любви», хотя не представлял, почему эта меланхоличная мелодия заставляет их хвататься за животы от смеха. Поиграв некоторое время, он останавливался и протягивал руку. Ему доставалось несколько луковиц, пара редисок, пучок салата, апельсин. В гостиницу он всегда приходил с полной сумкой.

Он знал, где обретается Джейн, и рассказал Оливье, где ее можно увидеть.

Старинный дворец, принадлежавший принцу, отправленному в ссылку новой властью, состоял из четырех больших расположенных квадратом блоков, внутри которых располагался просторный сад с множеством храмов и статуй. Король отдал этот дворец беженцам из Тибета, страны, в которую вторглись китайцы. Их семьи и целые кланы заселили помещения первого этажа, а помещения на втором этаже они сдавали «путешественникам», на условиях полного самообслуживания.

Вечерами все живущие в дворце хиппи, а также их гости из Катманду и все странники, оказавшиеся в городе, собирались в саду, где располагались небольшими группами вокруг костров. Они курили, пели, мечтали, засыпали возле огня, занимались любовью или отправляли естественные надобности в тенистых уголках сада, у подножья какой-нибудь статуи или возле гигантского дерева.

Вокруг небольших костров и масляных светильников здесь собралось не меньше тысячи юношей и девушек. Звучали гитары; кое-кто пытался петь. Больше всего здешняя обстановка напоминала сборище цыган, приехавших на праздник в Сент-Мари-де-ла-Мер, но не было присущего этому празднику веселья.

Над толпой молодежи висела пелена усталости и дряхлости, приглушавшая свет, звуки и все проявления жизни. Отвратительный запах гаши-

ша застоялся между стенами дворца, словно запах мочи в общественном туалете.

Кто-то выкрикнул имя:

— Джейн! Джейн!

Это был не окрик, а призыв к возрождению, подобный тому, который обратил к Лазарю Иисус, но и он сам возродился в этот момент.

Девушка, услышав свое имя, выпрямилась, раскрыла огромные фиолетовые глаза, и лицо ее осветилось. Сейчас ее лицо сияло, подобно солнцу.

Оливье подбежал к девушке, вынырнув из темноты, и упал перед ней на колени. Они восторженно смотрели друг на друга. Протянув навстречу друг другу руки, они медленно сплели их и, закрыв глаза, молча прижались щекой к щеке.

— Ты одна? А где твои друзья?

— Какие друзья?

— Ну, Гарольд, Свен…

— Ах, да… Гарольд уехал… С одной американкой…

— С Лорен?

— Разве ты знаешь ее?

— Ты что? Конечно!

Как она могла забыть? Несмотря на радость, с которой она его встретила, он чувствовал беспокойство из-за ее отсутствующего вида. В наступившей темноте он бережно прикасался к ней, ощущая хрупкие кости под изгибами ее тонкого тела.

— Ты так похудела… У тебя нет денег? Наверно, ты ничего не ешь…

— Нет, ем, конечно…

— А где Свен?

— Он скоро вернется, он в госпитале.

— Он заболел?

— Нет… Он пошел сдавать кровь.

— Сейчас? Ночью?

— Там всегда есть дежурные… Они расплачиваются долларами…

Оливье знал, что сдача крови была последним источником денег для хиппи. Когда они продавали все, что имели с собой, им не оставалось ничего другого, как продавать свою кровь. Больницы всех стран, в которых они оказывались, всегда с удовольствием брали у них кровь и хорошо за нее платили. Девушки же обычно занимались проституцией. Сложился определенный тариф — три рупии. Полтора франка. За эти деньги можно было купить немного риса и немного гашиша. В Катманду даже самые некрасивые находили клиентов — обычно непальских или индийских торговцев. У местных крестьян никогда не было денег.

Жак предупредил Оливье:

— Осторожней с этими девицами. Наркотики, сифилис, туберкулез… Они все кончают в Пашупакинате, на погребальном костре…

Он обхватил Джейн и прижал к себе. Он хотел укрыть ее со всех сторон сразу, чтобы она оказалась в безопасности. Он с болью ощущал ее хрупкость, невесомость. Девушка дрожала, и ему показалось, что она нездорова.

— Я сниму номер в гостинице. А завтра позову доктора. Раз здесь есть больница, то должны быть и врачи.

Но Джейн не захотела идти в гостиницу. Она должна дождаться Свена. У них здесь, на втором этаже, есть комната. Он может устроиться вместе с ними…

Она дрожала все сильнее и сильнее. Идти куда-либо в таком состоянии было невозможно.

Из темноты возник похожий на тень Свен. Он ничуть не удивился, увидев Оливье, и приветствовал его дружелюбной улыбкой. Оливье почти не видел его, но слышал спокойный голос, в котором звучали уверенные нотки, звучали тепло и одновременно рассеянно, резко контрастируя с состоянием Джейн. Свен сел рядом с девушкой и передал ей два небольших бумажных пакетика, совсем плоских, почти пустых, показавшихся Оливье в темноте белыми пятнышками. Один пакетик она тут же сунула в карман джинсов, а второй раскрыла и, поднеся к ноздрям, вдохнула часть его содержимого.

Свен непрерывно кашлял. Он положил на колени гитару и принялся наигрывать жизнерадостную мелодию, то и дело прерывавшуюся остановками. Он уже употребил свою дозу и находился в состоянии эйфории, когда во времени и в сознании то и дело возникают разрывы.

Когда Оливье понял, что за порошок был у Джейн, у него все внутри похолодело. Прошло так мало времени, но она уже зашла так далеко… Он должен увезти ее из этой страны, вырвать из этой грязи, и сделать это быстрее, как можно быстрее …

Джейн уже не дрожала. Она перестала ожидать. Она засмеялась, прижалась к Оливье и запела ему по-английски про вновь обретенное счастье, про счастье увидеть его. Потом эту же песенку она повторила ему по-французски. Без него она была так несчастна, ей было так же необходимо встретиться с ним, как дышать и пить, но его не было рядом, она думала, что уже никогда больше не увидит его…

Но он вернулся! Он был рядом! Это было замечательно! Теперь она покажет ему на небе все звезды, поющие для них, ведь Бог — это любовь, Бог был в ней и в нем, они никогда больше не расстанутся, они всегда будут счастливы. Она смеялась, пела, болтала, она терлась о него, словно кошка, она схватила обеими руками его лицо и начала целовать везде, смеясь при этом, что у него такая колючая борода. Она сказала, что ни с кем не спала с того момента, как он расстался с ней, а все то, что было раньше, не имеет никакого значения. У нее была только одна ночь, единственная ночь, ночь, проведенная с ним в золотистом свете Будды, ночь, огромная, как вся ее жизнь, ночь с ним.

Она схватила его руку, повернула ладонью кверху и стала целовать ее, потом спрятала ее себе под блузку и прижала к груди. У Оливье сжалось сердце. В его ладони спряталась маленькая грудь, по-прежнему горячая, но ставшая еще миниатюрней. Нежный сосок напомнил ему раненого голубя, которого он укрыл когда-то у себя на груди, но так и не смог спасти.

— Джейн, моя Джейн, я люблю тебя…

Эту фразу он произнес очень тихо, стремясь окружить ее словами, защитить от внешнего мира. Потом он помог ей встать и повлек через ночь и дым прочь от этого кошмара. Но когда они оказались перед воротами, Джейн отказалась идти дальше и потянула его за собой. Они поднялись по лестнице, заваленной мусором, слабо освещенной жалкой лампочкой, висевшей на проводе. Лестница вывела их на квадратную террасу, ограниченную снаружи деревянной балюстрадой, изображавшей тысячи фигур божеств и всех земных животных. На балюстраде длинной шеренгой сидели грифы-падальщики, одни спали, спрятав голову под крыло, другие бодрствовали, вытянув голые шеи. Несколько птиц, увидев Оливье с Джейн, распахнули тяжелые крылья, но сразу же успокоились. Оливье вздрогнул от отвращения. Джейн, легкая как пушинка, смеясь, тянула его за руку за собой. Они оказались в длинном коридоре, обшитом деревянными панелями, большей частью отставшими от стен. В коридор выходило множество дверей, в простенках между которыми висели портреты принцев в причудливой парадной форме. Алые штаны зуавов, блестящие

каски и сабли кирасиров, гроздья медалей, свисавшие едва ли не до колен, позолоченные шнуры, раздувшиеся рукава… Выражение лиц на портретах, казалось, менялось в колеблющемся свете масляных ламп, спрятанных в стенных нишах.

Выходившие в коридор комнаты были самых разных размеров. В просторных салонах для торжественных приемов размещались сотни хиппи, спавших на коврах или прямо на полу. Тяжелый дух пота, грязи, мочи и гашиша выплескивался из распахнутых дверей. Джейн продолжала тянуть Оливье за собой, щебеча, словно жизнерадостная птичка, языка которой он не понимал. Дойдя до поворота коридора под прямым углом, она толкнула одну из дверей и ввела его в комнатушку, вероятно, служившую в свое время чем-то вроде большого стенного шкафа. На полу лежали четыре циновки. На старом чемодане кто-то примостил огарок свечи, положив рядом коробок спичек. Джейн зажгла свечу, растянулась на циновке, поверх которой лежало синее одеяло, притянула к себе Оливье, поцеловала его и принялась раздевать, не прекращая говорить и смеяться. Потом она сама очень быстро разделась, прижалась к нему, растянулась сверху, потом перевернулась, затащила его на себя, укусила его за ухо, за нос, нырнула ему под руку, смеясь, плача, непрерывно говоря, застонала от счастья, прижалась щекой к его члену, лаская его обеими руками, целуя его, снова взобралась на его тело, впитывая тепло мужчины, единственного, столь желанного, столь долгожданного, заставила его перевернуться, чтобы ощутить его спину, его ступни, его бедра, почувствовать его на своих бедрах, на своем животе, в своих объятьях, везде. Так рыба чувствует потребность осязать всем телом воду вокруг себя и в себе.

Постепенно она успокоилась, словно пресытившись своим счастьем, повернулась к Оливье спиной и прижалась к его груди. Он обхватил ее, прижал к себе и стал говорить очень тихо, без конца повторяя одни и те же слова: ты прекрасна, я люблю тебя, я увезу тебя отсюда, мы будем счастливы вместе, все будет хорошо, мы дойдем до конца света, до самого солнца, где будут цветы и птицы, ты прекрасней всех цветов, ты прекрасней, чем небо, я люблю тебя, люблю тебя…

Она заснула в его объятьях, убаюканная его теплом, его любовью, переполненная счастьем и восторгом.

Оливье не мог уснуть. К испытанному им счастью примешивался ужас. Как увезти Джейн из этой страны зыбучих песков, где в дурмане и в смерти увязло столько девушек и юношей со всех уголков света, привлеченных призраком свободы, миражем братства всех живых существ, близостью Бога? Да, действительно, в Катманду каждый мог делать то, что хочет. Это было правдой. Никто не вмешивался в дела другого. Это было правдой. Наши сестры птицы даже не возмущались, если кто-нибудь наступал им на хвост, потому что за последние десять тысяч лет никто не убил ни одной птицы. Это тоже было правдой. Бог присутствовал везде в десяти тысячах обликов. И это было правдой.

Это было правдой для мужчин, женщин и детей, родившихся в этой стране. Но не было правдой для детей Запада с длинными волосами и бородами. Они были детьми рассудка. И рассудок навсегда избавил их от простого понимания очевидного, будь оно неодушевленным или живым, человеческим или божественным; ведь эти противоположности по своей сути совершенно одинаковы, и с ними все ясно и понятно, начиная с травинки под ногами и кончая бесконечностью. Сразу после рождения у ребенка Запада на глазах оказывается повязка рассудка, оказывается еще до того, как они откроются. Они теряют способность видеть очевидное, они не умеют прочитать послание облаков и услышать голос дерева, они общаются на грубом языке людей, находящихся в замкнутом пространстве

объяснений и доказательств. У них не остается другого выбора, кроме как между отрицанием того, что не может быть доказано, и слепой абсурдной верой в неопределенные истины.

Великая книга сущего, равновесие Вселенной, чудо их собственного тела, лепестки маргаритки, вкус яблока, золотистая шерстка зверька, вселенные в каждой песчинке существуют для человека Запада всего лишь как явления материального порядка, которые могут быть подвергнуты анализу. Они ведут себя подобно экспертам, оказавшихся перед раскрытой книгой и старающихся проанализировать состав краски и качество бумаги, но не пытающихся прочитать текст и даже отрицающих, что черные значки на страницах имеют какой-то смысл.

При этом существовала разница между юношами и девушками, пришедшими с Запада в Катманду, и их отцами: дети все же отдавали себе отчет в том, что способ мышления и рассудочность их отцов заставляли их жить и умирать вопреки законам разума и логики. Они отрицали эту абсурдность и вытекающие из нее следствия, смутно догадываясь, что может существовать другой способ жить и умирать, соответствующий законам творения. Они отчаянно искали дверь, через которую смогли бы выбраться за пределы окружающих их стен. Но стены существовали в них самих с момента их рождения. Поэтому они с помощью наркотиков создавали для себя иллюзию открытых дверей, в которые входили в наркотическом сне, не замечая, как при этом разрушают свои души и свои тела.

Оливье задумался, где раздобыть денег, чтобы как можно скорее увезти отсюда Джейн… Он сразу подумал про Теда, компаньона отца. Во время их разговора Жак в конце концов признал, что Тед вел подпольную торговлю статуями, украденными из храмов. Он продавал их туристам, обеспечивая доставку своего товара в Европу или в Америку. Как он это проделывал, Жак не знал. Оливье решил найти Теда и предложить ему свои услуги. Может быть, таким образом он сможет быстро заработать достаточно денег. А до этого он будет заботиться о Джейн, больше не позволит ей отравлять себя. Но где они будут жить? Отец предлагал ему ключи от небольшой квартирки, находившейся неподалеку от Храмовой площади. Он жил в ней во время своих кратковременных наездов в Катманду. Оливье тогда отказался, как ребенок, стремящийся сохранить независимость, а теперь жалел об этом, став мужчиной, отвечающим за близкого человека. Но, возможно, ему удастся снять в городе подходящее жилье. Пока же первоочередной задачей была встреча с Тедом. Он знал, где его можно найти. Во время поисков Джейн он не однажды проходил мимо заведения под вывеской «Тед и Жак», расположенной на первом этаже современного трехэтажного здания на границе между европейским кварталом и старой частью города. Завтра же утром он должен будет отправиться на встречу с Тедом.

В коридоре кто-то зашелся в кашле. Джейн проснулась. Спросонок она не сразу поняла, что с ней, но тут же почувствовала себя в объятьях Оливье и вспомнила, что они наконец-то встретились. Одним рывком она повернулась лицом к нему, вцепилась обеими руками во вновь обретенное тело и изо всех сил прижалась к нему.

— Ты со мной! Ты со мной! — захлебываясь, твердила она.

Это было чудо, на которое она уже не надеялась. Он был рядом, он обнимал ее, она покоилась в его объятьях, она ощущала своим телом все его тело, от ступней до щеки, к которой прижималась своей щекой, он был с ней, он, которого она так ждала, ждала целую вечность, был рядом.

— Почему ты позволил мне заснуть? Почему?

Она потянула его на себя и раскрылась ему навстречу. Раскинув руки и открыв рот для поцелуя, она встретила его каждой клеточкой своего тела.

Когда он вытянулся на ней, его тело всей поверхностью приникло к ее телу, его губы прижались к ее губам, их руки соединились, их пальцы сплелись. Он ощущал, что придавил ее, такую хрупкую, но так стремящуюся оказаться под его тяжестью. Он заставил себя избавиться от веса, освободил ее от своей тяжести, не теряя полной близости с ее телом, которое питал своим теплом, своей жизненной силой, и медленно вошел в нее со всей мощью и всей бесконечной нежностью, понемногу, едва заметно, такой нужный, такой желанный, то чуть более близкий, то чуть более далекий, пока, наконец, целиком не оказался в ней.

Когда это случилось, он почувствовал, как вся его нежная и жестокая сила столкнулась с тайной печатью, за которой хранились все ее страхи, все отрицания, все отказы и все иллюзорные удовольствия. И когда печать распалась, все, что отрицалось, воззвало к ней, все, чего она опасалась, покорилось, и воспоминания о том, что она могла принимать за наслаждение, были сметены, чтобы освободить место для великой истины, которая должна была открыться для нее. И в самом центре своего существа она ощутила присутствие Оливье, заполняющее ее до самых дальних пределов тела и сознания.

Он едва ощутимо двигался в ее теле, то раскрывающемся, то вновь затворяющемся, и эти движения начали растворять ее плоть и ее кости, доводя ее до состояния, не имеющего названия, но свойственного первым дням творения, когда еще не было ни форм, ни существ, когда рождался непредставимо ослепительный свет над водами, которые хотя и были всего лишь водой, но уже содержали в себе все, что должно было возникнуть, и обладали знанием этого.

Оливье вошел в ее живую обнаженную плоть, как будто в стене перед ним раскрылась расселина, и теперь, оказавшись в ее средоточии, он оставался там, и вне его разрастались и множились до бесконечности его мысли и его любовь.

Он ощущал ее, искал, угадывал, предупреждал и снова искал еще дальше, более нежно, более твердо, более уверенно, глубже и дальше, еще дальше, искал горячие источники, безграничные океаны радости.

Она ничего не понимала, она утратила свою форму, свое тело, свое присутствие. Она была чистой радостью, непознаваемой, неуязвимой, непрерывной, в которой рождались начала мира и откуда она безгранично распространялась в виде волн, набегавших одна за другой, все возрастая и возрастая до тех пор, пока не возникло нечто столь огромное, что нужно было воззвать к Богу, потому что было превзойдено все, что может ощутить человеческое существо, бессильная память которого еще помнит, чем оно было, потому что ни мозг, ни сердце, ни слова не могут выразить этого.

И потом был прилив покоя в ее вновь почувствовавшем себя теле, переполненном счастьем, жар которого настигал ее на облаке, где она очутилась. Было ли это счастье? Или сон? А может быть, смерть в раю? Она слабо улыбалась с закрытыми глазами. У нее едва хватило сил произнести «Оливье… Это ты…», и она окунулась в сон. Оливье осторожно поцеловал ее закрытые глаза, отодвинулся от нее, лег на спину и натянул на них одеяло.

Ночью вернулся Свен и разбудил их. Он старался двигаться как можно бесшумнее, но едва лег, как начал кашлять. Он попытался зажать рот рукой, чтобы приглушить кашель, но тот продолжал вырываться из легких вместе с мокротой, которую Свен сплевывал в клочок бумаги. Едва утихнув, кашель каждый раз возобновлялся. Разбуженный Оливье почувствовал, что Джейн тоже не спит. Он тихонько прошептал ей на ухо:

— Он давно так кашляет?

Джейн молча кивнула в ответ.

— Ему нужно лечиться. Он должен лечь в больницу.

Она нервно дернула головой, словно Оливье предложил нечто неприемлемое. Тогда он вспомнил о пакетиках из белой бумаги. Присутствие Джейн и испытанное счастье полностью стерли из его сознания их подозрительный вид.

Значит так. Утром он отправится к Теду. Но Джейн должна напрячь волю. Теперь, когда он рядом, она должна освободиться от этой привычки. Он больше не оставит ее, он поможет ей.

Свен, наконец, перестал кашлять и, кажется, заснул. Оливье негромко спросил:

— Этот порошок в пакетиках, что это такое? Это кокаин?

Он почувствовал, что Джейн затаила дыхание. Через несколько мгновений она ответила:

— Так, ерунда… Не надо беспокоиться…

— Ты же понимаешь, что отравляешь себя! Если ты не бросишь, он может убить тебя!

— Ты сошел с ума, ведь я только чуть-чуть, совсем немного… Просто за компанию со Свеном… Это неважно…

— Ты должна оставить это… Ведь теперь я с тобой… Ты больше не будешь, обещаешь?

Она быстро-быстро закивала головой: «да, да, да»…

— Поклянись мне! Скажи: «Я клянусь!»

— Что за глупости, это ведь такой пустяк…

— Поклянись!

Некоторое время она лежала неподвижно и молчала. Он со всей нежностью повторил:

— Ну, давай же! Поклянись!

Повернувшись к нему, она поцеловала его и сказала:

— Я клянусь! Ты доволен?

Он ответил:

— Я люблю тебя…

Слабый свет зари едва проникал через круглое оконце, закрытое ставнем с тысячей мелких кружевных отверстий. Оливье встал, не разбудив Джейн, натянул джинсы, бережно укутал ее одеялом и опустился перед ней на колени. Несмотря на сон, вместо наступившего после любви покоя у нее начала проявляться нервная тревожность, выражавшаяся во внезапных подергиваниях уголков губ и правой руки, выглядывавшей из-под одеяла.

Ему придется оставить ее одну, пока он сходит к Теду. Он не хотел рисковать, а поэтому поднял ее джинсы и достал из кармана два белых пакетика — один начатый, другой целый. Потом он вышел босиком в сад.

В ветвях деревьев распевали тысячи птиц. На фоне еще темного неба вершины гигантской горы казались светящимися тучами, отделенными от остального мира.

Оливье набрал полные легкие воздуха. Он чувствовал себя спокойным, уверенным в себе и счастливым. Для него и для Джейн закончилась плохая часть пути, пройденная ими по отдельности, и теперь они вместе двинутся дальше по другой дороге, возможно, более трудной, но светлой, подобно наступавшему дню.

Он отдал утреннему ветру содержимое двух пакетиков, смял их в руке и выбросил в кусты. Потом подошел к фонтану, пение которого услышал еще накануне.

Джейн проснулась, сотрясаемая крупной дрожью. Несколько мгновений ушло у нее на то, чтобы осознать окружающий мир и вспомнить себя. Ее знобило; она села, завернувшись в одеяло, и поискала взглядом Оливье. Его не оказалось рядом, но она увидела его рубашку, его куртку и рюк-

зак. Она не забеспокоилась, зная, что он должен вернуться. Тем более что в этот момент она была озабочена совсем другим.

Ухватив джинсы за штанину, она подтянула их к себе, сунула руку сначала в один карман, потом в другой. Сердце запрыгало у нее в груди, словно перепуганный заяц. Она вскочила, одеяло соскользнуло с нее. Вывернув карманы джинсов, выбросила на пол все, что там находилось — грязный носовой платок, губную помаду, пустую дешевую пудреницу, треснувшее зеркальце и несколько непальских монет, три медных и две алюминиевых. Когда карманы опустели, она снова проверила их, один за другим, несколько раз подряд. Ничего там не найдя, охваченная паникой, отшвырнула джинсы, упала на четвереньки и принялась проверять все, что выбросила из карманов. Открыла пудреницу, встряхнула платок, который уже осматривала перед тем как бросить на пол, потом потрясла одеяло. Ползая на четвереньках, совершенно голая, она осмотрела каждый сантиметр пола, дрожа от холода и стуча зубами от ужаса.

Такой увидел ее Оливье, когда вернулся в комнату. Больше всего она напоминала истощенное животное, пытающееся отыскать что-нибудь съедобное, без чего оно погибнет в ближайшую же минуту. Она уже не сознавала, что видит перед собой, к чему прикасается. С выступающими ребрами, маленькими чуть отвисшими жалкими грудями, негромко стеная, она ощупывала пол, словно слепая, переворачивала коврики, снова и снова искала там, где только что проверила, крутилась на одном месте. Повернувшись к дверям, она увидела перед собой босые ноги Оливье.

Вскочила, подброшенная неизвестно откуда взявшейся энергией, выпрямившись, словно сильно сжатая пружина. Она догадалась.

— Это ты взял!

Оливье негромко произнес «да».

Она протянула к нему руку, ладонью кверху, со скрюченными, словно сведенными судорогой пальцами.

— Отдай! Отдай! **Отдай!**

Он спокойно ответил:

— Я выбросил это.

Прозвучавшая фраза была для нее ударом тарана в грудь. Но она не могла поверить в то, что сказанное было правдой.

— Иди скорее, подбери, пока никто не нашел! Скорей, скорей!

— Я вытряхнул содержимое… Никто больше не возьмет это…

Она медленно попятилась и остановилась, ударившись спиной о стену. Казалось, будто какая-то чудовищная сила безжалостно давит на нее, толкает назад. Она прислонилась к стене, оперлась на нее отведенными назад руками. Над ее головой кружевные ставни пропустили в комнату лучи встающего солнца.

— Почему ты сделал это? Почему? Ну, почему?

Увидев ее такой растерянной, Оливье шагнул к ней, вытянув вперед руки, чтобы обнять, укрыть и согреть это жалкое, дрожащее тело.

— Потому что я не хотел, чтобы ты отравляла себя. Ведь ты поклялась…

Подойдя вплотную, он положил руки ей на плечи, почувствовав кожу такую холодную, словно прикоснулся к мертвой рептилии. Она высвободилась и с криком вцепилась ему в грудь, процарапав всеми пальцами десять кровавых полос.

— Не прикасайся ко мне!.. Убирайся прочь!.. Идиот!.. Ты хотел!.. Ты хотел!.. Что ты придумал?.. Ты хотел!.. Я, по-твоему, ничто?.. Нет, я свободна! Я делаю то, что хочу! Ты обокрал меня! Обокрал! Ты чудовище! Ты отвратителен! Убирайся отсюда!

Оливье не двигался. Разбуженный криками, Свен встал, кашляя, с циновки. Он негромко сказал Оливье:

— Будет лучше, если ты уйдешь… Прямо сейчас…

Оливье собрал свои вещи. Джейн, по-прежнему прижимавшаяся к стене, следила за ним, не поворачивая головы. Только ее большие фиолетовые глаза с расширившимися зрачками неотступно следовали за ним, словно два отверстия в мир мрака. У нее стучали зубы.

Оливье надел рубашку и куртку, потом обулся, подобрал рюкзак и повернулся к выходу. Он ни разу не взглянул на Джейн. Когда он подошел к дверям, она крикнула:

— Постой!

Он повернулся и вопросительно посмотрел на нее.

— Теперь я должна купить новую дозу. Но у меня нет денег!

Она продолжала низким хриплым голосом, сначала негромко, потом все повышая и повышая голос до крика:

— Ты спал со мной! Здесь это не бесплатно!

И она снова протянула к нему руку ладонью кверху, с растопыренными, похожими на звериные когти, пальцами.

Оливье сунул руку в карман куртки и извлек оттуда все, что там было. Потом он швырнул деньги на циновку, повернулся и вышел.

Джейн с рыданиями рухнула на валявшиеся на полу бумажки, на разбросанные ею мелочи из карманов джинсов, на скомканное одеяло. Ее ноздри заполнил запах их ночи, который тут же перебил тошнотворный запах пота и грязи, оставшийся от всех, кто до них лежал на этой вонючей подстилке, волшебно измененной силой их любви. Она не чувствовала холода; сейчас для нее не существовало ничего, кроме ощущения утраты, отчаяния, катастрофы. Все было потеряно, все погибло, и потребность в наркотике вгрызалась ей во внутренности, словно стая голодных крыс.

— Сын мистера Жака?.. Как интересно… Но, по правде говоря, вы мало похожи на него!.. Я рада, что у него такой красивый сын… Hello? Mister Ted? Mister Jack's son is here. Yes!.. His son!.. Yes, he says… He is asking for you… Well! Well![1]

Блондинка-секретарша агентства «Ted and Jack» опустила трубку. С пышными формами, улыбающаяся, оптимистичная, стерильно чистая, как англичанка, розовая, как голландка, она сидела за письменным столом, заваленным грудами буклетов для туристов, под висевшей на стене огромной головой тигра. Она встала, чтобы открыть дверь, за которой в конце коридора начиналась лестница.

— Поднимитесь на третий этаж. Мистер Тед ждет вас в своем кабинете.

Вдоль всего коридора стена была увешана охотничьими трофеями. У начала лестницы висела голова буйвола с огромными рогами, над которой, как бы подчеркивая их связь, висела страшная сабля, которой животному отрубили голову.

— Сожалею, — произнес Тед, — но я не представляю, как я могу помочь вам…

Полный мужчина с розовой кожей и светлыми волосами, похожий на хорошо откормленного поросенка. Он попросил у Оливье паспорт, чтобы убедиться, что он именно тот, за кого выдает себя и, присев на край роскошного письменного стола, который, должно быть, тоже пересек горные хребты на спине шерпов, продолжал небрежно перелистывать документ после его внимательного изучения.

Потом он положил паспорт на стол, взял в руки небольшую бронзовую статуэтку, изображавшую очаровательную богиню, и стал машинально ласкать ее, обхватывая то одной, то другой ладонью.

[1] Алло? Мистер Тед? Здесь сын мистера Жака. Да! Его сын! Да, он говорит… спрашивает вас... Хорошо! Хорошо!

— Эта девушка, которая вас интересует… К несчастью, здесь постоянно встречаются подобные ситуации… Когда эти девушки и юноши приезжают сюда, они думают, что попали в рай… Но это настоящий тупик. Отсюда им дальше дороги нет… Гималаи… Китай… И что потом? Все не так-то легко!.. Очень немногие возвращаются… Остальные гниют здесь…

— Поэтому я и должен увезти ее отсюда! Как можно скорее! Прежде чем она окончательно погубит себя!

— Увезите, увезите ее, мой малыш!.. Увезите ее!.. Если только она захочет!.. Не сомневаюсь, что наркотик для нее важнее, чем вы… Вы напрасно выбросили порошок… Таким образом их не лечат… Отсутствие наркотика вызывает шок неудовлетворенности, невыносимые страдания. И причиной этих страданий оказались вы… После очередной дозы она все забудет и снова захочет вас видеть, но, чтобы вылечить, нужно настоящее лечение, а это возможно только в серьезной больнице. Здесь такой нет. В Дели, может быть… Еще лучше в Европе… У вас есть деньги, чтобы увезти ее?

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет денег! Поэтому я и пришел просить вас…

— Вы бредите, мой малыш, ваша история со статуэтками — это же детективный роман! Наше агентство именно то, что оно есть, обычное агентство туризма и сафари, оно прекрасно существует на деньги простофиль, стремящихся к сильным ощущениям, чтобы потом рассказывать своим друзьям в Техасе, как они поднимались на вершины Гималаев, как нашли шерсть йети и убили четырнадцать тигров… Конечно, шерсть йети — это волосы из хвоста яков, на Гималаи они смотрели снизу из долины, а тигров для них застрелил ваш отец… Кстати, он великолепный стрелок… Во всем остальном это ребенок… Если бы он повзрослел, он мог бы стать таким же богатым, как я… Но ему никогда не суждено выйти за пределы двенадцатилетнего возраста… Поверьте мне, вы должны оставить эту малышку… Она давно стала пропащим существом… Вы ничего не сможете изменить… У вас есть обратный билет?

— Нет.

— Ах, вот как!.. Послушайте, я могу поговорить с послом… Может быть, он сможет отправить вас домой… Иногда они это делают… Он мой друг…

Оливье все время повторял про себя то, что ему сказали Ивонн и Жак:

— Это негодяй… Это негодяй… Это негодяй…

Кровь бурлила в его венах, но внешне он оставался таким же холодным, как вершины Гималаев.

— Я никуда не поеду без нее. Неважно, что будет со мной. Я хочу спасти ее. Я знаю, что вы продаете статуи. Я могу работать на вас и достать вам все, что вы захотите. Я проникну туда, куда никто не осмелится сунуть нос. Но вам придется платить мне как следует. Я не боюсь никого и ничего. Мне нужны деньги, и как можно скорее… Если вы позволите мне заработать их, то сами заработаете в десять раз больше!..

Тед резко поставил статуэтку на стол, взял паспорт и протянул его Оливье.

— Мне надоело слушать ваши выдумки! И я не люблю, когда обо мне рассказывают глупости, из-за которых меня могут выслать из этой страны. Меня ждет крах, если хоть одно полицейское ухо услышит такое! Так что советую вам помалкивать! Если вы не послушаетесь, то я добьюсь, чтобы вас самого немедленно выслали из страны!.. А когда вернется ваш отец, я ему тоже скажу пару теплых слов!

В этих словах отчетливо прозвучала зловещая угроза.

Оливье взял паспорт. Его взгляд оставался прикованным к статуэтке богини на столе. Она была из темной бронзы с зеленоватым оттенком, золотистого цвета на лбу, на носу, на ягодицах и на бедрах, то есть там, где прикосновения Теда за много дней стерли патину.

Тед заметил, куда смотрит Оливье, и рассмеялся.

— Вот, кстати! Обратите внимание, откуда она!

Он взял статую и, перевернув ее, показал Оливье основание. Тот увидел приклеенную снизу несколько пожелтевшую этикетку, на которой были видны напечатанные четким шрифтом слова: SOUTHEBY[1] LONDON.

Оливье вернулся к тибетцам. В комнате Джейн никого не было, но ее рюкзак и мешок Свена лежали на месте. Он немного побродил по почти пустынному саду. Несколько хиппи дремали там, где их свалил с ног наркотик. Одна брюнетка, невероятно грязная, лежавшая под кустом, приподнялась при его приближении и что-то сказала на языке, которого он не знал. Тогда она раздвинула ноги и, положив одну руку на лоно, подняла другую с тремя выпрямленными пальцами.

— Three rupees… Drei roupies… Trois roupies… You Frenchman? Me… Ich been… Gentille… Trois roupies…

Он прошел, не ответив. Его сердце стиснули стальные тиски.

Усевшись под деревом, он раскрыл рюкзак. Подошедшая корова сунула в рюкзак морду, но там не было ничего съедобного. Тогда она выбрала носовой платок и стала жевать его. Потом медленно удалилась, продолжая ритмично двигать нижней челюстью.

Добравшись до самого дна, Оливье извлек свой неприкосновенный запас, конверт, в котором лежала бумажка в десять долларов, пять тысяч старых франков. Сколько это было рупий? Он не представлял. Обратившись в банк, он получил в обмен несколько грязных бумажек и пригоршню мелочи. Ему пришлось также подписать несколько непонятных документов и предъявить паспорт. Таким образом, банк мог считать свою прибыль законной.

Потом он отправился в торговый квартал. Солнце припекало, и покупателей было немного. Мальчишки носились на велосипедах, ловко петляя между коровами, собаками и богами. Катманду познакомился с колесом всего лет пятнадцать назад, и детвора была без ума от этого изобретения. Велосипеды продавали и давали напрокат на каждом углу. Старики не верили, что можно сохранять равновесие, сидя на двухколесном устройстве, но ошалевшие от восторга мальчишки носились на них с бешеной скоростью, внезапно тормозили так, что их заносило, снова принимались крутить педали, опять останавливались, поднимали велосипед на дыбы и выполняли разные акробатические трюки, хохоча от восторга. Счастливые обладатели собственных велосипедов, обычно дети богатых лавочников, раскрашивали свои машины яркими красками, нацепляли на руль десятки фигурок божков, прикрепляли пестрые ленты, развевавшиеся позади, словно длинные хвосты радости.

Оливье заходил в каждую лавку, где его всенепременно награждали улыбками, получил множество предложений купить что-нибудь и в конце концов приобрел за гроши нужные ему предметы. Потом он вернулся на площадь и поднялся на самую верхнюю ступеньку главного храма. Здесь он обосновался на ночлег, поужинав десятком сладких бананов размером в палец.

На следующий день он снова появился в конторе Теда ранним утром. Сначала тот отказался принять его, но Оливье заявил секретарше, что не уйдет, пока босс не примет его. В итоге ему было дозволено подняться в кабинет на третьем этаже.

К нему вышел Тед в халате, злой, невыспавшийся и небритый, готовый спустить с лестницы назойливого мальчишку.

---

[1] Сотби — всемирно известная художественная галерея в Лондоне, специализирующаяся на продаже редких и очень дорогих произведений искусства.

Но слова тут же застряли у него в горле, когда он увидел, что поставил на его письменный стол Оливье. Он задохнулся и застыл с открытым ртом.

Это были две статуэтки, точнее, две группы, искусно вырезанные из дерева. Первая изображала обнаженную, со сброшенными под ноги одеяниями, женщину, стоявшую на согнутых ногах перед двумя мужчинами, каждый из которых держался за одну из ее грудей. Женщина же держала в каждой руке фаллосы мужчин. Один из них был розовощекий, у другого лицо имело желтоватый оттенок, но они походили друг на друга застывшим на их лицах спокойным отстраненным выражением и совершенно одинаковыми усами. Из одежды на мужчинах были только небольшие вышитые шапочки.

Напротив, лицо женщины отражало крайнюю степень растерянности. Ее лоно, открытое навстречу мужчинам, явно томилось в ожидании. Но она продолжала сравнивать мужские достоинства своих воздыхателей, затрудняясь с выбором, поскольку оба кандидата были достойны друг друга.

Вторая группа представляла собой решение для растерянной красавицы. Выпрямившись и отбросив в сторону мешавшую ей одежду, она принимала одновременно обоих претендентов, одного спереди, другого сзади. Чтобы не потерять равновесия, все трое держали друг друга за плечи, и тот, кто находился спереди, стараясь, несомненно, сделать двойную операцию более удобной, держал одну ногу женщины поднятой горизонтально, так что она была вынуждена стоять на другой ноге, напоминая цаплю. К счастью, у нее были еще две опоры, каждая немногим тоньше ее бедра. Лица действующих лиц не отражали ни сладострастия, ни вообще каких-либо эмоций. Стоявший сзади положил одну руку на грудь женщины, но сделал это, скорее всего, только потому, что ему больше не за что было ухватиться. Ни один из мужчин не лишился своей вышитой шапочки.

На головы участников как второй, так и первой группы опиралась огромная босая ступня бога, которого Оливье был вынужден отпилить, как и людей, на которых опирались сами группы.

Лицо Теда стало фиолетовым. Он взорвался:

— Вы свихнулись! Вы сошли с ума! Эти скульптуры всем известны! Полиция сейчас наверняка уже ищет их повсюду! Вы безумец! Забирайте это и убирайтесь! Немедленно! Давайте, давайте! Прочь отсюда! Я не хочу, чтобы это оставалось у меня ни секундой больше!

Оливье не произнес ни слова. Он смотрел на Теда, который, казалось, действительно был перепуган до смерти, и думал, что Жак и Ивонн все же могли и ошибаться.

Что ж, он проиграл. Тем хуже для него. Подойдя к столу, он положил возле статуэток рюкзак и запихнул в него одну группу. Другую завернул в рубашку, взял ее под мышку и направился к двери.

Тед в это время судорожно вытирал лоб большим светло-зеленым платком. В тот момент, когда Оливье взялся за дверную ручку, он крикнул:

— Сколько вы хотите за эту дрянь?

Он снова промокнул лоб и высморкался. Оливье молчал. Он не представлял, сколько могут стоить эти статуэтки.

— Их невозможно продать! — прохрипел Тед. — Я должен буду прятать их много лет! И все равно риск будет огромным! Вы отдаете себе отчет в этом? Это похоже на то, как если бы вы украли Эйфелеву башню!.. Ну, сколько?

Оливье ничего не ответил.

Тед замолчал. Желание обладать статуэтками, страх и перспектива феноменальной выгоды сражались в его сознании. Он потерял способность трезво мыслить.

— Господи, да закройте же дверь! Заприте ее! Поверните ключ! Покажите мне еще раз, что вы там притащили…

Он выхватил из рук Оливье сверток и извлек вторую статуэтку из рюкзака. Поставив обе группы на стол рядом, он хрипло рассмеялся.

— Они забавны! Нужно признать это… Да, очень забавны… Хотите виски?

— Спасибо, нет, — ответил Оливье.

Тед открыл спрятанный в стене холодильник, достал бутылку, стакан и лед, налил себе и выпил.

— Садитесь же! Не торчите столбом!

Оливье опустился на краешек кресла. Тед рухнул на диван, стоявший под потайным холодильником в стене. Придя в себя, снова отхлебнул из стакана, посмотрел на стоявшие на столе статуэтки и окончательно воспрянул духом.

— Надо признать, вас трусом не назовешь! Но вы просто сумасшедший! Просто сумасшедший! Никогда, слышите, никогда не вздумайте повторить этот поступок! Так отчаянно провернуть дело… Я хочу сказать… Если мы будем работать вместе… Почему бы и нет?.. Если вы будете поступать разумно… Вы умный человек… Ну, вы понимаете меня… Даже одна из этих групп выглядит любопытно, забавная сценка… Но две группы вместе — это что-то потрясающее!

Он замолчал, сообразив, что сболтнул лишнее. Искоса глянув на Оливье, он скорчил гримасу.

— Но продать это невозможно, невозможно! Даже если я найду клиента, как вывезти эти вещи из страны? Вы можете сказать мне, как вывезти из Франции Венеру Милосскую? Да, я не смогу продать это… Мне придется оставить себе… Для моей личной коллекции… Но какой риск! Вы отдаете себе отчет в этом? Случайный обыск — и я пропал! Двадцать лет тюрьмы! А непальские тюрьмы — это что-то страшное. Там дохнут даже крысы… Но я не хочу, чтобы вы рисковали напрасно. Героизм, даже неосознанный, заслуживает награды… Я вам заплачу… За обе группы… Скажем… Я буду щедрым, потому что эти две группы выглядят забавно, мне нравятся такие вещи… И потом, вы мне симпатичны, вы способны на поступок, на чувство, вы влюблены, все это так волнующе… Двадцать долларов… За обе статуэтки! Согласны?

Оливье закрыл глаза и увидел Джейн, ползающую голой на четвереньках, потерянную, безумную, словно самка, сожравшая своих детенышей… Он открыл холодные глаза и сказал:

— Тысяча долларов!

Когда через полчаса он уходил от Теда, у него в кармане лежали четыреста долларов, а в руках он держал узкопленочную кинокамеру на 16 миллиметров и четкие инструкции.

Тед долго поучал его. Ему нужно обосноваться в гостинице у Бориса, которому он расскажет, что занимается съемками фильма о непальских праздниках. Борис даст ему мотоцикл, с помощью которого можно попасть куда угодно. Он будет посещать храмы и монастыри, расположенные далеко в горах. И никогда не будет пытаться работать в Катманду! Никогда! Забравшись как можно дальше, в самые глухие места, он сможет днем смешаться с праздничными толпами — ведь праздники в Непале бывают везде и всегда. Заметив что-нибудь интересное, он вернется в храм ночью, когда там никого не будет. Естественно, не в ближайшую же ночь, а через несколько дней. Нельзя забывать про камеру, ее нужно постоянно демонстрировать. Его всегда должны видеть с камерой! Кретин-кинооператор с Запада, который приходит в телячий восторг перед сценами повседневной жизни, чудак, вызывающий улыбку у полицейских…

Он никогда не должен появляться в агентстве днем. Никогда! Только ночью! Вот ключ от дверей, выходящих на боковую улочку. Мотоцикл нужно

оставлять за несколько улиц, до конторы добираться пешком. Дверь можно отпирать только если никого не будет поблизости. Заперев за собой дверь, он поднимается на третий этаж, в кабинет, где он может прилечь на диван и подремать, пока не придет Тед. Насчет цены они всегда договорятся, все будет зависеть от того, насколько редкий у него товар. Ну, и от спроса, разумеется… Сейчас ситуация не слишком благоприятная, американцы неохотно расстаются с долларами, а среди немцев любители попадаются не слишком часто… Тем не менее он сможет быстро собрать нужную сумму, чтобы увезти малышку и вылечить ее. Бедная девочка… А она красивая? Какая жалость! Самые красивые обычно и делают самые большие глупости…

Оливье отправился в гостиницу Бориса. Там он устроился в просторном номере с ванной, в которой разместилась бы целая парижская квартира.

Борис предложил ему выпить в своих апартаментах, куда можно было попасть по наружной винтовой лестнице из кованого железа. Из окон открывался великолепный вид на спускающиеся вниз уступами крыши. Леопардовый кот, устроившийся на диване, с подозрением следил за Оливье своими близко расположенными глазами с круглыми зрачками. Оливье рассказал Борису легенду о съемках фильма. Борис, кажется, поверил ему, хотя и мог только сделать вид, что поверил. Он пообещал завтра же дать Оливье мотоцикл вместе с информацией о ближайших праздниках в деревнях, куда он без труда сможет добраться на своем транспорте.

Потом Борис извинился, объяснив, что у него срочное дело.

Оливье отправился к тибетцам за Джейн. Он хотел привести ее в гостиницу, чтобы завтра же показать доктору. Он не собирался больше делать глупостей; нельзя было сразу отбирать у нее наркотики. Как только у него окажется достаточно денег, они уедут. Если она захочет, он захватит с собой и Свена.

Но комната Джейн была занята четырьмя американскими хиппи, тремя парнями и девушкой, которая говорила по-французски. Они не были знакомы с Джейн и Свеном. И они не знали, куда те могли уйти. Они вообще ничего не знали.

Оливье отсутствовал гораздо дольше, чем ему хотелось. Даже самые небольшие, самые удаленные, самые заброшенные храмы, к которым приходилось добираться по едва заметным тропам, почти никогда не пустовали не только днем, но и ночью. Непал был не той страной, где Бога запирают на ключ после окончания рабочего дня. В любой момент кто-нибудь обязательно оказывался в храме, чтобы общаться с божеством, молиться ему, выказывать свое обожание. Беседа между богами и людьми не прерывалась ни солнечным днем, ни ночью при свете масляных ламп. Оливье буквально сходил с ума от нетерпения и беспокойства, когда думал о Джейн. Ему никак не удавалось заработать ни гроша, а она тем временем, конечно же, продолжала опускаться на дно, по-прежнему отравляя себя и подходя к опасной степени истощения.

Наконец ему удалось остаться в одиночестве ночью в небольшом храме, в котором он днем приметил бронзовую статуэтку богини с распростертыми во все стороны шестью руками, с чарующей улыбкой и восхитительной грудью. Статуэтка была небольшой, и ее можно было без особых усилий отделить от основания и спрятать в рюкзак.

Храм находился высоко на склоне горы, снизу к нему вела лестница, казавшаяся бесконечной. Оливье спрятал мотоцикл в долине. Луна ярко освещала пустынную лестницу и внутренности храма. Он достал из рюкзака молоток и зубило и принялся за работу. Чтобы избежать лишнего шума, он обмотал молоток тряпками.

Очень быстро он обнаружил, что под слоем хрупкого цемента скрывались толстые бронзовые стержни, укрепленные в отверстиях, просвер-

ленных в скалистом основании. Это была основательная работа древнего мастера, добившегося при строительстве храма монолитного единства божества и храма.

Ругаясь сквозь зубы и проклиная всех богов вселенной, Оливье достал из рюкзака ножовку по металлу, хорошенько смазал ее и через узкую щель между каменным основанием и статуэткой принялся пилить первый стержень.

Но едва он сделал несколько движений, как до него донеслись звуки музыки. Какую-то поп-мелодию исполнял нестройный оркестр флейт и гитар. Взглянув вниз, он увидел поднимавшуюся к храму группу хиппи, освещавших себе дорогу самодельными факелами, бумажными и электрическими фонариками.

При виде этих придурков, этих мерзавцев, притащившихся сюда словно только для того, чтобы он не смог спасти Джейн, Оливье охватило холодное бешенство. Он кинулся им навстречу и налетел на поднимавшихся первыми, раздавая направо и налево удары тяжелым рюкзаком. Одних он отшвырнул в сторону, других сбил с ног и повалил на находившихся ниже. Он орал, наносил удары кулаками и ногами, сбрасывая не ожидавших такой встречи хиппи вниз по лестнице вместе с их дурацкими фонариками и гитарами, вбивая им в глотку флейты вместе с зубами. Несмотря на то, что их было не менее трех десятков, хиппи посыпались вниз по лестнице, не помышляя о сопротивлении. При желании Оливье мог перебить их всех, одного за другим, словно стадо баранов. После того, как все незваные гости оказались у подножья лестницы, вытирая разбитые носы, потирая синяки и ссадины и хромая, они, даже не пытаясь понять произошедшее, двинулись дальше, к другому священному месту, другому храму, другому более доброжелательному божеству. Некоторое время Оливье смотрел, как удаляются, постепенно слабея, светлячки уцелевших после схватки фонариков. Потом он возобновил работу.

С последним, четвертым стержнем ему удалось справиться перед самым рассветом. Спрятав обмотанную тряпками богиню в рюкзак, он спустился к мотоциклу. Он долго катил его вниз по склону, по едва различимой тропе, не заводя двигателя и не включая фары, напряженно всматриваясь в темноту и чудом избегая в последнее мгновение опасных провалов и свалившихся сверху каменных глыб. Только добравшись до автомобильной дороги, он завел мотоцикл и помчался в Катманду.

До города он добрался только во второй половине дня. Было слишком поздно — или слишком рано — для встречи с Тедом, и он отправился в гостиницу Бориса. Приняв ванну гигантских размеров, в которой вполне мог выкупаться взрослый слон, он поменял белье, побрился и отправился на поиски Джейн. Не решаясь оставить статуэтку в номере, он захватил с собой рюкзак с драгоценной добычей. Обслуживавший его бой, непалец лет сорока, имя которого он никак не мог запомнить, постоянно улыбающийся и предельно услужливый, постоянно дежуривший на своем посту за дверью номера в ожидании какого-нибудь поручения, был, несомненно, человеком честным, но наверняка не лишенным любопытства.

В отеле тибетцев в комнате Джейн и Свена он никого не застал. Исчезли и валявшиеся на полу рюкзаки. Он заглянул в соседние комнаты, где на полу сидели или спали грязные хиппи, но не смог узнать ничего путного ни от них, ни от тех, кого он повстречал в саду. Тогда он направился в ресторанчик, где видел марсельца. Того на месте не оказалось, но блондинка с высоким шиньоном была на своем посту. Хотя нет, на этот раз она переместилась на скамью прямо напротив входа. Уставившись ничего не выражающим взглядом на двери, она не шевелилась и, похоже, не видела входящих. Сильно отощавшая, она держалась не так прямо, как раньше;

большая прядь волос свисала с шиньона, закрывая часть лица. Ее щеки, еще недавно такие розовые, побледнели, лежавшие на столе руки были грязными, со сломанными черными ногтями.

Два бородача, сидевшие поблизости за шахматной доской, то и дело поглядывали на девушку. На протяжении часа, в течение которого Оливье находился в ресторане, они явно что-то оживленно обсуждали, и никто из двоих так и не передвинул ни одной фигуры. Наконец, хозяин ресторана, запомнивший Оливье по прошлому посещению, подошел к нему и жестом указал на группу хиппи, сидевших в стороне, не проявляя признаков нетерпения, и, похоже, даже не сознававших, что они ждут, когда появится кто-нибудь, способный заплатить за блюдо риса.

Хозяин спросил:

— Rice… Riz… You pay?

— Чтоб они сдохли! — с отвращением бросил Оливье.

Забросив рюкзак за спину, Оливье вышел на улицу. Лямка сильно резала плечо, богиня была весьма увесистой. Ей, наверное, было не меньше тысячи лет, если не больше. Он собирался потребовать за нее хорошую цену.

Опустилась ночь, улицы обезлюдели; изредка попадались куда-то спешившие непальцы и неизвестно куда тащившиеся группами по двое или трое хиппи. Гораздо чаще в темноте мелькали желтые псы, сновавшие по городу в поисках съестного. Повсюду можно было увидеть лежавших где попало коров.

Оливье подошел к конторе «Тед и Жак» с задней стороны. В переулке не было ни души; ни одно из выходивших на мостовую окон не светилось, если не считать окно на втором этаже в конторе Теда.

Оглядевшись еще раз, Оливье достал из кармана ключ. Замок щелкнул и открылся без малейшего сопротивления. В прихожей со стены напротив дверей на посетителя тупо смотрела огромная голова буйвола. Осторожно захлопнув за собой дверь, Оливье поднялся на третий этаж. Ступеньки громко скрипели под его ногами. Тед должен был понять, что он пришел.

Действительно, едва он успел водрузить свою добычу на письменный стол, как появился Тед и сразу же накинулся на него с упреками за появление в столь ранний час. Это крайне неосторожно с его стороны; если он и дальше будет вести себя таким образом, Тед будет вынужден разорвать с ним контракт. Он замолчал на полуслове, как только заметил бронзовую богиню. Подойдя к столу, он взял статуэтку, прикинул ее вес и внимательно осмотрел обрубки торчавших снизу стержней. Затем он потребовал от Оливье подробного рассказа и внимательно выслушал все, что тот мог сообщить ему. Когда Оливье высказал свои соображения о вероятной большой древности статуэтки, Тед скорчил презрительную мину. Он заявил, что храм был наверняка построен всего лет пятьдесят тому назад, что статуэтка была выполнена в широко распространенном стиле и в ней хорошо просматривалось влияние одновременно индийской и китайской культур. В общем, это было весьма обычное изображение сравнительно позднего происхождения, за которое он мог заплатить не более десяти долларов.

Оливье, воспитанный в западных традициях, не мог догадаться, что Тед вел себя в соответствии с правилами торговли на востоке, когда обе стороны обязательно торгуются при любой сделке, начиная с самой низкой цены. Он решил, что и на этот раз Тед ведет себя так же нечестно, как в первом случае. Он воскликнул:

— Да вы просто нечестный человек! Или вы платите мне двести долларов, или я тут же выбрасываю эту вещь в окно!

Выхватив богиню из рук Теда, он направился к единственному в комнате окну, занавешенному тяжелой портьерой с вышитыми изображениями животных.

Тед с невероятной живостью кинулся за ним и остановил, обхватив руками за талию.

— Вы ненормальны, мой друг! Нужно же хоть немного поторговаться, прежде чем выходить из себя! Вы говорите, двести долларов?

— Да, именно так.

— Это сумасшедшая сумма… Но вы сын Жака, а деньги вам нужны, чтобы спасти эту малышку… Ладно, я согласен.

Он подошел к сейфу, так же замаскированному в стене, как холодильник, и открыл его, прикрыв телом так, чтобы Оливье не мог увидеть содержимое. Когда он обернулся, у него в руке оказалась тонкая пачка банкнот и сейф был уже закрыт. Он едва сдерживал ликование. С самого начала он решил торговаться до цены в триста долларов, зная, что выручит за статуэтку не меньше тысячи.

— Как себя чувствует это дитя? Ваша история разбивает мне сердце…

— Я не знаю, где сейчас Джейн и ее спутник, — мрачно ответил Оливье. — Их нет у тибетцев, и никто не может сказать мне что-либо осмысленное. Они все там одурманены! Они не заметят даже Эверест, если он свалится им на голову!

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, — ворковал Тед, деликатно подталкивая Оливье к дверям. — Ваши друзья наверняка решили посетить какое-нибудь интересное место. Они все одинаковы и всегда болтаются вокруг Катманду, стараясь доказать самим себе, что еще способны двигаться к какой-нибудь цели, что еще не докатились до самого дна… В любом случае, если она ушла из города, то это говорит о том, что ей не так уж нужен наркотик. Ведь порошок можно раздобыть только в Катманду. Так что ее отсутствие — это хороший признак!

— Вы так думаете? — дрогнувшим голосом спросил Оливье, у которого слова Теда возродили надежду.

— Конечно! Это же логично!

Оливье уже хотел сунуть деньги в карман, но что-то остановило его, и он принялся пересчитывать их. Потом он с удивлением взглянул на Теда. Его спокойное жульничество потрясло юношу.

— Но… Здесь же только сто пятьдесят долларов! Мы ведь договорились о двухстах!

Тед улыбнулся и похлопал его по плечу.

— Я удержал пятьдесят долларов за камеру… Так что теперь она принадлежит вам… Когда вы решите уехать, я выкуплю ее у вас за те же деньги… Если, конечно, вы не продадите ее в два раза дороже! Такому опытному дельцу, как вы, это не составит труда.

Оливье немного разбирался в камерах. У некоторых из его друзей были неплохие киноаппараты. Поэтому он хорошо понимал, что Тед всучил ему музейную реликвию, наверняка выпущенную задолго до потопа. Разболтанную, разрегулированную, способную засветить пленку через множество щелей. Она не рвала и не засвечивала пленку только потому, что ее совсем не было в камере.

Сначала он хотел поругаться с Тедом из-за пятидесяти долларов, но быстро передумал. Он был вымотан до предела, он хотел спать, и потом, должен был как можно скорее снова отправиться на охоту. Ведь ему потребовалось целых две недели, чтобы заработать всего сто пятьдесят долларов. С расходами на бензин, номер в гостинице и аренду мотоцикла у него ничего не оставалось. Он решил, что впредь будет действовать более рискованно, а торгуясь с Тедом, будет стоять насмерть, чтобы получать как можно больше. Он должен зарабатывать в неделю чистыми не меньше пятисот долларов на протяжении месяца. Потом он распрощается с Катманду и с Тедом. Но прежде всего он должен разыскать Джейн.

В тот момент, когда Оливье подошел к двери, та распахнулась, и в комнату вошла Ивонн. Она с удивлением воскликнула:

— Вот так встреча! Что вы здесь делаете, Оливье?

— Я…

— Он зашел ко мне посоветоваться, — быстро вмешался Тед. — Это очень милый юноша, и у него случилась сентиментальная история с одной девушкой-хиппи. Я пытаюсь помочь им… Идите же, Оливье, постарайтесь поскорее найти ее… Идите… Вы можете воспользоваться черным ходом. Парадный вход уже закрыт. Не забудьте захлопнуть за собой дверь.

Оливье не сдвинулся с места. Он не сводил взгляд с Ивонн, одетой по-походному. Было очевидно, что она только что вернулась из очередной экспедиции.

— Мой отец тоже вернулся? — поинтересовался он.

Внезапно он почувствовал себя ребенком, которому нужна помощь взрослого, сильного мужчины, который все на свете знает и все может… Ведь это его отец, он всегда найдет выход…

— Нет, — пожала плечами Ивонн, — я вернулась одна, самолетом. Жак появится не раньше чем на следующей неделе со всем караваном, после того как рассчитается с туристами… Но вы обязательно должны завтра же заглянуть ко мне! Слышите? Обязательно!

— Он придет, обязательно придет, — вмешался Тед. — А теперь… Нашего героя ждут…

Он подтолкнул Оливье к выходу, лучезарно улыбаясь.

— Так вы зайдете ко мне завтра? Это точно? — с беспокойством переспросила Ивонн.

— Зайду, непременно зайду, — ответил Оливье.

Апартаменты Теда и Ивонн на втором этаже состояли всего из двух комнат: небольшой спальни с кроватью, застеленной великолепным вышитым покрывалом из Кашмира, и выходившей на лестничную площадку просторной гостиной, с креслами, диваном, баром, неизбежными рогатыми трофеями на стенах и шкурой тигра на полу. Придвинутый к стене стол был завален ружьями и прочим снаряжением, привезенным Ивонн из экспедиции. На полу возле стола стояло несколько чемоданов.

Ивонн и следовавший за ней Тед вошли в гостиную.

— Надеюсь, ты не втянул этого мальчика в свои грязные махинации? — холодно поинтересовалась Ивонн.

— Какие махинации? У меня и в мыслях не было ничего такого… Неужели ты можешь представить это невинное дитя замешанным в чем-нибудь подобном? Ведь он даже глупее своего отца!

— Я познакомил его с одним типом из Эн-Би-Си, пару недель назад заглянувшим в Катманду. Он заказал парню съемки религиозных непальских праздников. Это выгодное дельце. Американское телевидение не жалеет денег на такие фильмы, но… Что это ты делаешь?

Ивонн сняла с дивана сатиновое покрывало и принялась расстилать на нем простыни.

— Как видишь, я устраиваю постель для себя.

— Но… Как… Постель для себя?..

— Теперь моя постель — это не твоя постель… Хватит! Я бросаю тебя! Я ухожу от тебя!

Тед побледнел.

— Ты уходишь с Жаком?

— Да, с ним! Мы уезжаем в Европу… Как только он вернется из экспедиции, мы улетаем отсюда…

На столике рядом с Тедом стояла большая ваза со свежими цветами. Он выхватил цветы из вазы, скрутил букет в жгут своими толстыми руками, поросшими белесыми волосками, разорвал его на части и швырнул на пол.

— Идиотка! Я ведь знал, что ты спишь с ним!.. Я решил не мешать вам… Ну и что ты выиграешь, если уедешь отсюда?

Ивонн перестала разглаживать простыню и повернулась к Теду.

— Я хочу жить честно! С честным человеком! Ты способен понять это?

На лице у Теда мелькнуло удивление, тут же сменившееся иронической усмешкой.

— Жить!.. Интересно, на что ты собираешься жить?

— Мне перешли по наследству земли моих родителей… Я буду получать доход… У меня есть деньги в банке… Потом, я могу продать свои драгоценности…

— Какие деньги? Какие драгоценности? Все это принадлежит мне! За твои побрякушки заплатил я, и они лежат в моем сейфе… Твой счет в банке открыт на мое имя! У тебя есть только доверенность, которую я аннулирую завтра же утром, как только откроется банк… У тебя ничего нет! Ни одного цента! Нет даже этого!

Он схватил сумочку Ивонн, лежавшую рядом с ружьями, раскрыл ее и вывалил содержимое на стол. Подобрав несколько выпавших из нее банкнот и два золотых кольца, он сунул все это в карман.

— Вот видишь, у тебя ничего нет!.. И у твоего Жака нет ничего!.. Что касается меня, то если ты похож на свинью, но женишься на красивой девушке, которая тебе нравится, то приходится терпеть и на многое закрывать глаза. Я знаю, что был противен тебе, начиная с того дня, когда я подобрал тебя в Калькутте, где ты выступала вместе со своей труппой. Ты играла отвратительно, но ты была такой красавицей! Ваша жалкая труппа тогда пыталась собрать деньги, чтобы было на что вернуться во Францию… Надо же придумать такое: играть Мольера в Калькутте перед умирающими от голода! Вы не могли заработать даже себе на обед! Я тогда пригласил тебя в ресторан со свечами, с шампанским, подарил ожерелье, машину, платья… Потом попросил твоей руки… Это показалось тебе таким волшебством, что ты согласилась. Но когда мы занялись любовью… Нет, будем точными: о любви не могло быть и речи, по крайней мере, с твоей стороны… Я просто овладел тобой, и ты не сопротивлялась, но не могла скрыть выражение на своем лице, лице прекрасной парижанки. Ты закрыла глаза, чтобы я не смог прочитать в них отвращение… Этот толстяк с огромным брюхом на такой изящной женщине… Ты думала обо мне, как о мерзком борове… Хуже того, швейцарском борове! Должен признать, ты не пыталась жульничать, изображая наслаждение. Ты удержалась от тошноты, и каждый раз, когда я хотел тебя, ты не отказывала мне. Ты не ссылалась на усталость или на головную боль, как это делает большинство опытных супружниц. Ты честно расплачивалась, отдаваясь мне… Все правильно. Когда я взял этого кретина Жака в компаньоны, я прекрасно представлял, что я делаю. Ты должна была иметь компенсацию в его лице. Тебе нужно было получать хоть немного удовольствия… Я считаю, что это нормально… Но я все же рассчитывал, что у тебя есть хотя бы минимум рассудительности… Неужели ты думаешь, что этот тип способен на нечто большее, чем только трахать женщин и палить из ружья?.. Как этот замечательный стрелок будет обеспечивать тебе достойную жизнь? Может быть, охотой на соловьев?

Тед вырвал из рук Ивонн простыню, сдернул вторую с дивана.

— Я буду спать в своем кабинете… Твоя спальня пока еще остается твоей спальней… Ты у себя дома… Ты пока еще не уехала отсюда…

Обогнув стоявшее на пути к дверям красное кресло, он обернулся к Ивонн, сидевшей на краешке дивана и смотревшей на него с выражени-

ем ужаса и беспомощности. Он облокотился на спинку кресла. Брошенные им белоснежные простыни свесились на красный бархат.

— Кстати, что это неожиданно нашло на нашего великого охотника? Ему здесь было не так уж плохо, его устраивало существующее положение… Определенные способности позволяли ему очаровывать принцев и миллиардеров; к тому же, у него была женщина, ничего ему не стоившая… И вдруг он бросает все это, чтобы заняться навозом на твоей земле?

Ивонн встала, сдержанная, напряженная и презрительная.

— Ты никогда не поймешь этого… Повстречавшись со своим сыном и увидев, каким он предстал в его глазах, он почувствовал стыд… Он собирается начать жизнь с нуля. Он хочет наконец-то стать мужчиной.

Тед расхохотался.

— Боже мой!.. Стать мужчиной!.. Послушай! Я буду играть с вами в честную игру. Я дам вам денег на самолет… На два билета. Туда и обратно! У вас будет время, целый год! Но я гарантирую, что он вернется через три месяца! И ты тоже это знаешь… Здесь он был заметной личностью! Там он станет нулем! Этого он тебе не простит! Он возненавидит тебя! Он бросит тебя и примчится назад! Он будет умолять меня снова взять его!.. И ты прибежишь вслед за ним, как последняя дурочка…

Он сгреб простыни, чтобы уйти, но снова остановился, улыбаясь.

— В конце концов, несмотря на инфантильность, он неплохо выполнял свои обязанности… Он всегда ухитрялся вести жизнь, которая его устраивала… И при этом сам ничего не тратил на свои удовольствия… На это у него всегда хватало чужих денег… Когда ты ему скажешь, что у тебя, вопреки его надеждам, нет ни одной рупии, у него пропадет всякое желание уезжать отсюда… Готов поспорить с тобой на первую брачную ночь… Согласна на такое пари?

Ивонн ничего не ответила. Он вежливо пожелал ей спокойной ночи и вышел.

Медленно подойдя к зеркалу, висевшему над столом, на котором лежало снаряжение, она посмотрела на себя, и в ее взгляде не было жалости. Климат Непала разрушал ее так же, как разрушали кошмар супружеских обязанностей и борьба в ее сердце между любовью к Жаку и жалостью к нему. Зеркало показало, как пожелтела ее кожа, как впали щеки, как прорезались морщинки в углах рта, как поблекли глаза, обвисли груди, стала дряблой плоть. Она ощутила на себе отвратительный груз тела Теда, почувствовала звериный запах, когда он обливался потом, лежа на ней, услышала смех и разглагольствования Жака, увидела, как он расхаживает павлином перед ней, всем довольный, ни о чем не задумывающийся, безразличный, даже не ревнующий… Она знала, что Жак никуда не поедет. Тед был прав. И она будет продолжать гнить здесь, между этим боровом и этим эгоистом, а когда станет негодной для любовных утех Теда, он вышвырнет ее, оставит где-нибудь в Калькутте, и Жак ничего не сделает, приняв случившееся спокойно, хотя и проявит к ней сочувствие.

Она выдвинула ящик стола и достала коробочку с транквилизатором. Рекомендованная доза была две таблетки. Она проглотила шесть.

На следующее утро Оливье очень рано покинул гостиницу Бориса. На выходе консьерж протянул ему письмо, валявшееся у него на стойке, как он сказал, уже несколько дней. Оливье спросил с возмущением, почему его не передали накануне, когда он вернулся. Дежурный небрежно извинился, не скрывая безразличия. Он был индусом.

Оливье распечатал письмо. Несколько слов на листке грязной бумаги:

«Ты дурак. Джейн любит тебя. Поторопись. Свен».

Несколько слов, написанных неуверенной дрожащей рукой дряхлого старика. Строка изгибалась, сползала вниз и обрывалась на краю листа. Набросок цветка под подписью остался незавершенным.

Консьерж, явно недоброжелательный, не смог или не захотел сказать, сколько времени письмо пролежало у него. Сходя с ума от тревоги, Оливье бросился в пристанище тибетцев, но никого там не встретил. Ничего он не смог узнать и от хиппи, попадавшихся ему на улицах. Вскоре он дошел до площади храмов, непрерывно повторяя одни и те же имена:

— Джейн?.. Свен?.. Джейн?.. Свен?..

В ответ он получал все те же отсутствующие взгляды, то же невнятное бормотание, те же неопределенные жесты.

Внезапно он подумал, что ему может что-нибудь посоветовать Ивонн, и торопливо зашагал к конторе Теда. На краю площади его остановили высокие фальшивые звуки флейты, наигрывавшей мелодию «Наслаждения любви». Это был марселец! Он забыл его настоящее имя, но это было не важно. Обогнув бегом очередной храм, он наткнулся на группу смеющихся крестьян. Увидев его, Гюстав прекратил дуть в свой инструмент.

Свен умер. Сегодня его тело сожгут в Пашупакинате. Джейн, скорее всего, будет там… Да, конечно, она будет там…

Это рассказал ему флейтист. Оливье вскочил на мотоцикл и помчался в Пашупакинат, непрерывно твердя про себя: «Джейн должна быть там… Джейн наверняка там…»

Он мчался на бешеной скорости, не видя перед собой дороги. Спасали его только привычные рефлексы опытного мотоциклиста. Нарушая все существующие правила, он обгонял грузовики и автобусы, резко вилял то влево, то вправо, плохо представляя, где левая, где правая сторона, приводил в ужас многочисленные семейства непальцев, едва успевавших выскочить из-под колес, вспугивал грохотом своего мотоцикла стаи птиц, разлетавшихся далеко в стороны от дороги. Он напоминал торнадо, ревущий над рушащимися домами.

Остановив мотоцикл на гребне над долиной погребальных обрядов, он подошел на подгибающихся ногах к началу идущей вниз лестницы.

Лестница, спускавшаяся в долину священной реки, была достаточно широкой, чтобы по ней могли пройти армия или целый народ. Но сейчас все пространство ступеней между двумя рядами стоявших по ее сторонам каменных слонов с поднятыми кверху хоботами было пустынно. Слоны были в несколько раз больше живых, но самые нижние казались сверху не больше кроликов. У большинства слонов вместо хоботов торчали жалкие обрубки, ступени лестницы потрескались, а многие вовсе отсутствовали. Склоны долины были усеяны храмами, алтарями, стелами и статуями; среди них не было полностью разрушенных, но все они были покалечены временем и стояли наклонившись, готовые упасть через несколько дней или, может быть, веков.

Среди каменного народа, застывшего в своем движении, заметном только в масштабах вечности, суетился многочисленный обезьяний народ, непрерывно верещавший и то и дело перескакивавший, подобно блохам, с плеча бога на голову богини или на слоновье ухо.

Внизу можно было видеть сразу несколько процессий, неторопливо несущих закутанных в ткани мертвецов, над которыми развевались разноцветные хоругви и к небу поднимались пронзительные звуки музыки.

Слева от лестницы, в самом низу, лежал огромный золотой Будда, спавший в овальном бассейне, навечно запертый за семью рядами стен, не имевших дверей или ворот. Увидеть его и поклониться ему можно было только с верхних ступеней лестницы. К нему не приближался ни один

человек с того момента, как тысячу восемьсот лет тому назад вокруг него была возведена первая стена. Бассейн всегда был заполнен прозрачной чистой водой. Руки Будды, сложенные на груди, оставались под водой, и только два сложенных вместе мизинца находившихся над поверхностью, ослепительно сверкали на солнце.

Оливье начал спускаться по лестнице, прыгая со ступеньки на ступеньку, словно мячик. Обезьяны, сидевшие на спинах каменных слонов, скакали и взволнованно кричали, когда он пробегал мимо них. Он увидел сверху разложенные внизу костры. Некоторые уже были зажжены, другие ожидали своего покойника или поднесенного огня. Груды хвороста были разложены на невысоких платформах из грубо обработанного камня; их ряд протянулся вдоль реки, воды которой должны были принять пепел сожженных тел.

Река в это время года превратилась в узкий ручеек, петлявший между берегами по высохшему и растрескавшемуся слою черного ила. Смеющиеся женщины полоскали белье в жалких лужицах, которые им удавалось найти. Цветные рубашки и юбки с пятнами грязи сушились на веревке, натянутой между шпилем небольшой часовни и поднятой рукой какого-то божества.

Примерно на середине лестницы Оливье оказался охваченным волной запаха, едва не остановившего его. Это был запах горелой плоти, смешавшийся с запахом дыма горящих поленьев, на которые стекало все, что выделялось из тел, выпотрошенных огнем.

Решив, что Джейн находится внизу, возле одного из этих жутких костров, он кинулся дальше.

Тело Свена было уложено на обычный костер из небольшого количества поленьев, потому что нужно совсем немного дров, чтобы сжечь человека. В случае естественной кончины, за исключением некоторых специфических заболеваний, последние дни, и в особенности последние часы, перед уходом в мир иной освобождают человека почти от всей влаги, содержащейся в теле. То, что остается, горит не хуже свечи. Вода — это универсальное средство существования живого. Тот, кто должен вскоре умереть, уже не нуждается в воде, ей больше нечего делать в его теле, и она покидает его. Человек высыхает, его тело сжимается, в нем остается только самое существенное. Если он при этом все сознает, то он должен понимать, что то, что уходит из него, и то, что остается, но что он сам должен покинуть, не имеет отношения к нему как разумному созданию, а всего лишь отражает существование материальных тел, непрерывно меняющихся во времени и пространстве. Он не представляет, чем он на самом деле является, но спокойно принимает, что в следующий момент может стать чем-то иным, достигнув, наконец, подлинного покоя после бесконечных и бесполезных мучений.

Если же он боится того, что его ждет, и отказывается от этого, то, возможно, ему придется и дальше сражаться и бояться будущего, как это было на протяжении всей его жизни, которая сейчас подошла к концу. Но чаще всего случается так, что несправедливые страдания калечат его душу, делая невозможным его осознанную встречу со смертью. Бывает и так, что укол сочувствующего врача погружает его в бессознательное состояние, и он совершает переход в другой мир, не воспринимая происходящего.

Что случается потом с этими несчастными? Что происходит с остальными уходящими из жизни? Рассказывают ли об этом десять тысяч богов Катманду тем, кто способен это понять? Могут ли дать им ответ цветы вишен, снова и снова расцветающих каждую весну? Может быть, ответ пишут в небе своим полетом птицы? Увы, у нас есть глаза, но мы не способны видеть. Это единственное, в чем мы можем быть уверены.

Глаза Свена, смотревшие на нашу жизнь, закрылись. Его лицо, обрамленное шевелюрой и светлой бородкой, за которой он всегда так старательно ухаживал, казалось расслабленным и спокойным. Вокруг него было множество цветов; они прикрывали не только его тело, но и поленья костра. На животе у него лежала гитара, а в скрещенных на груди руках он держал зеленую ветку.

Когда Оливье приблизился к погребальному костру, высокий худой юноша, на котором, как на вешалке, висел длинный белый балахон, перехваченный в поясе золотистой лентой, зажигал с четырех сторон последнюю постель Свена с помощью небольшого факела. Десятка два хиппи, девушки и парни, сидевшие вокруг погребального костра, негромко затянули песню на английском языке, слов которой Оливье не понимал. Одна из девушек наигрывала на флейте мелодию, одновременно меланхоличную и жизнерадостную, парень отбивал пальцами ритм на подобии тамбурина. Сигареты с гашишем переходили от одного участника церемонии к другому, каждый раз вырывая один голос из хора и добавляя к нему другой. Женщина, которой было лет пятьдесят, сидевшая в головах у Свена, жадно вдыхала дурманящий дым одновременно через рот и через нос, склонившись над небольшой плошкой. Дым от гашиша смешивался с дымом костра. В этот момент волосы Свена вспыхнули, осветив его лицо. Джейн в компании хиппи не было, Оливье убедился в этом с первого взгляда.

Обернувшись, он увидел ее. Она лежала у подножья трехгранной стелы, на каждой из сторон которой было выгравировано лицо божества; лоб богов был вымазан яркой краской.

Джейн лежала в той же позе, что и девушка, которую Оливье принял за нее на краю пруда со свиньями. Испугавшись, что он может снова ошибиться, он упал перед ней на колени. Отведя пряди волос с лица, он узнал ее.

Девушка едва дышала. Глаза ее были закрыты, волосы спутаны, лицо покрыто грязью. Охваченный жалостью, любовью и усталостью, Оливье едва не поддался отчаянию, почувствовав желание зарыдать и упасть на землю рядом с ней.

Закрыв глаза, он усилием воли подавил слезы и негромко позвал ее. Она не ответила и даже не шевельнулась.

— Она тебя не слышит, она напичкана до отказа, — произнес рядом с ним чей-то голос.

Подняв голову, он увидел мужчину с длинными волосами, одетого в хламиду, наполовину европейского, наполовину восточного покроя. Он курил трубку, от дыма которой, как ни странно, исходил запах табака.

— Напичкана? — тупо повторил Оливье, мозг которого отказывался признать очевидное.

Мужчина опустился на колени рядом с ним. От него пахло потом и французским табаком. Сдвинув рукав блузки Джейн, он обнажил руку, усеянную следами уколов и пятнами засохшей крови.

— Героин, — пробурчал он. — В этой мерзкой стране можно найти все что угодно… Нет, прости меня, я не прав… Страна совсем не мерзкая, она замечательная… Я живу здесь уже десять лет и не собираюсь уезжать отсюда. Мерзость здесь то, что привозят сюда мерзавцы… И эта прогнившая до мозга костей бродячая банда идиотов!

Он кивнул в сторону хиппи, продолжавших распевать, раскачиваясь, вокруг костра Свена, тело которого уже горело ярким пламенем.

— Красивая девушка, — продолжал мужчина. — Меня удивляет, что ее еще не отправили отсюда в какой-нибудь бордель Сингапура или Гонконга. Здесь уже начали создаваться группы поставщиков живого товара. Наверное, ей пришлось сопротивляться, бедной крошке! Хотя еще неизвестно, лучший ли вариант она выбрала…

— Ты думаешь, что с ней так плохо?

— Я ведь не врач… Но, вообще-то, здесь не нужно быть врачом… Да ты и сам все видишь… Если бы ее удалось немедленно отправить в больницу… Но пока она здесь… Слушай, у тебя случайно не будет французских сигарет? Жизнь здесь ничего не стоит, но этот проклятый табак приходится доставлять сюда самолетом, и на нем можно разориться!..

Оливье встал. Он смотрел на бесконечную последовательность ступеней, поднимавшихся, казалось, к самому небу.

— Я увезу ее отсюда… У меня есть мотоцикл… Ты не поможешь мне поднять ее наверх?

— Здесь никто никому не помогает, — пожал плечами мужчина. — Ты думаешь, что делаешь добро, помогая кому-нибудь, а на самом деле делаешь зло… Кто может знать, что есть добро, а что есть зло… Ты хочешь увезти ее; возможно, ты прав, но вдруг окажется, что лучше было оставить ее здесь? Ты ничего не знаешь об этом… Да и я, конечно, тоже…

Он сплюнул на землю и ушел.

Смотревший ему вслед Оливье увидел, как тот остановился и подобрал что-то с земли, то ли окурок, то ли корку хлеба, брошенную воронами или обезьянами. Сунув добычу в карман, он направился к мостику через речку, бродяга, философ и эгоист, стоящий одной ногой в западном мире, а другой в восточном… Стоя перед лежавшей без сознания Джейн, Оливье смотрел на дымящиеся тела мертвецов, на раскачивающихся хиппи, на хромых богов и скачущих обезьян, и все, что он видел, постепенно принимало красный цвет, цвет пламени. Все вокруг него было одним огромным костром, всемирным костром боли и глупости, в котором все сгорало без причины и без цели.

Джейн…

Она была еще жива, он был с ней, и перед ним стояла одна простая задача: постараться спасти ее.

Наклонившись, он с бесконечной осторожностью поднял ее, не представляя, не окажется ли губительным для ее сердца самое слабое движение. Обхватив ее обеими руками и прижав к груди, он начал подъем по бесконечной лестнице между рядами слонов с отбитыми хоботами. Высоко и далеко впереди было небо. Он должен был дойти до него. Она у него на руках, она ничего не весит, он донесет, он спасет ее. И пусть сгорит весь мир…

Джейн, все еще не пришедшая в себя, лежала в постели. Склонившийся над ней врач измерял у нее давление. Взглянув на тонометр, он не поверил своим глазам. Он снова и снова нажимал на грушу, потом сбрасывал давление и начинал все сначала. Несмотря на то, что он был англичанином, после третьего раза он не смог сдержать недоуменной гримасы и обратился к сидевшей рядом Ивонн:

— Почти ноль… По логике вещей, она должна быть мертвой.

Оливье понял из этой фразы только одно слово «dead»: «мертвая».

Он закричал:

— Это неправда! Она не умерла!

— Тише, тише, — остановила его Ивонн. — Он этого не говорил… Он сказал, что спасет ее…

Врач понимал по-французски, и ему было ясно, что Оливье взволнован. Но спасти эту девушку… Ему придется потрудиться… Не высказывая свои сомнения, он выписал рецепт и дал Ивонн соответствующие инструкции.

На настоящий момент больную нельзя было перевозить. Как только она немного окрепнет и будет в состоянии выдержать переезд, ее нужно будет доставить в больницу Нью-Дели, куда он напишет сопроводительное письмо. Пока же он сделает переливание крови, после чего ее следует

покормить, если она будет в состоянии принимать пищу. Бульоны, жидкая каша, как для маленького ребенка. Потом можно будет и многое другое. Что касается героина, то ее нельзя лишать наркотика, это убьет ее.

Врач должен был привезти сыворотку для переливания и лекарство. Это будет началом лечения — раствор героина в ампулах с примесью других веществ. И он принесет также письмо для больницы. Здесь невозможно обеспечить должный уход, а он сам слишком загружен, потому что вынужден все делать сам. Врач быстро собрался и ушел. Это был не такой уж квалифицированный медик, но он знал, что делать в таком случае. Знал он и другое: сейчас нужно было действовать как можно быстрее. И он боялся, не будет ли поздно, когда он вернется с лекарством.

Ивонн пересказала Оливье все, что говорил врач. Она усадила юношу за стол и попыталась накормить его, но тот отказался. Весь в дорожной пыли, он сидел на стуле в ногах у Джейн, не сводя с нее глаз. Ему удалось привезти ее, усадив на заднее сиденье и привязав к своей спине с помощью рубашки.

Ехал он со скоростью улитки, старательно объезжая даже самые небольшие камни и рытвины. Когда Джейн начала соскальзывать с сиденья, он остановился и связал ей руки платком на своей груди. В городе он сразу направился к конторе «Тед и Жак». Ему могла помочь только Ивонн.

Вскоре вернулся врач. Он повесил над постелью большой сосуд, ввел в вену девушки иглу и отрегулировал поступление сыворотки. Джейн пришлось привязать бинтами к кровати, чтобы она, случайно пошевелившись, не вырвала иглу из вены.

В другую руку врач ввел смесь героина с лекарством. Следующую инъекцию должна была делать уже Ивонн. Это была очень тонкая процедура. Нужно было внимательно следить, чтобы в вену не попал даже самый незначительный пузырек воздуха. Он не мог обещать, что сможет приехать для очередного укола, у него не было помощников, а больных трудно было сосчитать…

Он предупредил, что ни в коем случае нельзя поддаваться на просьбы больной, если она потребует еще одного укола. Шприц и ампулы нужно держать в недоступном для нее месте. В ее состоянии трудно сказать, к чему приведет лишняя доза наркотика — она может оказаться смертельной.

— Я очень благодарен вам за то, что вы приняли нас у себя, — сказал Оливье.

Он сидел на диване в конторе Теда со стаканом колы в руке. Тед, улыбающийся, розовый и свежий, как всегда, пил виски.

— Какие пустяки, о чем тут говорить.

— Но ведь вы могли сказать, чтобы я отвез Джейн в больницу… Она там не смогла бы выжить… А сейчас она спасена… Благодаря вам… Я этого никогда не забуду…

Через три дня Джейн стала поправляться. Когда она открыла глаза, она увидела рядом с собой Оливье. В ее венах находилась страшная, но успокаивающая ее смесь героина и лекарства. Ее медленно охватило ощущение счастья. Оливье… Он был рядом. Радость отразилась на ее лице, заставив порозоветь щеки и придав блеск глазам, которые из фиолетовых стали бледно-голубыми. Она улыбнулась одними глазами и прошептала его имя.

Он тоже улыбнулся ей, стиснув зубы и моргая изо всех сил, чтобы не позволить выступить слезам, и погладил ее руку, все еще охваченную ремнями. Наконец-то он мог говорить с ней.

— Все в порядке… Все будет хорошо…

Появившийся с очередным визитом врач был удивлен. Состояние больной оказалось для него радостной неожиданностью. Он сказал, что больная скоро сможет выдержать переезд в Нью-Дели.

«Всемирная литература» в «Немане»

У Джейн появился аппетит, и за двое суток к ней вернулись все краски жизни. Она даже немного набрала вес.

По утрам Ивонн делала ей укол. Оливье весь день не отходил он нее. Хуже всего она переносила вечера, когда Оливье уходил, и она особенно остро ощущала отсутствие наркотика. Ивонн из предосторожности уносила к себе шприц и ампулы. Помучившись некоторое время и понимая, что других возможностей у нее не будет, Джейн засыпала. По мере приближения ночи она то и дело просыпалась; ее страдания и страхи то усиливались, то ослабевали, продолжаясь до утра, когда, наконец, появлялась Ивонн…

— Думаю, через два-три дня я смогу отвезти ее в Дели, — сказал Оливье. — Но у меня нет денег ни на дорогу, ни на лечение… Вы не могли бы одолжить мне тысячу долларов? Я обязательно верну их. Я буду работать на вас, совершенно бесплатно…

— Вы славный юноша, — сказал Тед. — И у вас чудесная девушка… Но тысяча долларов… Вы же понимаете, что это очень большая сумма… А если вы не вернетесь?

Оливье вскочил на ноги.

— За кого вы меня принимаете? Если вы боитесь, я подпишу любые обязательства!

— Какой толк будет от бумажек, если вы исчезнете?

Оливье побледнел. Он со стуком поставил стакан на стол. Но Тед не позволил ему открыть рот.

— Ладно, ладно… Не волнуйтесь, мой дорогой… Я действительно не могу одолжить вам такие большие деньги. Вы должны понять меня! Но я могу помочь вам заработать нужную сумму. Скажите, вам уже приходилось бывать в Свайянбунате?

— Да, я был там…

— А вы знаете, что называют Зубом Будды?

Оливье нахмурился, пытаясь вспомнить, о чем идет речь.

— Ну, хорошо, сейчас я покажу вам…

Тед отставил стакан с виски, подошел к книжной полке, снял с нее книгу большого формата, достал из нее пачку цветных фотографий и разложил их на столе. Это были фотографии деревянной статуи Будды, снятой с разных сторон. На лице Будды бросались в глаза тонкие черные усы и странный тюрбан, венчавший его голову. В пупок божества был вставлен громадный кристалл изумруда прямоугольной формы. Будда сидел в небольшой часовне, над входом которой были поднята решетка из металлических прутьев.

— Да, конечно, я видел его, — кивнул Оливье.

— Прекрасно. О статуе говорят, что это подлинный портрет Будды, вырезанный из дерева при его жизни. Из этого следует, что статуе по меньшей мере две с половиной тысячи лет… Но стоит приглядеться к ней повнимательнее, и вы поймете, что она относится к гораздо более поздней эпохе. В ней явно заметны персидские мотивы. Впрочем, именно это определяет для меня уникальность скульптуры и ее ценность. Но верующие, приезжающие к статуе со всего Востока, воспринимают ее, как если бы это был живой Будда, так как считают ее единственным подлинным изображением Сакья-Муни, и доказательством для них служит это…

Розовый палец Теда прикоснулся к изумруду на фотографии.

— Считается, что это зуб самого Гаутамы, помещенный сюда после его смерти. Можно себе представить, какие у него были зубки…

Он собрал фотографии, положил их в книгу и вернул книгу на полку.

— У меня есть клиент… Он мечтает заполучить этого Будду… Разумеется, это американец… Он приезжает в Непал каждый год и всегда спрашивает, не добыл ли я для него этот зуб. Но я не хочу браться за это дело.

Слишком большой риск. А вы, при желании, можете попытать удачу… За всю статую он предлагает пять тысяч долларов…

У Оливье перехватило дыхание, когда Тед назвал сумму.

Тед добавил, что если бы изумруд был настоящим, он один стоил бы вдвое дороже. Но он выяснил, фотографируя статую с разными фильтрами, что это кусок обычного цветного стекла. Конечно, говорить американцу об этом не стоило, хотя того интересовал не драгоценный камень, а сама редкая скульптура. У него есть настоящий музей, в котором можно увидеть забавные вещички… Тед знал, что именно этот американец увез из Ангкора голову Прокаженного Царя, которую пришлось отпилить от слишком громоздкой статуи. По его словам, у него в коллекции находилась также прядь волос из бороды Христа, отрезанная каким-то римским солдатом. Конечно, это весьма спорное приобретение… Кстати, сейчас этого американца можно увидеть в отеле «Гималаи». Если вас интересует…

— Я согласен! — воскликнул Оливье.

— Я в этом не сомневался. Вы единственный, кто может попытаться успешно провернуть это дело. У вас имеются более серьезные мотивы, чем обычная жадность. И у вас достаточно решительности, ловкости, наблюдательности, вы ничего не боитесь… Американца зовут Батлер… Я предупрежу его… Но на этом мое участие в деле закончится. Я не собираюсь вмешиваться в остальное! Заполучив скульптуру, вы отнесете ее в отель, и после того, как он рассчитается с вами, вы принесете мне половину суммы…

— Что вы сказали?

— Вы ведь не думаете, что получите это дельце на блюдечке только потому, что я хочу доставить вам удовольствие? Но я сделаю так, что вы сможете сэкономить приличные деньги. Дело в том, что американец прилетел сюда на своем самолете. Я попрошу его, чтобы он отвез вас вместе с малышкой в Дели. Заполучив желаемое, он будет стремиться улететь отсюда как можно скорее, чтобы оказаться в безопасности. Если вы принесете ему Будду ночью, утром вы вместе с девушкой уже будете в воздухе. Вместе с вами исчезнут и все следы. Это будет шикарное дельце! И его успех зависит только от вас. А если все закончится неудачей…

— Неудача исключена, — сказал Оливье. — Но меня не устраивает то, как вы предлагаете поделить деньги. Я отдам вам только две тысячи. Мне нужно три…

— Вы становитесь деловым человеком, — улыбнулся Тед. — Пусть будет по-вашему.

На полпути к Великой Горе, на вершине большой горы, окруженной несколькими вершинами пониже, расположен храм Свайянбунат. Формой он похож на женскую грудь, и он настолько огромен, что мог бы накрыть своим куполом целый город. Внутри храма, в самом его центре, в небольшой часовне вот уже двадцать пять веков лежат останки принца Сиддхарты Гаутамы, ставшего Буддой Сакья-Муни, который открыл путь для людей, если они хотят навсегда избавиться от страданий.

Таким образом, Свайянбунат, или Грудь-гора, относится к числу трех вершин, которые уравновешивают вращение нашего мира.

Вторая из этих вершин — это Голгофа, на которой пятью столетиями позже Иисус Христос открыл свой путь, приняв на себя страдания человечества.

Третья вершина еще не поднялась над поверхностью вод Мирового океана. И именно поэтому повсюду на Земле еще царит страдание, необъяснимое и несправедливое.

Храм Свайянбунат возрастом две тысячи пятьсот лет выглядит как только что построенный, потому что с момента создания его непрерывно

подновляют мастера народа, живущего в горных деревушках вокруг храмовой горы. На протяжении двадцати пяти столетий они не занимаются ничем иным, как только починкой всего, что изнашивается, и заменой всего, что не может быть починено. Но само здание храма после постройки вокруг статуи Будды за все время своего существования ни разу не испытало ни малейшего оседания.

Над куполом Грудь-горы возвышается башня квадратного сечения, покрытая золотом; выше ее продолжают постепенно уменьшающиеся золотые диски числом двадцать один; самый верхний диск увенчан короной, на которой стоит конический шпиль, заканчивающийся золотой сферой. С трех сторон ее защищают три золотых дерева, соединяющиеся своими вершинами, образуя тройной крест.

От оконечности шпиля исходят тысячи нитей, тянущихся к шпилям всех окрестных храмов, всех часовен, к макушкам всех деревьев — короче, ко всем предметам, возвышающимся над своим окружением. К этим нитям подвешены ленты из разноцветных тканей, непрерывно шевелящиеся на ветру. На каждой из них написана молитва. Таким образом, постоянно дующий ветер, шевелящий ленты, днем и ночью повторяет тысячи и тысячи написанных на них разноцветных молитв.

Незапятнанная белизна храма поддерживается мастерами, одетыми в белое. Их лица и руки также покрыты белой краской. Посвятившие свою жизнь единственной цели, они перемещаются по куполу вслед за солнцем час за часом, день за днем, каждый на своей высоте, и отдельные белые полосы сливаются в единую белоснежную массу Грудь-горы.

На каждой из четырех сторон золотой башни нарисованы огромные глаза Будды. Темно-синяя радужная оболочка без зрачка наполовину прикрыта бледно-голубым с золотом верхним веком, над которым совершенной дугой изгибается бровь. Во взгляде нет ни строгости, ни вопроса, ни прощения. Этот взгляд существует не для того, чтобы судить или требовать что-либо. Он просто видит все, что происходит в четырех сторонах света.

Непрерывная цепочка паломников поднимается к Храму по тропинкам и лестницам. Вокруг Храма простирается обширная площадь, усеянная служебными строениями, часовнями, стелами и статуями всех богов индуизма и тантризма, пришедших сюда, чтобы преклонить колени перед мудростью Будды. Среди них медленно перемещаются паломники, собаки, обезьяны, разносчики воды, бонзы, попрошайки, коровы, хиппи, туристы с фотоаппаратами, продавцы лука, бараны, голуби, вороны с оперением табачного цвета, дети со скрипками — пестрая разноцветная толпа, над которой колеблются легкие тени ста тысяч молитв, порожденных ветром.

Оливье к обеду нашел часовню с Зубом Будды и долго не мог отойти от небольшого усатого божка. С ним его не ожидал неприятный сюрприз, доставшийся ему со статуэткой шестирукой богини. Деревянная статуя Будды была просто поставлена на небольшое каменное основание, к которому присоединялась с помощью двух цепей, с одной стороны утопленных в камне. С другой стороны цепи соединялись с помощью колец с основанием статуи. К цепям крепились какие-то странные неуклюжие приспособления, пару раз встреченные Оливье в лавочках Катманду. Они походили одновременно на ствол пушки и на арбалет: это были старинные висячие замки.

Все это железо, грубо выкованное вручную, выглядело непреодолимой преградой для любого похитителя, но Тед одолжил Оливье мощные ножницы, способные перекусить тросы висячего моста Золотые Ворота. Поэтому у него не должно было возникнуть проблем, даже если на ночь перед статуей опускалась железная решетка, прутья которой были толщиной в палец.

Главную сложность представляла толпа паломников.

Оливье быстро выяснил, что даже поздним вечером в храме находились молящиеся. Он спустился в долину, где возле ручья был спрятан мотоцикл, и лег отдохнуть, положив под голову рюкзак. В потемневшем небе над ним одна за другой загорались необычно большие звезды. Он задремал, мечтая о том, какую жизнь он сможет обеспечить Джейн, имея три тысячи долларов. Прежде всего он вылечит ее. Потом отвезет в страну, где не будет здешней грязи. Может быть, в Канаду, где среди снегов и елей живут простые люди, лесорубы и охотники. И постарается, чтобы она была счастлива всю жизнь. Никогда еще этот маленький Будда в забавном тюрбане, на протяжении всех столетий, которые он провел здесь, не видел столь ясной судьбы, не участвовал в столь благом деле. Очевидно, он был вырезан из дерева, раскрашен и прикован цепями в этом храме только для того, чтобы дождаться, проявляя терпение, свойственное деревьям и богам, пока не появится юноша с чистым сердцем, который разорвет сковывающие его цепи и отвезет в мир любви.

Выбравшаяся из-за горы луна разбудила Оливье. По дороге к храму он встретил несколько групп паломников, спускавшихся вниз. Было ясно, что ему придется еще подождать.

Окончательно он убедился в этом, когда оказался на месте. Повсюду между храмами и часовнями ему встречались небольшие группы молящихся или просто прогуливавшихся паломников, а также торговцы, неторопливо заворачивавшие цветные порошки в бумагу. Повсюду мелькали огоньки масляных ламп. Оливье направился к храму Будды и остановился достаточно близко, чтобы не терять из виду обстановку. Опустив рюкзак на землю, он сел и приготовился провести таким образом ночь. Он знал, что в таком поведении не было ничего необычного и на него никто не должен был обратить внимание. Он с радостью заметил, что металлическая решетка перед Буддой осталась поднятой. Очевидно, ее давно перестали опускать, потому что почтение перед Буддой было гораздо более надежной защитой от любых посягательств.

Площадь быстро опустела; оставался только один богомолец, одетый в белое, но с черной шапочкой, который, стоя на коленях со сложенными перед грудью руками перед божеством в такой же позе, продолжал что-то говорить, спрашивать, умолять. Бог оставался невозмутимым; он не уставал слушать. Но молящийся был не каменным; в конце концов он почувствовал усталость, с трудом поднялся с колен и медленно направился к ближайшей лестнице, держась за поясницу и постанывая.

Оливье встал и незаметно огляделся. Луна в последней четверти висела достаточно высоко, чтобы освещать самые укромные уголки. Поблизости от Оливье не было ни души. Возможно, конечно, что какой-нибудь паломник дремал где-нибудь у подножья храма, но ходить по площади и осматриваться было бы слишком подозрительно. Нужно было действовать быстро и бесшумно.

Оливье подошел к храму, опустил рюкзак на землю, достал из него кусачки и протянул руки в темноту ниши, где скрывался Будда.

В этот момент в лицо ему с пронзительным воплем кинулся демон. Оливье шарахнулся назад; сердце едва не вырвалось у него из груди. К счастью, это была всего лишь обезьяна. Она взлетела на голову каменного льва в нескольких метрах от Оливье, продолжая визгливо ругаться. Оливье понял, что животное, питавшееся подношениями паломников, постоянно жило рядом со своим щедрым сотрапезником. Разбуженные дикими воплями, на площади проснулись все ее обитатели. Обезьяны принялись верещать, собаки залаяли, вороны закаркали, куры закудахтали. Оливье быстро спрятал кусачки в рюкзак и отошел в сторону, изображая внезапно разбуженного человека. В соседнем

храме распахнулись двери, и на площадь вышла вереница монахов с горящими лампами в руках.

Не обращая на суматоху ни малейшего внимания, они совершали утренний обход храма, вращая тысячи молитвенных мельниц, расположенных по его окружности, и распевая молитвы, позволяющие слиться в одно целое их движению по кругу и вращению по своим орбитам планет, галактик, всей Вселенной, а также атомов и вселенных, заключенных в каждом из атомов. Этим достигалась всеобщая гармония таких бесконечно разных и таких одинаковых элементов мира.

Рассветало. Уже можно было различить желтый цвет одеяний монахов и их поблескивающие лысины. Лампы были погашены; в лучах восходящего солнца вспыхнули краски молитв, колеблемых ветром.

Было слишком поздно продолжать попытку. Оливье подавил чувство острого разочарования, подумав, что не случись у него конфликт с обезьяной, его застали бы в самый разгар операции. Но, по крайней мере, теперь он представлял, до какого момента он может работать. Он слишком торопился, подталкиваемый нетерпением. А ведь Тед советовал ему сначала понаблюдать за обстановкой на протяжении двух-трех ночей, прежде чем приступать к делу. Американец мог подождать.

Но кроме американца была еще Джейн. И она тоже ждала…

Спустившись к ручью, он проверил мотоцикл и убедился, что никто не слил у него из бака бензин. Он напился, привел себя в порядок и даже вздремнул пару часов. Проснувшись, ополоснул лицо холодной водой, сел и задумался, пытаясь найти решение вновь возникшей сложной проблемы: как избавиться от обезьяны?

Очевидно, наиболее правильным было бы предложить обезьяне банан, напичканный наркотиком, чтобы она заснула до утра. Конечно, если она согласится сожрать его. А какой наркотик следовало выбрать? Гашиш мог вызвать у нее отвращение. Но попробовать все равно стоило. Найти гашиш можно в каждой деревне. Любой крестьянин прекрасно понимал, о чем идет речь, когда европеец жестом показывал ему, что он хочет курить. Но если ему не повезет здесь, он может вернуться в Катманду и попросить врача, чтобы тот выписал ему сильнодействующее снотворное. Правда, в этом случае он потеряет целые сутки.

Он отправился пешком в ближайшую деревню. Ему нужно было приобрести заодно и что-нибудь съестное. Он не терял надежды, что или в этой деревне, или в какой-нибудь другой найдет гашиш. И следующей ночью постарается не упустить удачу.

Состояние Джейн продолжало улучшаться. Расставаясь с ней, Оливье попросил ее не беспокоиться, потому что он собирался очень скоро вернуться, после чего они должны были уехать из Катманду. Джейн спросила: «А Свен? Свен поедет с нами?» — «Да, конечно, Свен тоже поедет», — ответил Оливье, которого этот вопрос едва не застал врасплох, но он решил, что расскажет ей все, что она забыла, позже…

Через пару часов после отъезда Оливье Джейн начала волноваться. Она то и дело спрашивала у Ивонн: «Где он? Он вернется? Когда? Почему его до сих пор нет?» Ивонн и сама не знала, куда исчез Оливье, но продолжала успокаивать Джейн.

Когда она спросила у мужа, тот заявил, что ничего не знает. Оливье будто бы сказал, что собирается раздобыть денег, чтобы увезти Джейн отсюда и положить ее в больницу. Тед выразил надежду, что Оливье не совершит какую-нибудь глупость и добавил, что в любом случае умывает руки.

— Но ты же мог одолжить ему нужную сумму! — воскликнула Ивонн.

Тед изобразил наивное удивление.

— Одолжить ему? Но я же ему не отец! Жак скоро будет здесь… Меня удивляет, что Оливье не стал дожидаться его возвращения, чтобы попросить денег… А как, кстати, с проектом вашего совместного путешествия? Ты обдумала то, что я тебе сказал?

Ивонн посмотрела на мужа с ненавистью.

— Ты думаешь, что мы у тебя в руках, но мы все равно уедем вместе!

— Ладно, ладно! Вы всё решите, как только он вернется и ты поговоришь с ним. Не забудь сказать мне, о чем вы договорились… Я закажу вам билеты в Европу, как и обещал.

Этот разговор состоялся у них на площадке третьего этажа, между дверью в кабинет Теда и дверью в комнату, где лежала Джейн. Тед отвернулся и вошел к себе, оставив жену оцепеневшей от ненависти и отчаяния. Она прекрасно знала, что едва Жак узнает, что у нее нет ни гроша, то сразу же найдет тысячу оснований, чтобы остаться в Непале. Разве им плохо жилось здесь? Разве она не была счастлива? Жить в такой замечательной стране… У них потрясающе интересная работа… И муж обеспечивает ее всем, ничего не требуя взамен…

Чтобы избежать возможных сцен ревности, она сказала Жаку, что у нее с Тедом давно нет супружеских отношений. Правда, она не была уверена, что тот поверил; тем не менее, Жак сделал соответствующий вид, так как подобная ситуация его вполне устраивала. Точно так же он изображал себя богачом, предводителем слонов, властелином тигров, хозяином своей судьбы… И делал вид, что счастлив…

Чтобы оторвать Жака от его воображаемого мира, не причинив травмы, она предложила ему другой, также достаточно привлекательный мир: стать владельцем имения, хозяином армии тракторов; охотиться в Солони, приобрести квартиру в Пасси, завести целый Париж знакомых и друзей…

И все это было бы возможно, обладай она хотя бы драгоценными камнями, которые столько лет подряд дарил ей муж… За проведенные в Непале годы у нее скопилось множество драгоценностей, настоящее богатство. Самыми дорогими были украшения с рубинами, за которыми Тед раз в год ездил на рудники, где специально для него оставляли самые уникальные экземпляры. Потом он отправлял их на огранку в Голландию и затем заказывал из них ожерелья, браслеты и кольца местным ювелирам.

Но их брачный контракт, зарегистрированный в Париже и Цюрихе, был заключен на условиях раздельного владения имуществом. И драгоценности принадлежали Теду, поскольку он платил за них. А она их только носила… Впрочем, так редко! Еще бы, в этой дыре… И они принадлежали ей не больше, чем воздух, которым она дышала… У нее ничего не было, если не считать куска равнины, на которой выращивали свеклу, унылой равнины в долине Соммы, за которую, к тому же, еще нужно было вести тяжбу с местными фермерами… Нет, Жак не поедет с ней, она прекрасно знала это.

Но знала она и то, что больше никогда не сможет терпеть тяжесть массивного тела Теда… Даже одна только мысль о том, что он может потребовать от нее, вызвала у нее приступ тошноты, с которым она не смогла справиться. Она кинулась вниз по лестнице и едва успела добежать до ванной комнаты.

Вечером Джейн вела себя настолько беспокойно, что Ивонн позвонила врачу и сказала, что девушка требует второй укол, что она стонет и корчится в постели. Врач категорически запретил подчиняться требованиям больной. Он сказал, что у девушки, как ему кажется, было два наркотика: героин и этот юноша.

— Как его зовут? А, Оливье… Ей его не хватает, и она стремится компенсировать его отсутствие настоящим наркотиком. Но этого разрешить нельзя. Как долго будет отсутствовать этот молодой человек? Его появ-

ление оказало бы более сильный лечебный эффект, чем любое лекарство. Почему он уехал? Да, конечно, он должен зарабатывать на жизнь… Короче, так или иначе, но второго укола не должно быть! Ни в коем случае!

— Но что тогда можно сделать? Ведь она так страдает!

— Ничего… Вы ничем не можете помочь ей… Впрочем, будет лучше, если вы оставите ее одну. Тогда ей некому будет жаловаться, и она постепенно успокоится.

— Но вы уверены, что она не натворит глупостей?

— Каких еще глупостей?

— Ну, говорят, что иногда наркоманы, лишенные наркотика, могут покончить с собой.

— В нашем случае такой опасности нет. Она знает, что получит свою дозу завтра утром. Конечно, она будет нервничать, мучиться, злиться, но будет терпеть до утра, потому что уверена, что утром снова попадет в свой отравленный рай… Оставьте ее. В ее страданиях есть доля шантажа… Когда вы уйдете, она останется наедине со своим подлинным страданием. Конечно, в этом тоже нет ничего приятного, но она все же успокоится, станет думать про завтрашнее утро и постепенно заснет.

Когда на следующее утро Джейн получила свою дозу, она преобразилась. Никогда еще она не выглядела такой жизнерадостной. Лекарство, добавленное к раствору героина, смягчало его вредное воздействие. После показавшейся бесконечной ночи страданий, ставших под утро почти невыносимыми, к ней пришел покой, и она вспомнила о любимом, в ней проснулась уверенность в счастье, ожидавшем ее с Оливье. Ее лучившееся лицо, посвежело и казалось ясным, словно у ребенка; глаза, и так большие, казались еще больше. Ивонн, увидев девушку такой прелестной, еще раз сказала, что Оливье скоро вернется. Джейн прижалась к ней и замурлыкала какую-то ирландскую песенку, но тут же остановилась, поцеловала Ивонн и пробормотала:

— Я люблю вас! Вы такая замечательная!

Ивонн затопила волна нежности и ужаса. Джейн, этот чудный ребенок, потерянная душа, могла быть ее дочерью. И тогда она сделала бы все возможное, чтобы защитить девушку, спасти, увезти отсюда; она почувствовала, что ей так нужен был кто-то, за кого нужно было бы сражаться, кто-то, бывший плотью от ее плоти, плодом ее любви. Детей у нее не было, был только любовник, красавец, словно сошедший с экрана, тогда как сама она была уже развалиной, отбросом, рабыней, объектом удовлетворения страсти для свиньи…

Что же касается Джейн, то врач не стал скрывать, что с большим трудом спас ее. По его словам, девушку можно было считать потерянной еще до того, как она выкурила свою первую сигарету с марихуаной. Очевидно, в ее семье произошло что-то такое, что причинило ей смертельную травму. Ее бегство в наркотический дурман было всего лишь затянувшейся агонией, замаскированной цветами и гитарой и питавшейся иллюзиями. По мере того, как одни иллюзии разрушались, она пыталась найти другие, более интенсивные, но столь же обманчивые. Но ей удалось найти свой единственный шанс…

— …Как зовут этого парня? Ах, да, Оливье… Только он может спасти ее, остановить на пути, ведущем к гибели. Но где он сейчас, этот дуралей? Что он делает вдали от нее? Без него она может погибнуть. У нее почти не осталось воли к жизни!

Он добавил, что в письме, подготовленном им для больницы в Дели, говорилось, что юноша обязательно должен быть помещен в палату вместе с девушкой.

Джейн лучилась радостью. Она даже согласилась позавтракать куском хлеба с маслом, съела немного фруктов и выпила стакан молока яка. Она то и дело смеялась, повторяя: «Оливье… Я люблю его… Мой Оливье…»

Ивонн вышла, держа в руках поднос для завтрака, и ногой прикрыла за собой дверь.

Джейн никогда еще не ощущала себя такой легкой, такой воздушной. Скоро вернется Оливье. Она должна быть красивой для него. Сначала она села в постели, потом спустила ноги на пол. Немного поколебавшись, встала. Мир вокруг нее слегка покачнулся, но он был таким спокойным, а она казалась себе такой невесомой, словно цветок под солнцем, едва колеблемый намеком на ветерок. Она раскинула руки, словно эквилибрист на канате, сделала шаг, потом еще один. Ощущение было странным. Все вокруг казалось подвижным, но не опасным… Будто она на качелях, а качели — это вся комната вокруг нее… Она сделала еще несколько шагов к ванной комнате и засмеялась: все вокруг было таким странным, таким неустойчивым…

Тед вышел из кабинета и направился к лестнице. До его слуха долетел нежный смех — так могла бы смеяться птичка. Дверь в комнату Джейн была приоткрытой. Он остановился и заглянул в щель. Там стояла Джейн. Сбросив ночную рубашку, она прошла сквозь солнечные лучи, падавшие через окно. В ванной комнате она взяла щетку и принялась расчесывать свои волосы, превратившиеся в золотую волну, падавшую на плечи. Поднятые над головой руки заставляли рельефно выделяться девичьи груди; отраженный зеркалом золотой луч упал на ее бедро.

Лицо Теда побагровело.

Оливье удалось раздобыть не только гашиш, но и опиум. Увидев возле убогой хижины поле цветущих маков, он решил расспросить работавшего на поле крестьянина. Стоило ему указать на маки, как тот сразу же понял, о чем идет речь. Он вынес из хижины комок опиума размером с яблоко. Оливье показал жестом, что ему нужен шарик размером с ноготь. Крестьянин улыбнулся и принес другой комок размером с орех. Еще одна пантомима, и у Оливье оказался небольшой шарик опиума размером с вишневую косточку.

У хозяина соседней хижины он нашел еще более ценный товар: это был гашиш, полученный в прошлом году; его растерли в порошок и смешали с маслом. Таким образом непальцы сохраняли гашиш в межсезонье. Когда его нужно было использовать, смесь нагревалась; масло при этом удалялось, и оставалась чистая травка.

Оливье подумал, что прогорклое масло может заинтересовать обезьяну, хотя и не был уверен, что успокоит ее. Он знал, что миролюбивые хиппи, проповедовавшие ненасилие, употребляли марихуану, тогда как американские гангстеры-убийцы были известны как курильщики гашиша…

Он решил приготовить два банана, один с опиумом, другой с гашишем в масле. И здесь его ожидало неожиданное разочарование: он не смог найти бананы, исчезнувшие с рынка вместе с другими фруктами и прочим съестным. Паломники, направлявшиеся в Свайянбунат и непрерывным потоком проходившие через деревню, раскупили все съедобное, что могли предложить им местные жители.

Пока он стоял в растерянности, в деревне появилась группа хиппи, менее напичканных наркотиками, чем большинство встреченных им раньше. Они уселись в кружок вокруг фонтана на центральной площади и принялись распевать что-то вроде гимнов. Среди них оказался бельгиец, рассказавший Оливье причину царившей вокруг суматохи. Оказалось, что вечером должен состояться Праздник Света. Ночью Луна, находящаяся

в последней четверти, взойдет точно над самой высоким пиком Великой Горы. И она будет сиять над Свайянбунатом. А Свайянбунат считается второй половиной белой сферы, образа Вселенной, возрождающейся в своей целостности, когда соединяются небо и земля, материя и дух, реальное и иллюзорное, когда все сущее сливается в единстве, подобно тому, как все цвета спектра, соединяясь, дают белый свет.

Бельгиец рассказывал все это Оливье, не переставая жевать. Он рассматривал этот праздник как грандиозное и крайне важное событие. О смысле праздника ему рассказала девушка из Голландии, невысокая брюнетка, сидевшая рядом с рыжим парнем.

— Она не знает французского, — сообщил бельгиец, — но я могу объясняться на фламандском. Знаешь, она никогда не носит трусов, хотя всегда бывает в юбке. Когда она садится, то высоко поднимает колени и раздвигает их, демонстрируя все свое хозяйство… Вот, смотри, смотри! Наверное, это и есть свобода, как она говорит: надо показывать всем свои интимные места с такой же непринужденностью, как лицо. Похоже, что она немного свихнулась на этом деле, ты не находишь? Никто уже не обращает внимания на то, что она выставляет напоказ… Может быть, потому, что ее нос похож на банан? Как ты думаешь, в сексе нос тоже имеет значение?

Бельгиец рассмеялся. Он не курил травку; в Непал он приехал только потому, что ему негде было провести каникулы. В ближайшее время он собирался вернуться в Европу. То, что рассказала ему голландка, она узнала от одного гуру. В общем, добавил бельгиец, этой ночью зажгутся все светильники, которые могут гореть, чтобы отметить встречу Луны и Священной Горы.

— И они будут гореть всю ночь? — встревоженно поинтересовался Оливье.

Неужели он потеряет еще сутки из-за какого-то нелепого праздника? Господи, здесь всегда праздники, постоянные праздники! Народ, который непрерывно что-нибудь празднует, не имеет права на существование!

Но бельгиец сказал, что в тот момент, когда Луна должна выглянуть из-за вершины Горы, все огни будут погашены; все должны укрыться в хижинах или хотя бы закрыть лицо руками, чтобы не видеть то, что будет происходить на небе, потому что Луна и Гора должны остаться наедине.

Оливье купил у хиппи немного риса и несколько бананов, после чего вернулся к мотоциклу на берегу ручья. Он решил, что в эту ночь ему предоставляется последняя возможность добиться успеха. А если вокруг храма на ночь расположится множество паломников? Но они, скорее всего, постараются найти какое-нибудь укрытие… Заранее все предвидеть невозможно, но он будет готов действовать в любой обстановке. Ему нужно находиться поблизости от храма в тот момент, когда погаснут огни. А перед этим он должен постараться усыпить обезьяну.

Он приготовил для нее два банана и поужинал горстью риса. Луна должна была появиться из-за Горы в середине ночи. Сейчас же, в наступившей полной темноте, тысячи огоньков, усеивавших окрестности, копировали звездное небо. Казалось, что огней на склонах гор было столько же, сколько звезд на небе. Часть из них постепенно перемещалась, собираясь в длинные светящиеся полосы, напоминавшие Млечный Путь; они извивались между холмами, устремляясь к вершине Священной Горы, где в древнем храме дремал Будда.

Оливье решил, что и ему пора подняться на вершину. В последний раз проверив мотоцикл, он подвел его к ближайшей тропинке, по которой можно было передвигаться достаточно быстро. Потом закинул рюкзак за спину и двинулся в путь.

Вечер второго дня отсутствия Оливье был для Джейн еще более трудным. Начиная с обеда, она почувствовала, как тревога постепенно охватывает все ее существо, проникая в голову и создавая там невыносимое ощущение, словно она вот-вот разорвется.

Ивонн не оставляла девушку на протяжении всего дня, стараясь всеми силами развлечь ее. Она рассказывала о красотах тропического леса, об опасностях джунглей, о Жане, о слонах, о гигантских цветах, свисающих с деревьев, о множестве птиц самых фантастических расцветок. Но чем ближе был вечер, тем менее внимательно слушала ее Джейн. Ее лицо заливал пот, а конечности сотрясала сильная дрожь. Вечером она отказалась от ужина и стала умолять Ивонн сделать ей еще один укол.

Ивонн не смогла выносить ее страдания. Она снова позвонила врачу, но того не оказалось на месте. Он сам позвонил через час, напомнив про категорический запрет и посоветовав оставить девушку одну.

— Если вы знаете, где находится этот юноша… Как там его? Да, Оливье… Его нужно немедленно вернуть в город. Сейчас это важнее всего…

Ивонн была уверена, что Тед знает, куда исчез юноша; она не сомневалась, что муж втянул его в какую-то аферу, выгодную для Теда и опасную для Оливье. Все это она высказала мужу, воспользовавшись возможностью еще раз бросить ему в лицо все, что она думала о нем. Но единственным ответом были молчание и уклончивые улыбки.

Она поцеловала Джейн, которая изо всех сил цеплялась за нее, плача и умоляя сделать укол. Ивонн попыталась успокоить девушку, повторяя, что Оливье, уехавший, чтобы заработать на ее лечение, скоро вернется. И тогда она быстро поправится, и они смогут вместе уехать отсюда. В любом случае, свой укол она получит завтра утром. И она пообещала вернуться к Джейн как можно раньше.

Уложив Джейн в постель и набросив на нее легкую простыню, она спустилась к себе на второй этаж, проглотила три таблетки снотворного и поставила будильник на шесть часов утра.

Тед просидел в кабинете еще около часа, дожидаясь, пока Ивонн уснет крепким сном. Потом он открыл сейф и достал из него небольшую шкатулку из яшмы, медицинский шприц, серебряную ложечку, резиновый шнур и миниатюрную масляную лампу, покрытую изящной резьбой. Все это он разместил в карманах халата, наброшенного на голое тело.

Когда Оливье оказался у подножья Грудь-горы, на ней вспыхнули тысячи огней. Оливье услышал рокот электрогенератора, дававшего энергию сотням прожекторов. Буддийские монахи разумно переняли у Запада то, что могло послужить их традициям.

С вершины Грудь-горы, со стен Золотой башни, на ночь взирали глаза Будды. Они видели все, что происходит как здесь, так и в других местах, видели все, что случается в жизни каждого человека. Если у человека, бросившего на Будду ответный взгляд, чистое сердце, лишенное эгоизма и мелких жалких страстей, а глаза у него такие же голубые, как те, что изображены на золотом фоне, то ему в темных зрачках Будды явится все, что тот видит в нем и всем прочем в мире, что имеет отношение к нему.

Оливье поднимался к вершине с высоко поднятой головой, не в силах оторвать взгляд от глаз, не смотревших на него. Ниже этой пары глаз, на том месте, где должен находиться нос, синей краской был изображен символ, похожий на вопросительный знак, который у непальцев соответствует цифре «1», воплощающей единство. Единство всех вещей и явлений, как обычных, так и уникальных, в которых растворяется это единство, чтобы стать всеобщим целым.

Для Оливье этот символ был тревожным знаком вопроса под глазами, видящими нечто недоступное ему. Вместе с ним по крутой тропе поднимались жизнерадостные мужчины и женщины, несущие тускло горевшие фонарики, распространявшие вокруг запах горячего масла. Это была неторопливая процессия счастливых людей, многие из которых захватили с собой детей. Самые маленькие висли на спинах матерей, удерживаемые куском ткани; других несли на руках отцы, несли бережно, с бесконечной нежностью. Мигающая огоньками гусеница, в сопровождении звуков примитивных музыкальных инструментов, стремилась к белоснежному куполу, возвышавшемуся на фоне темного неба. Оливье не видел неба; он видел только синие глаза ночи, а также знак вопроса, спрашивавший, что он, жалкий глупец, делает здесь, вдали от Джейн, которую бросил в очередной раз. Даже если все, что он делал, делалось ради того, чтобы увезти ее отсюда, ради ее спасения, то вряд ли это было важнее, чем быть рядом с ней, чтобы окружить теплом и заботой, в которых она так нуждалась.

Запрокинув голову, он смотрел в безмятежно глядящие глаза, в которых не было ничего от людских эмоций, глаза, которые все видели, все знали.

Внезапно он понял. Понял, что сбился с истинного пути, заблудился на дороге, ведущей к бесполезному и бессмысленному, что был безумцем и преступником. Он резко остановился и обернулся. Затем он устремился вниз, прокладывая дорогу локтями и криками через мирную толпу, спокойно поднимавшуюся к белоснежному куполу, к Луне. Люди безропотно расступались перед несчастным потерянным юношей, пришедшим к ним с другого конца света, где люди живут, ничего не зная о жизни и смерти.

Преодолев в несколько осторожных шагов площадку, Тед остановился перед дверью в комнату Джейн, из-под которой пробивалась полоска света. Он прислушался. Некоторое время до него не доносилось ни одного звука, но потом он услышал нечто вроде хрипа, прервавшегося рыданием. Он знал, что в этот момент внутренности девушки свирепо терзает отсутствие наркотика.

Осторожно повернув ручку, он медленно, но уверенно вошел в комнату. Ему нужно было действовать быстро, пока Джейн не испугалась и в ее воспаленном воображении не появился Тед в облике дракона, паука или бог весть какого жуткого чудовища. Поэтому он сразу же заговорил успокаивающим тоном:

— Добрый вечер, Джейн. Как вы себя чувствуете?

Девушка слабо пожала плечами, показывая, что чувствует себя неважно. Об этом без слов свидетельствовали ее широко раскрытые глаза и напряженные мышцы лица, залитого потом. Почти не прикрывавшая ее скомканная простыня тоже промокла от пота.

— Вам плохо?

Она кивнула. Да, ей было плохо.

— Здешние врачи не слишком блестящие специалисты. Если они оказались в Катманду, то только потому, что не смогли устроиться ни в одном приличном месте…

Подойдя к постели, он принялся раскладывать на ночном столике предметы, извлекаемые из карманов халата.

— Сейчас я помогу вам. Вы проведете спокойную ночь, и мы никому ничего не расскажем…

Увидев шприц, Джейн резко приподнялась. Тед удержал ее спокойными фразами и заставил снова улечься, мягко надавив на плечи. Закатав левый рукав ее ночной рубашки, он обернул ей руку толстым резиновым шнуром, затянув его с помощью карандаша.

Вены у девушки долгое время не набухали. Тед начал немного беспокоиться; девчонка оказалась в более плохом состоянии, чем он предполагал. Если с ней случится какое-нибудь осложнение, могут возникнуть неприятности… Но, в конце концов, врач не считал нужным изображать оптимизм; он же сказал, что по логике вещей, она должна уже быть на том свете. Тем не менее, он решил быть поосторожнее. Дозу нужно было отмерить как можно точнее. Он сам никогда не употреблял наркотики, но ему не однажды приходилось применять их при общении с девушками-хиппи. Когда они находились под действием дурмана, они не замечали, что он похож на свинью… Даже он забывал об этом на несколько мгновений …

Тед зажег масляную лампу и открыл шкатулку. Она была заполнена белым порошком.

— Это настоящее снадобье, — пробормотал он, склонившись над столиком, — а не та третьесортная дрянь, которой вас пичкает этот лекаришка.

Зачерпнув серебряной ложечкой немного порошка, он задумался на несколько секунд, потом отсыпал часть порошка назад в шкатулку. Затем он принялся водить ложечкой с порошком над пламенем масляной лампы.

Оливье мчался как безумный вдоль бурного ручья, стекавшего по склону горы. Инстинктивно угадывая в темноте препятствия, он перепрыгивал через камни и кусты, чудом не ломая ноги; его несла какая-то сила, он не знал, космическая или божественная, да это и не было важно. Им владело понимание того, что он находится не в том месте, в котором должен был бы находиться, и что перед ним находятся пространство и время, которые он должен преодолеть или уничтожить. Он бежал быстрее потока, бурлившего среди камней с шумом кипящей воды.

— Я слышу, как шумит вода! Я слышу воду! — прошептала Джейн. — Я слышу воду! Она шумит рядом!

Никогда прежде она не была такой счастливой, такой легкой, такой открытой, как сегодня. Она уже забыла про укол. Только что безмерно страдавшая от укусов змей, гнездившихся в ее теле, она превратилась в облако света…

— Оливье где-то возле воды… Он идет ко мне… Вместе с водой… Он идет…

— Конечно, конечно, — успокаивающе пробормотал Тед, — Оливье идет, он приближается, он уже здесь…

Он сбросил халат. Джейн, охваченная экстазом, смотрела в потолок и видела, как вода несет Оливье. Она видела воду, кувшинки на ее поверхности, рыбу в глубине… Это громадный угорь, он поднимается к поверхности… Снова Оливье… Блики солнца на воде, солнце в воде, Оливье, солнце…

— Оливье…

— Он пришел, — прошептал Тед, — он здесь…

Он сдернул с девушки простыню и замер, уставившись на нее. Несмотря на болезненную худобу, Джейн была удивительно красива. Насытив взгляд, Тед растянулся рядом с ней.

— Оливье? Это ты, мой Оливье? Ты вернулся? — прошептала Джейн.

— Это я, я здесь, здесь, — шепотом ответил Тед.

Затем он выключил лампу на ночном столике и принялся ласкать девушку. Джейн полной грудью вдохнула воздух счастья.

— О, Оливье!

Оливье мчался в Катманду на сумасшедшей скорости. Рев двигателя распугивал бредущих по обочине непальцев, мощные фары ослепляли

неосторожных, посмотревших в его сторону. На виражах свет фар на мгновение выхватывал из темноты кровавые ухмылки придорожных божеств. Проносясь через деревни, Оливье оставлял далеко позади бешено лающих собак. Наконец впереди показались огни города. Оливье попытался прибавить скорость, до отказа повернув рукоятку газа, чтобы лететь еще быстрее, но это было невозможно. Низко склонившись над рулем, он ворвался, не тормозя, в город. Перед ним возникла медленно бредущая поперек улицы корова, и мотоцикл врезался в нее. Оливье перелетел через сбитое на землю животное, успев при этом подумать, что совершил страшное преступление. Если корова убита, ему дадут лет десять… Если же он только ранил ее, то его вышлют из страны. У него была содрана кожа с правой щеки и с обеих рук, но он нашел в себе силы, чтобы подняться, чтобы идти, чтобы бежать к Джейн, пока не рухнул в темном переулке; дикая головная боль заставила его потерять сознание.

Придя в себя, Оливье не представлял, сколько времени он пролежал в бессознательном состоянии. Было по-прежнему темно. Небо между двумя рядами крыш узкой улочки казалось бездонной пропастью, усеянной мириадами звезд. Он не видел ни малейшего лучика света, не горели даже фонари на перекрестке. Только слева от него в небо над крышами вонзался столб голубого огня.

Оливье с трудом встал. Голова все еще болела, и он не мог сообразить, где находится. Оглядевшись, он увидел над крышами домов купол большого храма, блестевший в лунном свете. Направившись в эту сторону, он постепенно стал узнавать улицы и вскоре оказался перед задней стороной конторы «Тед и Жак».

Во время ходьбы он почувствовал себя немного лучше; головная боль почти прошла. Он осторожно открыл дверь своим ключом, ему не хотелось будить кого-нибудь. Его сумасшедшая гонка казалась сейчас совершенно нелепой. И вообще, зачем он вернулся? Остановившись перед лестницей, он прислушался. Стояла мертвая тишина. Все было как обычно. Он всего-навсего потерял время, разбил мотоцикл, лишился возможности оставаться в Непале. Он вел себя, как безумец. Покалечился, страшно измотал себя… Ему стало стыдно. Он совершил массу глупостей, он всегда только причинял хлопоты тем, кого любил… Ему остро хотелось прикорнуть где-нибудь и забыться. Можно было устроиться на диване в кабинете… Но перед этим он хотел взглянуть на Джейн, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Он любит ее, и она любит его; все, что он делал последнее время, он делал ради нее, просто ему нужно было немного подумать, прежде чем совершать нелепые поступки, словно вспыльчивому мальчишке. Джейн такая спокойная, такая рассудительная, она поможет ему измениться, стать другим, похожим на нее.

Несмотря на все его предосторожности, дряхлые ступеньки все же заскрипели под его ногами. Он решил сначала зайти в кабинет, чтобы взглянуть на себя в зеркало, хотя и не помнил, есть ли оно там. Нужно было хоть немного привести себя в порядок, чтобы ненароком не напугать Джейн, если она вдруг проснется. Он мог протереть лицо рубашкой, смочив ее виски.

Оливье с удивлением увидел освещенный кабинет, разложенный диван и валявшиеся на полу предметы одежды Теда — брюки, рубашку и носки. Он даже забыл, что зашел сюда в поисках зеркала.

Выйдя из кабинета, он пересек площадку и остановился, заколебавшись, перед комнатой Джейн. Потом осторожно, чтобы не разбудить девушку, открыл дверь. В комнате электричество было выключено, но в ванной горел свет, дверь в нее была приоткрыта. Света в комнате было достаточно, чтобы увидеть лежавшую на полу простыню и Джейн, распя-

тую в постели с высоко задранной ночной рубашкой, обнажающей груди и темную ложбинку внизу живота.

Застыв на мгновение, Оливье бросился к постели с криком «Джейн!».

Его крик вывел девушку из оцепенения. Она с ужасом увидела склонившееся над ней нечетко различимое в царившем в комнате полумраке окровавленное лицо с жуткой гримасой, похожее на страшные лица непальских богов, которым полагается отпугивать демонов. Она закричала и стала звать на помощь Оливье. Юноша хотел успокоить ее, обнять, объяснить, что он и есть Оливье, но только сильнее напугал девушку. Она попыталась как можно дальше отодвинуться он него и вжалась в матрас, не сводя с кошмарного видения глаз, полных ужаса.

Внезапно свет в ванной погас. Оливье понял, что мерзавец все еще там. Он прыгнул к входной двери и прижался к стенке рядом с ней. Через окно в комнату лился призрачный свет луны и легкий предутренний ветерок слегка колебал прозрачную штору.

Глаза Оливье быстро приспособились к полутьме, и он увидел темную массу, крадущуюся к двери из комнаты. Тед не мог заметить Оливье, силуэт которого сливался с темным фоном.

У Оливье инстинктивно напряглись мышцы и сжались кулаки. Его затопила ненависть, хищная и смертоносная, подобная той, которую может испытывать тигр при виде жертвы.

Тед был совсем рядом. Оливье перестал дышать. Тед осторожно протянул руку, пытаясь нащупать дверную ручку, и в этот момент Оливье стиснул его запястье железной хваткой.

От неожиданности Тед испуганно ахнул. Оливье схватил противника второй рукой и нанес ему яростный удар коленом в пах. Свисавшие полы халата смягчили удар, но он все же оказался настолько сильным, что Тед со стоном согнулся пополам. Оливье, по-прежнему крепко державший правую руку Теда, слегка повернулся и изо всех сил ударил рукой Теда по своему выставленному вперед колену. Локоть Теда громко хрустнул, и Тед взвыл от страшной боли. Оливье схватил врага за горло и попытался задушить, но толстая шея швейцарца не позволила израненным рукам юноши сжать ее. Тед вырвался и кинулся назад в ванную. Оливье догнал его прежде, чем тот успел захлопнуть за собой дверь, сбил с ног и навалился сверху, нанося жестокие удары головой в лицо.

Перед перепуганной Джейн разыгрывалась сцена адского кошмара. По комнате, слабо подсвеченной луной, с дикими воплями метались неясные тени адских созданий. Демоны то катались по полу, то вдруг оказывались на потолке, они заполняли собой темноту и в любой момент могли наброситься на нее. Джейн удалось подняться с постели и встать на ноги, держась за стенку. Ей нужно было спасаться, бежать отсюда, бежать к свету через освещенное луной окно. Шатаясь, она сделала несколько шагов к окну и остановилась. Она больше не могла двигаться… Один из демонов с рычаньем рухнул к ее ногам. Ужас помог ей собрать последние силы; она рванулась к свету, запуталась в шторах, сорвала их, кинулась в окно, взлетела к небу…

Земля Катманду, которую животные и жители города удобряли и утаптывали на протяжении тысячелетий, ласково приняла девушку и подарила ей покой. Светлая в белоснежном саване, она казалась бабочкой, цветком, рожденным зарей, который медленно розовел в свете утра.

Ивонн, поднятая на ноги шумом и криками, взбежала вверх по лестнице. Она нажала на выключатель в тот момент, когда Джейн улетела через окно Бог весть куда, и если Он действительно справедливый судья, то она наверняка поднялась прямо к нему, чтобы воссоединиться со своим простодушным отцом, любящей матерью, влюбленным Оливье и Свеном с его

гитарой. А также со всеми друзьями, всеми птицами и цветами этого мира и со всем тем, чего не способен вместить этот мир.

Мужчины в этот момент боролись на полу перед кроватью. Тед, оказавшийся сверху благодаря своему весу, придавил Оливье к полу и пытался задушить его левой рукой. Но его коротких толстых пальцев не хватало, чтобы сдавить горло… Оливье схватил его искалеченную руку и выкрутил ее. Тед испустил ужасный крик и скатился с Оливье.

Ивонн подбежала к ним и принялась пинать их ногами, выкрикивая имя Джейн. Одного взгляда на ночной столик с разложенными на ней предметами хватило ей, чтобы все понять… Тед, эта отвратительная свинья…

Услышав имя Джейн, Оливье вскочил с пола. Сочившаяся из ободранной щеки кровь стекала ему на шею и плечо. Он увидел пустую постель, сорванные шторы, распахнутое окно… Схватив за спинку стул, он с размаха нанес удар по голове встающему на ноги Теду и бросился к лестнице.

— Мерзкая свинья! — Ивонн плюнула Теду в лицо. — Дерьмо! Надеюсь, он убьет тебя!

Тед, у которого был сломан нос и рассечен лоб, никак не мог понять, что произошло. Но когда он увидел пустую постель и раскрытое окно, он задрожал.

— Она… Она свихнулась… — пробормотал он. — Она была напичкана наркотиками… Это не первый случай, когда девица в таком состоянии выпрыгивает в окно… О, Боже! Этот негодяй сломал мне руку… Вызови врача! Скорее! Позвони врачу!

Страшная боль в искалеченной руке не позволяла ему собраться с мыслями, и его речь то и дело прерывалась стонами. Подойдя к ночному столику, он все же сообразил, что ему нужно делать, и схватил шприц, чтобы спрятать его в карман. Но Ивонн тут же ударила его по бессильно повисшей руке. От острой боли он дико вскрикнул и едва не потерял сознание. Ивонн выхватила у него шприц, бросила его на столик и вытолкала ничего не соображающего Теда из комнаты, которую закрыла на ключ.

— Иди вниз, — приказала она. — А я сейчас позвоню, только не врачу, а в полицию.

Оливье склонился над Джейн. Девушка лежала с широко открытыми глазами и приоткрытым ртом. Темные струйки крови вытекли из ее правого уха и из уголка рта. Пятно крови возле ее головы постепенно увеличивалось, окрашивая в красный цвет белую штору.

Оливье не мог поверить в случившееся. Он негромко позвал: «Джейн, Джейн!» Но перед ним уже не было Джейн. Джейн превратилась в нечто изломанное, что скоро, очень скоро должно было превратиться в нечто совсем иное.

Он обнял ее за плечи и осторожно приподнял на руки. Голова девушки откинулась назад, рот открылся, превратившись в черную дыру. Закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, он прижался своей ободранной щекой к ее щеке, еще теплой щеке девушки, которую он любил, но которую теперь больше не мог любить, потому что она стала ничем, мертвым телом, на кровь которого уже слетались проснувшиеся на заре мухи…

В глубине улицы заря окрасила в розовый цвет крышу большого храма, а над ним, гораздо выше, в глубине неба сияла незыблемая вершина Горы, на которой рождался день и которая посылала на лицо Джейн белые и голубые лучи, легкие и нежные, живущие совсем недолго, пока ноги горожан не подняли в воздух облака пыли.

По обеим сторонам улицы начали открываться окна и двери; торговцы, уже направлявшиеся на рынок с грузом овощей на плечах, останавливались и с сочувствием смотрели на мертвую девушку.

Оливье опустил Джейн на землю так же осторожно, как мать опускает в колыбель уснувшего ребенка. Он не стал закрывать ей глаза. Теперь все это не имело никакого значения.

Оливье поднял глаза и увидел, что из окна второго этажа на него смотрит Тед. Возле соседнего окна стояла Ивонн. Заметив взгляд юноши, Тед отшатнулся.

Оливье неторопливо направился к дому, вошел в коридор и захлопнул за собой дверь. Перед лестницей он остановился и снял со стены кривую саблю, висевшую под головой буйвола.

Сабля оказалась неожиданно тяжелой, словно кузнечный молот, которым можно выковать ствол пушки. Поднимаясь по лестнице, он был вынужден держать ее не только за рукоятку, но и второй рукой за конец лезвия.

Тед, прислонившийся плечом к двери гостиной, поспешно повернул здоровой рукой ключ в замке. Услышав неумолимо приближающиеся по лестнице шаги, он воззвал к Оливье дрожащим голосом:

— Послушай, Оливье, ведь врач сказал, что она все равно не будет жить! Может быть, он не говорил этого тебе, но мне-то он сказал! Не будет жить! Ты слышишь? Она должна была умереть! Даже лучше, что она умерла сразу, без мучений! Ивонн позвонила врачу, он сейчас приедет… Может быть, ее еще можно спасти! Не делай из случившегося трагедии! Любую девчонку, попавшую сюда, сразу можно считать пропащей!

Звуки шагов стихли. Оливье уже был на площадке.

— Я… Да, я переспал с ней… Ну и что? Ты думаешь, я был у нее первым? Они все одинаковы! Как ты считаешь, за счет чего она жила здесь? Им же нужно чем-нибудь расплачиваться за дурь! На каждой из них побывали десятки! И не только европейцы, но даже непальцы! По крайней мере, я чище, чем они!

На площадке послышался резкий выдох «ха!»; одновременно раздался удар и половина лезвия сабли прошла сквозь дверь.

Тед громко вскрикнул и отскочил в сторону, забыв про покалеченную руку. Он огляделся. Ужас и боль стерли с его лица розовый оттенок. Оно стало зеленоватым с красными пятнами. Кровь продолжала течь из носа и глубокой раны на лбу.

Ивонн выскочила в гостиную из спальни, где стоял телефон. Она увидела, как лезвие сабли исчезло, после чего последовал новый удар и большой кусок доски отлетел к середине комнаты.

— Сейчас он тебя убьет, — злорадно прошипела она. — Он зарежет тебя, как взбесившееся животное!

Тед, придерживавший левой рукой бессильно висевшую правую и кривившийся от боли, попятился от двери. При этом он натолкнулся на стол, на котором Ивонн оставила снаряжение для сафари. Он схватил здоровой рукой обойму с восемью патронами для охоты на тигров и попытался вставить ее в магазин ружья большого калибра.

Ивонн бросилась на него, но он оттолкнул ее. Потом схватил ружье за ствол и с размаха нанес ей удар прикладом, пришедшийся в лицо. Ивонн отлетела на диван и больше не шевелилась.

Тед наконец ухитрился вставить обойму в ружье. Опустившись на стул, он положил ружье на угол стола и направил его на дверь.

Лезвие сабли в очередной раз пронзило дверь, оторвав от нее очередной кусок толстой доски из тикового дерева.

Тед выстрелил два раза подряд. Лезвие сабли, в этот момент отходившее назад, остановилось.

— Оливье, — позвал Тед, — ты слышишь меня? Ты пытался взломать дверь в мою квартиру, и у меня было право застрелить тебя… И я…

Продолжая говорить, он принялся передвигать к двери сначала один стул, затем второй.

— Не будь идиотом! Послушай, я дам тебе эти три тысячи долларов… С такими деньгами ты сможешь начать жизнь где захочешь…

Сев на один стул, он положил ствол ружья на спинку второго, стоявшего вплотную к двери. Теперь дуло ружья находилось в нескольких сантиметрах от двери, и он мог стрелять в упор.

Лезвие сабли шевельнулось и начало медленно отступать. Голос Теда задрожал, и он торопливо забормотал:

— Не дури, Оливье! У тебя много знакомых парней твоего возраста, у которых есть три тысячи? Ты начнешь потрясающую жизнь! Отбоя не будет от девчонок! И это будут не проститутки, не наркоманки! Перестань, Оливье! Если ты не остановишься, я пристрелю тебя!

Лезвие сабли исчезло за дверью. Наступила тишина, продолжавшаяся секунду. Или вечность.

— Господи, да скажи ты хоть что-нибудь! — взмолился Тед.

Сабля, нанесшая удар по горизонтали, вышибла дверную створку, рухнувшую со страшным грохотом.

Выстрел прогремел через мгновение после того, как сабля снесла дверь.

Ружье упало на пол. У Теда еще нашлись силы, чтобы встать. Из страшной раны на животе струилась кровь. Он обернулся и увидел перед собой Ивонн, неловко державшую обеими руками громадный револьвер, пуля из которого попала Теду в поясницу. Она снова нажала на спусковой крючок и продолжала нажимать, пока не опустел магазин. Пули, вырывавшие куски плоти из спины Теда, отбросили его к стене, где он некоторое время стоял, словно пригвожденный. Через несколько секунд он рухнул лицом вперед.

Оливье прошел сквозь дверной проем. Его лицо было залито кровью. Кровь текла тонкой струйкой и из груди, пробитой пулей из ружья Теда. Передвигаясь с огромным усилием, он медленно приблизился к телу, распростертому на полу. Собрав последние силы, он поднял обеими руками саблю, держа ее вертикально, и замер на мгновение в позе священнослужителя, совершающего жертвоприношение. В этот момент силы полностью оставили его. Он упал на колени; его руки не удержали тяжелую саблю, и она вонзилась в пол в нескольких сантиметрах от шеи Теда.

Чувствуя, что сознание вот-вот покинет его, Оливье ухватился обеими руками за рукоять сабли и опустил на руки голову. В этой позе он походил на статую молящегося рыцаря.

Ослепительная вспышка света ворвалась в комнату через окна, запульсировала и погасла, оставив после себя день, поблекший до уровня ночи. Оглушительный грохот сотряс здание. Горы подхватили грохот и принялись перебрасывать его от ближнего до дальнего конца долины, по которой он прокатывался туда и обратно, словно армада взбесившихся танков.

Последовала вторая вспышка, за ней другие со все нарастающей частотой, и раскаты грома слились в непрерывный грохот с оглушительными пароксизмами и почти тихим рокотом в промежутках.

Каждый раз, когда небо раскалывалось на куски, тело Оливье сотрясала дрожь, рождавшаяся глубоко внутри него. Тело, готовое прийти в себя, боролось с сознанием, старавшимся как можно дальше отложить момент пробуждения и возвращение воспоминаний.

Лицо и грудь юноши были скрыты под бинтами. Остальные части тела, за исключением ног, прикрытых легкой простыней, оставались обнаженными. Их усеивали крупные капли пота.

Стоявший у изголовья Жак с тревогой смотрел на сына. Он появился вовремя, чтобы дать свою кровь для переливания. Врач-непалец сказал,

что Оливье должен скоро очнуться, потому что ему ввели совсем немного анестезирующего состава. Жак потел почти так же сильно, как и Оливье. Его слегка подташнивало и немного кружилась голова то ли от большой потери крови, то ли от отвратительного запаха эфира, заполнявшего все помещения больницы.

Оливье был единственным европейцем в больнице, и поэтому для него была выделена отдельная палата. В других палатах лежали местные жители, которые не стали ожидать в своих хижинах избавления от болезни любым образом, то ли при излечении, то ли от смерти. Они предпочли отдать судьбу в чужие руки. Среди них преобладала молодежь, более восприимчивая к переменам и научившаяся, благодаря влиянию Запада, испытывать страдания и бояться смерти.

Одновременно со вспышкой раздался оглушительный удар грома. Казалось, что столкнувшиеся земля и небо раскалываются и рушатся. Сразу же после этого огромный равномерный шум опустился на город, приглушив непрекращающиеся удары грома и заполнив собой всю долину. Это был дождь. Капли дождя достигали размеров вишни или даже сливы, и все боги, собравшиеся вместе, не смогли бы сосчитать их. Упав на землю, капли взрывались, словно маленькие снаряды, разбрасывая грязь и размывая почву; мгновенно рождавшиеся бурные потоки сносили в ручьи и реки все, что накопилось за год: пыль, отбросы и экскременты. Эти потоки, захватывавшие по пути неосторожных людей и животных, создавали ил, на котором созревали самые замечательные фрукты и овощи.

Великое спокойствие, заполнившее палату, заставило расслабиться напряженные мышцы, успокоило нервы, проводники боли. Оливье перестал дрожать и открыл глаза. Он слышал шум дождя и доносившийся откуда-то издалека приглушенный гнев туч. Он увидел, хотя и очень нечетко, склонившееся над ним лицо, и память вернулась к нему раньше, чем он понял, что это лицо отца.

Жак негромко спросил его о самочувствии. Оливье не ответил. Мир перед его глазами оставался туманным, но в его голове сразу же, как только он пришел в себя, появились четкие картины. Он всматривался в них, он узнавал их, и его охватил ужас.

Он закрыл глаза, но образы, находившиеся в его голове, не пропали, и он знал, что это не остатки кошмара. Все это было в действительности, было… Джейн, распятая в своей постели, Джейн, распластавшаяся на земле с приоткрытым ртом и струйкой крови на губах… Это было реальностью, это действительно произошло, и ничто не могло сделать так, чтобы это не стало навсегда случившимся.

Он опять открыл глаза, увидел потолок над собой и лицо отца. Он попытался говорить; получилось у него не сразу, но все же он смог спросить:

— Это правда?

Жак понял, что он имел в виду, и кивнул несколько раз подряд, охваченный бесконечной жалостью. Да, это было правдой.

Оливье попытался найти спасение в бессознательности и горячке, но даже в этом состоянии он постоянно сталкивался с невыносимой правдой в преувеличенном, уродливом виде. Несколько дней и ночей он боролся с этой правдой.

На Катманду непрерывно лил дождь, затоплявший и промывавший город. Его обитатели открыли для себя зонтик одновременно с колесом. На улицах города над реками желтой грязи возникли реки черных зонтиков. Дети голышом носились под дождем с криками и смехом; они поднимали лица к небу и жадно пили благотворную влагу. Коровы, собаки, все животные купались в потоках, вылизывали себя, терлись боками

о статуи богов. Множество воронов с оперением табачного цвета собралось на крыше большого храма, и дождевая вода стекала по их перьям, не смачивая их. Они хором каркали, выражая таким образом радость и удовольствие. Дождь омывал лики бесчисленных божеств, удаляя с них краску. Скоро они будут выглядеть как новые и будут готовы к новым приношениям. В плодородной земле долины набухали зерна и проклевывались молодые побеги.

Когда Оливье исчерпал все силы, он стал спать спокойно. Он перестал бороться с очевидным и принял истину как данное. Температура у него спала, раны затянулись. Выступавшие под кожей кости скрылись под наросшими мышцами. Он даже смог время от времени беседовать с отцом, навещавшим его утром и вечером, но никогда не возвращался к событиям той трагической ночи. В его глазах что-то бесповоротно угасло. Сейчас они походили на драгоценный жемчуг, который долгое время никто не носил. Про такой жемчуг говорят, что он умер.

Как только состояние Оливье позволило, Жак перевез его в свою квартиру на втором этаже старинного дома. Перед этим он нанял рабочих, которые вставили стекла, постелили в комнатах ковры, развесили на стенах охотничьи трофеи и замечательные картины старых местных мастеров, изображавших похождения непальских богов. Кровати были изготовлены по местному обычаю, то есть матрацы лежали прямо на полу, на тигровых шкурах, простыни были из индийского шелка, а покрывала из тибетской шерсти. Непалец с постоянной улыбкой на лице занимался кухней на плите, топившейся дровами.

На третий день после переезда Оливье смог встать, но не только не вышел на улицу, но даже не стал подходить к окну. Весь день он просидел в кресле, слушая неумолкающий шум дождя и непрерывные раскаты грома в отдалении, с трудом пробивавшиеся к земле через стену дождевых струй.

Вернувшемуся вечером отцу Оливье сказал, что хочет как можно скорее уехать. Жак попытался удержать его, потому что Оливье был еще слишком слаб, но тот стоял на своем.

Они сидели перед камином, в котором горели поленья из какого-то дерева с ароматной древесиной. За их спинами молчаливый босоногий слуга-непалец расставлял на столе глиняные горшочки с мясом, долго томившимся на медленном огне.

Жак рассказал Оливье все, что произошло после того, как он упал на колени перед лежавшим на полу Тедом со свернутой набок головой и разорванной пулями спиной. Ивонн удалось без труда доказать, благодаря шкатулке с наркотиком и шприцу, а также исследованию тела Джейн, что Тед обманом одурманил ее, прежде чем надругался над ней.

— Прости меня, я не должен был говорить тебе об этом, но ты и так представляешь себе случившееся… Полицейские поняли, что ты действовал, восстанавливая справедливость и что Ивонн выстрелила в Теда в тот момент, когда он хотел убить тебя… Виноватых здесь не было… Точнее, виновником стал убитый… Но криминальные истории с европейцами давно стали раздражать местные власти; они не хотят, чтобы мы улаживали таким образом свои дела. Поэтому они сразу же выслали Ивонн из Непала. У бедняги даже не зажил лоб, рассеченный прикладом… А тебя они тоже хотели выслать, как только ты будешь в состоянии вынести путешествие. К счастью, мне удалось убедить хороших знакомых из полиции изменить это решение. Это удалось мне не сразу, и не столько из-за Теда, сколько из-за коровы. Тебе сильно повезло, что она осталась в живых после столкновения с мотоциклом. В конце концов мне сказали, что ты можешь остаться… Кстати, я теперь являюсь единственным владельцем фирмы… Когда я открыл сейф, он оказался набит долларами… Похоже, мерзавец торговал

не только статуями… Он наверняка имел дело с героином. Ты останешься со мной, и мы вместе развернем потрясающее дело… Тед был никуда не годным менеджером, у него не хватало размаха… Конечно, Ивонн ждет меня во Франции, на своем свекольном поле… Но у нас с ней не было ничего серьезного… Признаюсь, я люблю ее, но уезжать отсюда… Ты понимаешь меня? Чтобы я стал заниматься свеклой! У нее все сложилась очень удачно, она увезла с собой все драгоценности, их набралось полный чемодан… Угадай, где я нашел шифр для сейфа? В записной книжке Теда! На букву «с», на слово «сейф»… Он оказался не таким уж хитрецом… А Ивонн быстро утешится, она еще неплохо сохранилась… Но между нами не было ничего серьезного… Просто мне нужен был товарищ, близкое существо… Ну как, ты согласен? Будешь работать со мной?

Жак говорил без остановки. Сначала Оливье смотрел на отца, потом отвернулся и уставился на огонь в камине. Слова сливались для него с шумом дождя и раскатами грома, и все эти звуки не имели никакого значения, они были бессмысленными и бесполезными…

Когда Жак остановился, чтобы перевести дух, Оливье негромко спросил:

— Джейн… Что они с ней сделали?

Жак, собиравшийся продолжить изложение своих планов, замолчал. Он понял, что все сказанное им было сказано напрасно. Через несколько мгновений он пробормотал:

— Ее сожгли…

В камине затрещало полено, выбросив фонтан искр. Оливье вспомнил Свена, лежащего не костре, Джейн, свернувшуюся калачиком в нескольких шагах от огня, и бродягу, прошедшего через два мира…

Никто никогда никому не помогает…

Никто…

Он повернулся к отцу, бросив на него взгляд, как будто вернувшийся к нему с детских лет.

— Что это может значить? Все это? Почему? Зачем мы живем?

Ведь отец должен знать ответ на любой вопрос. Но на эти вопросы Жак не смог ответить. Он только пожал плечами и тяжело вздохнул.

Вся долина Ганга была под водой. После шестимесячной засухи свирепый муссон раскрыл над страной небесные шлюзы. Вода заливала деревни, одну за другой; прежде всего тонули домашние животные, потом вода размывала глинобитные стены хижин, и те рушились, и тогда тонули крестьяне, обезьяны и куры, пытавшиеся найти убежище на крышах. Вода уносила в желтых водоворотах трупы людей и животных вместе с вырванными с корнем деревьями и разным мусором. Грифы-падальщики, усеявшие, подобно черным плодам, редкие выступавшие над водой деревья, время от времени садились на проплывавшую мимо тушу и терзали ее, поспешно взлетая, если она переворачивалась.

Оливье шагал под дождем по залитой водой тропе. Он вылетал из Катманду с билетом до Парижа. При прощании отец напомнил ему, что в университете скоро начнутся занятия и он должен продолжить учебу. Было бы ошибкой оставить университет; он может считать, что всего лишь провел довольно бурные летние каникулы. Но эта шутка смутила самого Жака. После непродолжительного молчания он спросил с тревогой:

— Мы еще увидимся?

Оливье едва заметно усмехнулся.

— Конечно…

Но ни тот, ни другой не были уверены, что так оно и будет.

Оливье отказался от денег, которые хотел дать ему отец. Жак сказал:

— Ты приехал сюда, чтобы потребовать у меня тридцать миллионов, а сейчас отказываешься, потому что я могу предложить тебе только три?

Оливье промолчал. Жак сунул деньги в карман, пообещав отправить их Мартин, матери, Ивонн, кому угодно… Не вызывало сомнения, что очень скоро он снова окажется без гроша в кармане. И тогда он отправится искать новые ничего не дающие ему приключения… Или, может быть, займется свеклой… Несмотря на хорошо сохранившуюся внешность, он был уже не молод, и знал это…

Оливье взял у отца деньги на билет до Парижа, а также небольшую сумму на дорогу. Он не хотел отказываться и спорить. Да и что он мог сказать отцу? Только то, что тот и сам знал. Ему казалось, что слова превратились в пустые фальшивые звуки. Ни одно из них не сохранило свой первоначальный подлинный смысл.

Но когда отец в последний раз обнял его в аэропорту, он уже знал, что не доберется до Парижа.

Когда самолет совершил посадку в Дели, он вышел под дождь из здания аэропорта. Наняв джип, он сумел объяснить водителю, что ему нужно в Талнах. Тот не представлял, где находится эта деревня. Тем не менее он отправился в путь. Ему пришлось то и дело останавливаться, чтобы расспросить о дороге полицейского, бродячего торговца или портье из отеля. Никто даже не слышал названия деревни. Наконец он кое-что разузнал на автовокзале. Полученные сведения напугали его; он попытался объяснить Оливье, что деревня расположена на равнине, затопленной паводком, и проехать туда невозможно. Оливье не понял, что говорит ему шофер, и решил, что тот требует еще денег. И он отдал ему все, что у него было с собой. Шофер поблагодарил Оливье, сложив на груди руки лодочкой, сел за руль и двинулся в путь. Дождь обрушивался на кузов с барабанным грохотом; вода проникала внутрь через самые незаметные щели. Таким образом, дождь господствовал как снаружи, так и внутри джипа. После многих часов пути они остановились на краю бескрайнего водного пространства. Только насыпь, по которой проходила дорога, еще едва выступала над водой. Слева, справа, спереди и сверху, до самых туч, простирался мир воды. Шофер продолжал продвигаться вперед до тех пор, пока дорога не исчезла под водой. Он отказался ехать дальше. Оливье вылез из джипа и двинулся дальше пешком. Водитель некоторое время смотрел ему вслед, пока он не скрылся за завесой дождя. Потом тронулся в обратный путь, двигаясь задним ходом, потому что на узкой полоске дороги не мог развернуться.

Дождь падал с неба, чтобы затопить то, что должно было быть затоплено, чтобы отмыть то, что могло принять облик нового и заставить распуститься то, что должно было родиться. Оливье шагал сквозь падавшую сверху воду и внутренним взором видел взгляд ребенка, ожидавшего от него то, что он когда-то не смог ему дать.

Дождь проникал в него через волосы, заливал лицо, образуя завесу перед глазами, стучал по плечам, пронизывая насквозь одежду, сплошным потоком струился по телу, сливаясь, наконец, с неторопливыми желтыми водами, кружившимися в медленных водоворотах и продолжавшими подниматься.

Оливье шел прямо, никуда не сворачивая. Он знал, что именно так дорога идет по равнине, и если он собьется с нее, то неизбежно утонет. Он шел к образу доверчивого ребенка, устроившегося у него на коленях и уснувшего. А он отодвинул ребенка от себя, чтобы уйти.

Он шел все медленнее и медленнее, потому что вода поднималась все выше и выше. Но ему это было безразлично. Он знал, что придет, когда закончится путь. Он бросил рюкзак, мешавший ему, потому что больше

ни в чем не нуждался. В чудовищной массе облаков над ним непрерывно грохотал гром, словно голос богов, беседовавших друг с другом в бесконечном пространстве.

Скоро Оливье осознал, что оказался обнаженным. Вода, стекавшая по телу, и вода, по которой он продвигался вперед, освободили его не только от одежды, но и от прошлого, от страданий. Обнаженный ребенок шел перед ним, улыбаясь и то и дело протягивая к нему сложенные вместе ладони, словно чашу наполненную водой. Он должен был догнать его и принять это подношение, этот драгоценный дар. Он был не один. С ним рядом шла Джейн, тоже обнаженная, как и он, шли мать, отец, Карло, Матильда, даже полицейские. Все они шли вместе с ним сквозь падавшую с неба воду, обнаженные и избавленные от малейшей лжи.

Когда начало темнеть, он разглядел на горизонте небольшой холм, возвышавшийся над водой, даже не холм, а зародыш холма, надежду на возвышенность, на которой крестьяне соорудили свои жалкие хижины. Он понял, что это и был Палнах, и что его жители, мужчины, женщины и дети, продолжали бороться, чтобы спасти свои колодцы, свой скот, свои хижины и свои жизни с помощью Патрика или какого-нибудь другого европейца. Или вообще без посторонней помощи.

Продвигаясь вперед все медленнее, со все большим трудом, собрав в кулак всю волю, все оставшиеся силы, пробиваясь сквозь толщу дождя, заполнявшего все пространство между небом и землей, он задавался вопросом: найдет ли он в конце залитой водой дороги на еще выступающем из воды холме, где небольшая кучка людей продолжала бороться за свою жизнь, ответ на вопрос, который он задал отцу:

— Зачем мы живем?

Перевод с французского Игоря Найденкова.



ГЕОРГИЙ ПОПОВ

Откуда течет «Нёман»

6 августа 1969 г.

Бывают эпохи, когда правдивое, реалистическое изображение некоторых сторон жизни невозможно. Таковы эпоха Свифта, эпоха Салтыкова-Щедрина... Такую эпоху переживаем и мы, грешные. Трудная эпоха!.. Но в литературе она должна породить нечто своеобразное, иначе литература не выполнит своего долга и окажется просто-таки исторически несостоятельной.

16 августа 1969 г.

Юлька:

— Ой, какой селедка! — И тут же:— Ой, какая селедка!

20 августа 1969 г.

Русская классика (XIX в) в последние годы как-то еще больше выросла, поднялась, приобрела особый вес.

В одной гоголевской «Коляске», оказывается, можно увезти всю послевоенную русскую прозу... А болгарин Эмилиян Станев пошел еще дальше: «Если взять из «Братьев Карамазовых» одну только легенду о Великом Инквизиторе и всю европейскую литературу, то неизвестно еще, что перетянет»! Вот так!

В обоих случаях налицо явные преувеличения. Но сами эти преувеличения в высшей степени знаменательны.

30 сентября 1969 г.

23 сентября в восемь часов вечера умерла мама. Я был на похоронах. Ее не узнать — так изменилась... Она прожила восемьдесят три года и еще несколько дней.

11 октября 1969 г.

Военные сборы. Трехдневные. Организация отвратительная, как и в сорок первом. Час в военкомате, пять часов на сборном пункте. Будь настоящая боевая обстановка, — немногие добрались бы до места назначения.

14 ноября 1969 г.

Почти одновременно получили сигнальный одиннадцатого, вторую корректуру двенадцатого и сдали в набор первый. Таким образом, для нас начался новый, 1970 год. Что-то он нам принесет!

23 ноября 1969 г.

Почему русская литература переживает кризис?

...Чтобы двигаться вперед, нужны новые формы. А это так трудно после Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, Маяковского!

Начало в № 12, 2010 г., № 1, 2011 г.

Другое дело в национальных республиках, переживающих, так сказать, пору первого цветения. Тут и старое (традиционное) сойдет за новое, и Мележ или Нурпеисов могут сойти за новаторов. Само национальное содержание придает их романам свежесть и своеобразие.

29 ноября 1969 г.

Вчера звонок из Центрального розничного агентства.

— Сколько можно заказать «Немана» на первый квартал 1970 года?

— А сколько бы вы хотели?

— Тысяч двадцать-тридцать...

— В розницу?

— Да, в розницу...

— Хорошо. Во вторник мы вам сообщим. Телеграммой.

Через полчаса разговариваю с В. А. Терещенко, директором издательства.

— А бумага? Где взять бумагу?

В самом деле, где взять бумагу?..

11 декабря 1969 г.

Макаенок два месяца был в творческом отпуске. Потом показался и снова исчез — уехал в Москву на пленум творческих союзов.

Редактор-попечитель — это стало модно в наше время. Говорят, Твардовский не каждый месяц является получать зарплату. Носят на квартиру. В газетах, правда, дело иное. На работу редактора ходят каждый день, зато не пишут ничего, кроме разве передовых. Редакторы-чиновники, так сказать.

12 декабря 1969 г.

Кстати, о Твардовском. Макаенок привез с пленума нигде не публиковавшиеся стихи главного редактора «Нового мира», в том числе «Сын за отца не отвечает», — так, кажется, оно называется.

19 декабря 1969 г.

В биографии Хемингуэя, написанной Карлосом Бейкером, есть хорошие слова: «Прежде всего надо держаться»...

Ах, как трудно бывает держаться, особенно в наше суровое, жестокое время!.. Ах, как трудно!..

29 декабря 1969 г.

У нас хороший тираж — 38 351... Но... не хотят давать бумагу. Кризис! Говорят, в будущем году много бумаги пойдет на экспорт, вот и ограничивают. Боремся. Что из этого выйдет, покажет будущее.

31 декабря 1969 г.

Мороз. Градусов, наверное, двадцать с гаком. Нарядили елку. Наташка собирается куда-то к подругам. У них складчина.

Мы — вчетвером — будем встречать Новый год дома.

1 января 1970 г.

Был 1969-й и нет его... Когда-нибудь и о нас так скажут: «Были и — нет их!..»

3 января 1970 г.

Вечер у Зарицкого. Алесь Звонак с женой. Разговор о национальной культуре.

— Мицкевич и Достоевский — наши великие потери...

Чудак, он уверен, что тот и другой белорусы, и только в силу того, что Белоруссия не имела своей государственности, один писал по-польски, другой — по-русски.

5 января 1970 г.

Из ЦК передали статью о романе Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?». Сказали: «Надо напечатать!» Макаенок было похорохорился: «А мы еще посмотрим!» Но скоро сник, а когда говорил по телефону с Кузьминым, — в его голосе появилось даже что-то смиренное, если не елейное.

7 января 1970 г.

Партийное собрание коммунистов творческих союзов. Выступления А. Кулаковского и М. Лужанина — удивительно бесцветные. Зато артист Рохленко молодец. Этот выступил ярко, крупно, значительно.

10 января 1970 г.

Вчера звонок из Москвы. Звонит Макаенок. Не в «Неман» — в «Полымя». Просит Лидию Арабей сходить в «Неман» и передать с глазу на глаз мне, чтобы я немедленно перепечатал статью Вл. Ампилова о романе Вс. Кочетова и переслал в Москву, на имя М. Горбачева. Сегодня послали — не машинописный экземпляр, гранки.

Что бы это значило?

11 января 1970 г.

Кончил перечитывать «Братьев Карамазовых». Это, быть может, самая глубокая и пророческая вещь, какие только создавались когда-либо человеком. «Божественная комедия», «Гаргантюа», «Дон Кихот», «Гамлет», даже «Война и мир» не идут с нею ни в какое сравнение.

30 января 1970 г.

Публицистика М. Лужанина. Дельная по содержанию, но — бог ты мой! — совершенно же малограмотная.

— Я из «Правды» забрал только потому, что там хотели править! — и, разумеется, не позволил нам прополоть эту свою публицистику. С десяток, ну, может, чуть больше правок внесли, а остальное — главный осот! — так и остался.

И еще: кое-где групповщинкой попахивает. Говоря о невиданном взлете белорусской литературы, он называет имена: Купала, Колас, Чорный, Шамякин, Кулешов, Танк, Макаенок... И — ни Брыля, ни Мележа...

14 февраля 1970 г.

По «Новому миру» нанесен удар — и какой! Виноградов, Кондратович, Лакшин... Полетели три кита, на которых держался журнал. Вместо них поставили каких-то никому не известных. Не то поэты, не то журналисты, — кто их знает. Один Рекемчук более или менее известен, но и тот — лучшее из того, что он написал, стоит ниже худшего из того, что когда-либо печатал «Новый мир».

Особенно жалко Лакшина. Он обещал стать крупным и глубоким критиком... Увы!

19 февраля 1970 г.

«Литературка» ударила по роману В. Кочетова. В Минске роман запустили было уже в производство — зачем, почему?.. Но после критики в «Литературке» поступила команда: рукопись забрать, набор рассыпать.

А у нас статья прошла. Мы «свое» мнение высказали. Что делать? Макаенок привез из Ялты пародию С. С. Смирнова «Чего же ты хохочешь?». И сразу: «Давать, давать!» Возражаю: «Так не делают — сами себя не секут! Это только унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Но мы-то — серьезные люди!» И слушать не хочет.

Сдали. Набрали. Отправили в Главлит. Там прочитали... И — началась карусель: Иван Петрович — Александру Антонычу, Александр Антоныч — Александру Трифоновичу, Александр Трифоныч — Станиславу Антоновичу... Пригласили Макаенка. Поговорили. Убедили. Сняли.

Так и остались мы при «своем» мнении.

27 февраля 1970 г.

Читаю роман Ивана Мяло «Раскол». Очень недурно. Во всяком случае, это не хуже всего того, что появляется сейчас в центральных журналах.

9 марта 1970 г.

Алексей Карпюк попросил командировку в Ленинградскую и Московскую области. Звоню Г. В. Коновалову — для того, чтобы дать командировку за пределы республики, нужно его разрешение ...

Коновалов. А в Союзе писателей консультировались?

Объясняю, что командировка — дело редакции и консультироваться в Союзе писателей нет надобности. В конце концов, редакция, а не Союз писателей делает журнал.

Коновалов. Хорошо, позвони в понедельник...

Сегодня звоню опять:

— Давайте продолжим разговор, который мы начали в пятницу.

Коновалов. Насчет командировки?

— Да, насчет командировки Алексею Карпюку.

Коновалов. Ничего не выйдет. Денег нет.

— Как же так, Григорий Васильич? Передо мной финансовый план на семидесятый год. На командировки отпущено восемьсот рублей, а мы пока не израсходовали ни копейки. Наверное, другая причина?

Коновалов. Позвони дня через три.

14 марта 1970 г.

Читаю дневники Бориса Микулича, белорусского писателя, сидевшего в «моих» местах, где-то в Мариинске, кажется.

Впечатление очень сильное. Правдиво, искренне — оттого и впечатляет.

Интересен разговор с М. Л. (Михасем Лыньковым) еще в Бобруйске, когда оба начинали:

— В русской литературе мы потонем, а если будем писать по-белорусски, то еще и поплаваем… — это Лыньков.

17 марта 1970 г.

Командировку Алексею Карпюку так и не дали. Коновалов переадресовал в ЦК, а туда не дозвонились. Наконец махнули на все и вся рукой и, чтобы компенсировать расходы (Карпюк уже съездил), — выписали ему командировку в Гродненскую область. Здесь, в пределах республики, мы сами с усами, и никаких согласований не требуется.

19 марта 1970 г.

Макаенок, что называется, обрадовал нас. Пришел и объявил, что сейчас он едет на дачу, а потом в Москву, на съезд писателей Федерации, и вернется только где-то в первых числах апреля.

Что ж, мы к этому уже привыкли. За три месяца этого года он вряд ли пробыл в редакции три-четыре дня, — то Москва, то Ялта, то болезнь (гриппозное состояние), то опять Москва... Даже зарплату получает раз в два-три месяца.

Парадоксально, но факт: лучшего редактора мы и не желаем себе, потому что этот лучший может оказаться худшим. Особенно в нашем положении и в наших условиях.

23 марта 1970 г.

Аленка читала главу (страниц семь-восемь) из повести «Римские бани». Великолепно, по-моему. Целый день ходил под впечатлением этой сцены — когда Косте Швыреву вручают письмо отца, настоящего, — и думал, как не везет девке. Страшно не везет. Талант — дай бог!— а не может напечатать и строчки. Жалко будет, если пропадет ни за грош.

31 марта 1970 г.

Будущее — это пустое пространство, которое нам предстоит чем-то заполнить.

* * *

Сегодня звонил Василю Быкову в Гродно. Насчет повести.

Оказывается, ничего подобного, из «Нового мира» он и не думал забирать. Слухи оказались ложными. Взять-то он взял, но только на доработку — кое-что поправить, изменить, — и только. Через месяц, по его словам, новая редакция журнала решит, и если решит в отрицательном смысле, тогда он, Быков, пришлет повесть нам, в «Неман»...

4 апреля 1970 г.

У Валентины был очередной приступ стенокардии. Вызвали «скорую», — не помогло. Вторично (уже из лечкомиссии), — тоже. На третий раз забрали и — в стационар. Лежит. Врачи предложили строгим режим, постельный, но утром она уже вставала, чтобы позвонить домой по телефону.

* * *

Лечкомиссия. Новое здание. В палате двое: простор, чистота, сигнализация, туалет, умывальник, питание... Словом, все для аристократов, людей, власть предержащих... Грустно, когда видишь все это. Ах, как грустно!..

Валентине я сказал:

— Я бы, наверное, не смог лежать в этих хоромах. Всякие мысли неизбежно лезли бы в голову, — от одних этих мыслей меня хватил бы инфаркт!..

А Аленка, когда я рассказал ей обо всем, изрекла:

— Люди жестоки и лицемерны. Они думают только о себе, делая вид, будто думают обо всех.

7 апреля 1970 г.

В первом номере «Нового мира» — повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход». Отличная штука! Кажется, никто не писал так сильно о жестокостях мира сего, даже Достоевский. У того все-таки какой-то просвет, какая-то надежда, а здесь — ничего. Мрак. Один мрак.

17 апреля 1970 г.

По пути на работу, возле Дома печати, встретил Ивана Моисеевича Стельмашонка, хирурга, в прошлом — ректора медицинского института.

Довольный, сияющий, даже по-своему красивый в свои шестьдесят с лишним лет...

— Вот... Сигнальный экземпляр! — и показывает изящно изданную книжку, итог его работы по оперативному лечению пищеводов.

Шел со мной до ЦУМа и все говорил о книге, которая, чувствуется, ему очень дорога. Потом мы простились и разошлись.

13 июня 1970 г.

На берегу моря встречается Алесь Махнач. Один. Без молодой жены, с которой он отдыхает.

— Здесь Евтушенко...

— Ну и что?

— Он говорит, что отдал вам в «Неман» свою новую поэму.

— А-а, я знаю... — сказал я, хотя, по правде сказать, я ничего не знал и не знаю. Разговор об этом был (у Макаенка с Евтушенко), но давно...

* * *

На пляже — Евгений Евтушенко. Вместе с карапузом лет двух с половиной, своим приемным сыном. Высокий, худой, с пронзительным взглядом маленьких серых глаз. Он был в трусах и рубашке с короткими рукавами, шел как-то необыкновенно быстро, точно волоча карапуза, и смотрел прямо, не отводя взгляда, и в общем произвел неприятное впечатление. Его можно принять и за гения, и за сумасшедшего. Скорее даже за сумасшедшего.

* * *

Утром идем на завтрак. Возле корпуса, что рядом с нашим, вторым, встречаем Евг. Евтушенко. С сыном.

— Евгений Александрович?

— Да.

Протягиваю руку:

— Будем знакомы...

Потом знакомлю с Валентиной. Он треплет по голове Юльку и — сразу, с места в карьер:

— Я передал вам в журнал новую поэму. Со Шкляревским. Он должен был завезти десятого.

— Увы! Еще двенадцатого я был на работе, а никакой поэмы не видел.

— Где Макаенок?

— Был в Киеве. Сейчас, наверное, уже дома.

* * *

Вечером, после ужина, Валентина и Юлька пошли на детскую площадку. Я сел рядом, в сквере, на скамье, посидел и стал бродить от нечего делать — вокруг клумбы. Вдруг появляется пара: седой, но еще крепкий мужчина, и женщина, моложе его лет на пятнадцать-двадцать.

— Сегодня футбол... Наши играют с уругвайцами.

— Да? Не слыхал.

— Должны транслировать. В девятнадцать или девятнадцать тридцать.

Я сходил в комнату отдыха (она рядом, в десяти шагах) и, вернувшись, сказал, что телевизор включен, хотя никого не видно.

— Еще придут. После ужина. А вы из Москвы?

— Нет, из Минска.

Познакомились. Седой оказался Сергеем Борзенко, журналистом, едва ли не первым из журналистов получившим звание Героя Советского Союза, ныне — зав. военным отделом «Правды».

* * *

Юлька:

— Давай напишем письмо маме.

— Давай. Но как же мы будем писать?

— А я буду говорить, а ты пиши.

— Ну, говори.

— «Дорогая моя мама, я очень хочу, чтобы я приехала к тебе...»

Молчание.

— А дальше? Дальше-то что?

— А дальше ты пиши сам.

* * *

Напротив, через дорогу, кто-то из братьев писателей срезал розу. Смотрительница увидела и давай шуметь:

— Да ты что? Приехал и безобразничать? Думаешь, на тебя и управы не найдется? Я и до директора, до Владимира Михайловича дойду, и милицию, если хочешь, позову...

— Погоди, мать, не кричи!

— Мне годить нечего! Ишь, как до милиции дошло, так сразу погоди! Голова седая, а ума ни на грош... Писатель называется! — и так минут пять.

* * *

Наша литература чем-то похожа на наш футбол — окружена заботой и вниманием, а мяча в ворота забить не может…

16 июня 1970 г.

В день приезда, вернее — наутро, в столовой обращал на себя внимание Алексей Каплер, почти совершенно седой, с Юлией Друниной. Потом они куда-то исчезли, дня два их не было видно, а сегодня опять появились.

Евтушенко для меня существует конкретно, своими стихами, многие из которых представляются мне великолепными. Из Юлии Друниной запомнились только две строчки:

Кто говорит, что на войне не страшно, —
Тот ничего не знает о войне...

А что написал Алексей Каплер? Он кинодраматург, значит, сценарии к кинофильмам. Сценарии не читаются... А знаменитость не меньшая, чем Евтушенко, чем Юлия Друнина!

* * *

Пляж. В проходе (между навесами) разлегся во весь рост Евтушенко. Увидев меня, приподнялся, протянул руку:

— Я сегодня получил телеграмму от Макаенка. Моя поэма идет в восьмом номере. Просит прислать фотографию.

— Ну и отлично! Я рад — и за вас, и за «Неман»!

Спросил, когда сдается в набор восьмой номер, когда выходит из печати. Потом заговорил о том о сем — вразнобой. Разговор продолжался минут тридцать, не больше, а наговорить он успел — бог ты мой, с три короба!

Во-первых, его пригласили в Америку — совершить путешествие на старом пароходе по Миссисипи, — в качестве матроса. Но Московский Союз писателей, в частности, Арк. Васильев, ставит палки в колеса.

Во-вторых, последняя книга («Избранное») набрала заказ на полтора миллиона, а дают только шестьдесят тысяч. Кстати. Ан. Софронов издает пятитомник, так заказов поступило только на семь тысяч, он пошел к Михайловну, клянчил, и тот дал пятьдесят.

В-третьих, если в Америку не поедет, то в августе махнет в Белоруссию. Ведь у него дед родился на Житомирщине, а жил какое-то время в Белоруссии и, кажется, оттуда и переселился в Сибирь.

В-четвертых, в-пятых, в-шестых... И все в этом роде. И — ни слова о стихах, о поэзии, о литературе вообще.

Когда ближе познакомились, я обнаружил, что взгляд у него не такой уж пронзительный, а самый обыкновенный, даже с теплинкой, и лицо обыкновен-

ное... Может быть, пронзительность и сухость — защитная: маска, своего рода стена, которой он хочет отгородиться от любопытных и назойливых?

17 июня 1970 г.

Евг. Евтушенко:

— Как вы думаете, в Минск лучше на своей машине приехать?

Вечером:

— Работать ходил к Марье Ивановне Волошиной, а теперь здесь дали кабинет, во втором корпусе. Комната одиннадцатая. И работать, и спать иногда здесь буду. Там, — кивок в сторону, — невозможно.

...Здесь — это в нашем, втором корпусе, только этажом выше. У нас комната шестая, ему дали одиннадцатую.

18 июня 1970 г.

Ходил на мыс Карадаг. Это километра три, не меньше. Серо, однообразно. Вспоминал Красноярские столбы. Там все мягче, теплее и грандиознее!

Там —

Красноярские столбы
В небо выставили лбы...

А здесь — так, ничего особенного.

* * *

Евг. Евтушенко:

— Читали?— показывает книгу Б. Данэма «Герои и еретики». — Прочтите обязательно. Гениальная книга. Возьмите в библиотеке и прочтите. Обязательно.

Выходит из столовой, перешагивает (не перелезает, а именно как-то перешагивает) через заборчик и топает в свой корпус. Необыкновенно высокий, неуклюжий, и вместе с тем, как будто и ловкий, даже изящный. Впечатление такое, что в нем совмещается несовместимое.

* * *

Вечером, когда показывали по телевидению футбольный матч сборных Италии и ФРГ, вошел в комнату отдыха, осмотрелся. Во втором ряду одно место было свободное, но его кто-то «занял» — повесил на спинку пиджак... Заметив это полусвободное кресло, он быстро прошел к нему, тесня сидящих, взял пиджак, передал хозяину и сел, утопив тело, и так просидел неподвижно до конца первого тайма.

19 июня 1970 г.

На пляже подошел, протянул газету «Советская культура», сказал:

— Прочитайте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы печатаете.

Поговорили минуты две-три, и он ушел в другой конец пляжа, что напротив дома Волошина.

Я стал читать — сперва про себя, потом вслух, Валентине. Это был отрывок из поэмы «Под кожей статуи свободы», которая полностью публикуется в «Немане». Прочитал до конца и, сложив газету, пошел к нему.

Он сидел, подставив солнцу грудь, живот и ноги, с книгой Б. Данэма «Герои и еретики». Я, разумеется, похвалил отрывок, сказал что-то в том роде, что это здорово и, мол, огромное спасибо от имени «Немана». Показал строчки, которые мне особенно понравились. Сел — вернее, полулег — рядом, и мы опять разговорились и... проговорили без малого два часа.

Он здесь работает понемногу, но пишет не стихи, а рецензию на новые книги стихов Семена Кирсанова, Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной.

— Это, оказывается, тоже интересно — писать рецензии!

После паузы:

— А сегодня послал три телеграммы: в Нью-Йорк — одному знакомому капитану по случаю его свадьбы, в Париж — Луи Арагону, — умерла Эльза Триоле, и в Москву — Твардовскому — ему исполняется шестьдесят лет...

Кстати, Твардовский, говорит, обиделся, что он, Евтушенко, передал свою поэму в «Новый мир» уже после того, как он, Твардовский, ушел оттуда.

А сейчас Косолапов предлагает идти к нему — членом редколлегии по поэзии... Вот и не знаю, идти или не идти?

— Конечно, идти!

— Идти-то идти, да...— И он заговорил о возможной реакции тех, кто поддерживал старый «Новый мир». Чувствуется, что это ему небезразлично.

От Твардовского перешел к Солженицыну. Он читал и «Раковый корпус», и «В круге первом»... О первом романе отзывается сдержанно, видно, не все в нем ему нравится. Зато второй — это, по его словам, чуть ли не роман века. Генрих Бёлль, прочитав «В круге первом», будто бы сказал: «Мне стыдно за то, что я прежде писал». Так ли, нет ли, но будто бы есть шансы, что Солженицыну в этом году дадут Нобелевскую премию.

О Шкляревском:

— Пишет бойко, но ему не хватает мыслей. А без мыслей сейчас стихи — не стихи...

И снова:

— Так идти в «Новый мир» или не идти?

20 июня 1970 г.

Яков Владимирович Нейфах, прилетевший в Коктебель вместе с нами, вдруг тяжело заболел. Сегодня утром узнали, что его увезли в Феодосию и что к нему нельзя.

Он любил повторять кстати и некстати одну фразу:

— Главное — быть здоровым...

* * *

Утро. На пляже малолюдно.

Евтушенко вместе с женой заплывает далеко в море и возвращается обратно. Чувствуется, что пловец он отличный.

Потом берет сына Петю, карапуза лет двух с половиной, раза три окунает его в воду, тот отдувается, ежится от холода, но молчит.

Вообще этот Петя презабавный малый, этакий мужичок с ноготок, толстогубый, курносый, очень серьезный. Говорят, Евтушенко взял его из детского дома… В отсутствие отца и матери с ним возится чернявая фрау лет пятидесяти с небольшим, сухая, как вобла, надменная — первая жена Константина Симонова. Она приехала сюда с внуком, таким же карапузом, как и Петя Евтушенко.

Кстати, о Симонове. Они (Константин Симонов и Евг. Евтушенко), кажется, дружат. Во всяком случае, Евтушенко прощает Симонову такое, чего, наверное, не простил бы другим.

Два штриха.

Константин Симонов написал предисловие к поэме «Под кожей статуи свободы» — с этим предисловием она и идет в «Немане».

А вчера, когда коснулись Солженицына, Евтушенко сказал, что в романе «В круге первом» тот вывел некоего писателя, в котором угадывается Симонов. Ясно угадывается… И тут же добавил, что обстановка была сложная, трудная…

— Я посоветовал Солженицыну убрать это место. В романе есть несколько мест, которые надо или убрать, или отредактировать. Я считаю, что их, эти места, лучше сократить.

21 июня 1970 г.

Старика, который считает, что главное — быть здоровым, сегодня на вертолете отвезут в Симферополь, а оттуда — уже на самолете — в Минск.

…Ему так нравилось в Коктебеле!..

* * *

Одиннадцатая комната во втором корпусе. Комната, где сейчас живет Евтушенко.

Небольшая, с балконом, под самой крышей, — как будто взяли и срезали угол... На столе сигареты, тонкая стопка хорошей, плотной бумаги, первые листы исписаны на одну треть мелким почерком — не письмо, а шифровка.

На тумбочке — книги. Стихи Кирсанова, Вознесенского, Ахмадулиной, еще кого-то... Тут же последний, пятый номер «Немана». Наверное, купил в здешнем киоске.

Из разговоров

Показывает Вознесенского, те страницы, где всякие архитектурные фокусы.

— Ненужно все это, — говорю я.

— Конечно, ненужно. Я об этом и пишу в рецензии. Великовата получилась — пятнадцать страниц. Если «Литературка» не осилит, то придется в журнал...

* * *

— Что не дали Гумилева — это понятно, — он враг. А Волошин, Мандельштам?.. Не понимаю. Кстати, в гражданскую — слыхали? — Волошин помогал и тем, и другим. Приходят белые, — он прячет у себя красных, приходят красные, — прячет белых.

* * *

— Рецензии, рецензии...

— Что, лета к суровой прозе клонят?

— А что? Стихи, действительно, пишутся все труднее. Скоро перейду на прозу. У меня задумана (и обдумана) книга рассказов, помаленьку набрасываю большой роман... Давно уже...

И это «давно уже» («давно уже набрасываю») прозвучало так, словно переход к прозе — дело обдуманное и решенное. Твердо решенное.

* * *

Демичев... К этому человеку он относится с особой теплотой. «Демичев сказал... Демичев предложил... Демичев посоветовал...»

— Когда Шолохов привез в Москву новые главы из романа, их не хотели печатать. Демичев тоже был против. Шолохов стал добиваться приема у Брежнева. «Меня сам Сталин принимал...» Ну, потом все-таки напечатали. И сам Шолохов нажимал, и другие не дремали. А Демичев был против. А он знает, что хорошо, а что плохо.

* * *

— Как Быков?
— Живет...
— Трудно?
— Когда трудно, когда не трудно, но — живет! И — работает. Вот в «Новом мире» решается судьба его повести.
— Идет.
— В «Новом мире»? Дай-то бог!
— Точно. Хороший писатель. Я читал его выступление на белорусском съезде — интересно!

22 июня 1970 г.

Алексея Каплера и Юлии Друниной опять что-то не видно. Должно быть, кончился срок.

...7 июля, когда мы вернемся в Шнек, состоится очередная «Кинопанорама». Ее ведет Каплер. Толково ведет. Это одна из лучших передач телевидения.

* * *

— Нет желания пропустить перед обедом?
— Я иду работать.
— А перед ужином?
— Перед ужином — другое дело!
— У меня бутылка «Плиски»...
— Нет, коньяк я не пью. Только вино.
Недоуменно пожимаю плечами. Евтушенко — быстро, почти скороговоркой:
— Я буду пить вино, вы — коньяк. Идет?

23 июня 1970 г.

Вчера вечером мы все-таки собрались выпить. Договорились, что посидим у нас на веранде, на свежем воздухе.

Я уже приготовил «Плиску» и бутылку вина, жду — нет и нет. Поднялся в одиннадцатую комнату, спрашиваю, в чем дело, он потрясает бутылкой:

— Иду, иду!

И вдруг... с балкона входят шахтеры из соседней комнаты, и все рушится. Пришлось остаться. И ему, а с ним и мне. Пил не коньяк, а водку, потом вино. Потом ворвался восторженный корреспондент газеты «Кубань» (г. Крымск, что на Кубани), поставил коньяк и шампанское, стал фотографировать... И шахтеры, и этот корреспондент оказались горячими поклонниками и почитателями Евтушенко. Пили, болтали до девяти. Ровно в девять он встал, раскланялся и ушел смотреть польский фильм «Странный пассажир».

Из застольных разговоров

Один из шахтеров, только что одолевший мемуары маршала Жукова, стал распространяться что-то о Сталине. Так, мол, и так, великий и прочее. Мол, выиграл войну, поставил на колени — и все в этом духе. Евтушенко слушал, слушал, потом с раздражением заметил:

— Войну выиграли не Сталин и не Жуков — войну выиграл русский народ.

* * *

— А кстати, забор-то зацвел! — громко воскликнул он, имея в виду, что его все-таки прорвало, и прорвало не на шутку.

Встал, сходил в свою комнату, принес оттуда три листка, исписанных почти сплошь, — кое-где слова и строчки перечеркнуты, вставки косо падают на поля... Стал читать. Когда читал, глаза его сверкали, и весь он как бы приподнимался вверх.

* * *

— Через двадцать-тридцать лет во всех энциклопедиях будут писать так: «Евгений Александрович Евтушенко, великий прозаик, который до тридцати семи лет писал недурные стихи...»

* * *

Однажды он побывал на Красноярских столбах, даже поднимался — судя по рассказам, на первый столб, — и испытал странное чувство, будто его хотят угробить.

Паренек, страховавший его, отпустил пояс, и он, Евтушенко, чуть не повис вниз головой.

Когда взошли на вершину, он откровенно сказал об этом своем чувстве, то есть о том, что его хотели угробить. Тот паренек заплакал. Заплакал от обиды, что на него пало такое подозрение.

— Стихи о Столбах не пишутся. Может быть, напишу рассказ.

* * *

Сегодня в два часа пополудни Евтушенко отбыл из Коктебеля.

24 июня 1970 г.

В вестибюле столовой — объявление: состоится вечер поэзии... Стихи будут читать Лев Кондырев и еще двое, совсем уж безвестные. Пока был Евтушенко, никаких вечеров не устраивали, а уехал, и вот, пожалуйста...

25 июня 1970 г.

На обеде опять появились Алексей Каплер и Юлия Друнина. Я их встретил возле столовой. Они почему-то пристально посмотрели мне в глаза. Должно быть, приняли за другого. Я поздоровался, они ответили. И пошли — каждый своей дорогой.

* * *

— Юля, пойдем купаться.

Мотает головой:

— Много слишком воды.

27 июня 1970 г.

Администрация Дома творчества знает, кого как встречать.

На первом месте у нее москвичи и ленинградцы, на втором — украинцы (все-таки Крым входит в состав Украины), а потом всякие белорусы, марийцы, узбеки, таджики...

Кстати, Дом творчества принадлежит литфонду, а среди отдыхающих едва ли наберется процентов тридцать-сорок членов литфонда и членов их семей. Остальные — инженеры, шахтеры, жены каких-то пианистов или артистов, — словом, люди, не имеющие к литфонду и Союзу писателей никакого отношения.

В Минске достать путевку в Коктебель — проблема. А здесь легко устраиваются «дикари». И устраиваются даже лучше, чем мы, писатели.

29 июня 1970 г.

Несколько раз встречал Льва Кондырева, но... не заговорил с ним. Он тоже — глянул на меня, но как-то мельком, как бы вскользь, и не узнал. Начисто не узнал.

А ведь когда-то, в сороковом, мы были знакомы. Он приезжал в Анжеро-Судженск записывать сказы шахтеров о Ленине. Был молод, здоров, самонадеян, писал и печатал стихи, словом, весело шагал в свое будущее.

Помнится, раза два он приходил ко мне в избу, «увел» две книги (каких — убей, не вспомню) и быстро, экспромтом сочинил стихи от моего имени, — кое-что осталось в памяти:

Я поэт дидактичный,
Я живу на Кирпичной,
На горе символичной,
Где шумят молодые сады.
В моей стареньkой хате
Возле стен две кровати,
А в шкафу — фолиантов ряды...

Второй раз мы встретились полгода спустя, в январе 1941 года, на конференции молодых поэтов и прозаиков в Новосибирске. Тут уж я побывал у него на квартире, но ни одной книги «увести» не удалось, просто-напросто нечего было «уводить».

И вот третьи встреча... Мы прошли мимо друг друга, и все.

30 июня — 4 июля 1970 г.

Читал Достоевского — «Дневник» и статьи о литературе. Потом — роман-исследование, как автор называет свою работу, — Б. Бурсова «Личность Достоевского». Там есть интересные мысли и кое-что новое для меня о Федорове (в связи с воскрешением предков) и другой планете («Сон смешного человека»). Перечитал «Сон» и вдруг обнаружил, что и я топчусь вокруг той же планеты, только взгляды и подходы, и все у меня свое, не имеющее ничего общего с тем, что приснилось смешному человеку.

* * *

В столовой рядом с нашим — столик, за которым семья, подобная нашей: дед, бабка и внук.

Старик седой, тощий, ничем не примечательный с виду, страстный рыболов, дважды убегал на озеро, что где-то в горах.

Сегодня разговорились с Фарбером о Достоевском, потом перешли к нынешним дням, и вдруг совершенно случайно, как это бывает, узнаю, что этот старик — Ортенберг, бывший редактор «Красной Звезды». Такой скромный, почти незаметный старикашка, а вот поди ж ты…

7 июля 1970 г.

Симферополь. Аэропорт. Душно...

9 июля 1970 г.

Вернулись из Коктебеля. Отдохнули. Здесь узнали, что Аленка переведена на стационар, зачислена на третий курс. Уже есть приказ.

Продолжение следует.



«Свой первый бой я помню только как немую хронику»

О войне в Афганистане много рассказано в средствах массовой информации, за исключением эпизодов, связанных с отрядами специального назначения КГБ. Это была закрытая тема. Поэтому рассказ об одном из спецназовцев — полковнике запаса Олеге Владимировиче Пересятнике, воевавшем в Афгане в составе оперативно-разведывательного боевого отряда «Каскад», проживающем в Минске, будет небезынтересным для читателей.

Родился Олег Владимирович в деревне на Брестчине, но «сознательная» детская жизнь связана с Несвижем, одним из исторических и культурных центров Беларуси (наверное, отсюда увлечение историей). А затем очередной переезд семьи, и оканчивать школу пришлось в Слуцке. Ему нравились гуманитарные и точные науки, увлекался математикой, радиоделом, авиамоделированием, рисованием, музыкой. Но продолжать учебу все же решил в политехе — считал, что «инженер-механик горного оборудования» стране нужнее. По распределению несколько лет работал на одном из предприятий Слуцкого района. Молодого толкового специалиста приметили, избрали комсоргом предприятия. Потом районное руководство предложило возглавить комсомольскую организацию Слуцкого стройкомбината, возводившего большие животноводческие комплексы, — таких было всего пять на весь Советский Союз. А дальше — райком, горком комсомола. Вскоре встал перед выбором: продолжить работу по партийной линии, либо пойти служить. Он выбрал военную службу.

В 1979 году Олег Пересятник окончил Высшую школу КГБ СССР (ныне Академия ФСБ). Стажировался во Франции. Специализировался на обеспечении безопасности режимных объектов промышленности, науки, жизнеобеспечения. Подразделения, в которых работал Олег Владимирович, помогали предотвращать чрезвычайные происшествия на объектах народного хозяйства. Они выявляли недоработки со стороны иностранных фирм на строящихся объектах Беларуси. К примеру, в страну поставлялось оборудование, предназначенное для латиноамериканских или африканских стран. Естественно, при первых морозах оно вышло бы из строя. Оказывали помощь народному хозяйству путем выявления перспективных направлений науки и техники за рубежом, которые можно было развивать у нас — в радиопромышленности, производстве средств связи и других областях. То есть, заниматься приходилось и контрразведкой, и вопросами экономической безопасности страны, и научно-технической разведкой. О том, насколько необходимой была эта работа, свидетельствует целый ряд государственных наград, грамот, поощрений. В 1981 году Олег Пересятник был направлен на Курсы усовершенствования оперативного состава КГБ СССР в Подмосковье.

«Рэмбо» — не наш герой

— Олег Владимирович, какие задачи стояли перед преподавателями и курсантами КУОС КГБ?

— Основной задачей курсов была подготовка сотрудников для работы с началом боевых действий в составе оперативно-боевых групп на территории противника. В течение семи месяцев слушатели проходили специальную физи-

ческую, огневую, воздушно-десантную и горную подготовки. Осваивали минно-подрывное дело, топографию, совершенствовали навыки разведывательной деятельности, изучали опыт партизанской и контрпартизанской борьбы и многое другое. Руководители КУОС были далеки от мысли готовить эдаких «рэмбо» — кровожадных одиночек, способных наводить ужас на целые страны. Требовался мыслящий, высокопрофессиональный воин, готовый и к самопожертвованию, и к принятию трудных, ответственных решений, не порочащих чести офицера.

Каждый знал, что не имеет права бросить товарищей ни в какой ситуации. Однажды на учениях произошел забавный случай. Согласно вводной, один из бойцов был ранен, и его нужно было нести на руках много километров. В качестве «раненого» группа получила 80-килограммовое чучело, набитое песком. Бойцы его, конечно, бросили и шли налегке. На вопрос командира учений, где «раненый», старший группы, не моргнув глазом, доложил, что тот скончался и его пришлось похоронить. Командир среагировал мгновенно: «За мужество при выполнении особо ответственного задания погибший представлен к званию Героя Советского Союза. Принято решение похоронить его на Красной площади». Группе пришлось вернуться за чучелом. Курсантам был преподан ценный урок.

«Будете проклинать этот день!»

— Каким «премудростям» спецназа учили на курсах?

— У нас были не просто инструкторы, которые учили прыгать, нож метать, а преподаватели, профессора. И направляли на курсы людей не просто с хорошей физической подготовкой, а как минимум с одним высшим образованием, имеющим и жизненный опыт. Начальник курсов предупредил «новобранцев»: «Поначалу будет тяжело, станете проклинать день, когда попали сюда. Но потом будете вспоминать это время как один из лучших периодов своей жизни!» Так и произошло. Было действительно нелегко. Утро начиналось с кросса на несколько километров, в любую погоду. Затем рукопашный бой. Ты стоишь в центре круга, несколько человек нападают на тебя. Бьют всерьез, а ты защищаешься. Сегодня я в кругу, завтра кто-то другой. Это притупляло чувство боли, обостряло реакции. Потом занятия — тактика действий спецподразделений, выживание в экстремальных условиях — в классе, на местности. Ночевали в снегу. Когда первый раз в снег закопался, сделал гнездо, — думал, замерзну. А когда проснулся — жарко. Кстати, никто не простывал, не болел.

Вы знаете, что такое «лжебанда»? Представьте, на территории района, области орудует банда (как было в послевоенные годы). В зону ее действий и направлялись оперативные сотрудники под видом бандитов — лжебанда. Они вступали в контакт, входили в доверие к настоящим бандитам, а затем уничтожали их. На курсах учили и этой тяжелой и опасной работе. Занимались разведкой учебных объектов, в роли которых выступали настоящие. Скажем, какой-то промышленный или научный объект. За короткое время мы должны были собрать о нем максимум информации. А там об «учениях», естественно, и не подозревали. Более того, местные органы милиции и госбезопасности получали вводную, что появились подозрительные лица, что-то «вынюхивают». Но не было случая, чтобы кого-то из наших «вычислили». Обучение было максимально приближено к реальным боевым условиям, и столь качественная подготовка впоследствии спасла жизнь многим куосовцам. В том числе в Афганистане. К сожалению, во времена председательствования в КГБ печально знаменитого Бакатина курсы были упразднены. По совету американских «друзей» была уничтожена и уникальнейшая библиотека КУОС.



Полковник запаса
Олег Владимирович Пересятник.

«Не понять, не ждавшим им...»

— Когда после окончания курсов вы были отозваны в Москву и получили направление в Афганистан, какие чувства испытали?

— Мы — дети своего времени, искренне считали, что должны оказать интернациональную помощь народу, который хочет свободы. И воспринимали это, можно сказать, с энтузиазмом. Конечно, когда прибыли туда, определенная переоценка ценностей произошла. Война — не романтика, а грязь, кровь, потеря близких людей. Помню погибшего офицера из Красноярска, с которым вместе учились, у него остались двое детей... А еще запомнились отношения между людьми — чистые, искренние, это подтвердит каждый, кто там был. Фальшь не прощалась. И таких отношений я больше нигде не встречал.

СССР, стараясь помочь правящему режиму Демократической Республики Афганистан, все больше втягивался в войну, которой не видно было конца. Представьте себя оторванным от дома — нельзя и вообразить, насколько недосягаемой казалась родная земля! Природа, быт, люди, даже сам воздух — все казалось иным, «инопланетным» миром. Это надо было пережить, набраться терпения, ждать и надеяться. Даже самые заносчивые, горячие хорошо понимали, что показное геройство ничего не стоит, наскоком только шею сломаешь. И страсти смирялись, надежды хоронились глубоко в сердцах. Мы жили с мучительным вопросом в душе: вернемся назад или нет.

Все это усугублялось тяготами походной жизни. Особенно неустроенным был кочевой быт первых месяцев пребывания наших частей в Афганистане. Переезды со стоянки на стоянку, хлопоты о провианте и самых насущных вопросах требовали неустанного труда. Помню, весь первый месяц ни разу, ни на секунду не снимал с себя форму, так и спал в ней, постелив лишь матрац на землю и укрывшись шинелью. С наступлением весны стала донимать почти шестидесятиградусная жара. Московский генерал, посетивший летом 1980 года Шиндантскую дивизию, был поражен почти средневековыми условиями, в которых находились войска. «Наши солдаты, — сказал он, — достойны награды уже за одно то, что они здесь живут».

Рыцари спецназа

— Как известно, душманы перешли от открытых столкновений с регулярными войсками к партизанским методам борьбы. Противодействовать такой тактике нужно было адекватными методами и средствами...

— И это быстро осознало руководство СССР. Скорее всего, в этом личная заслуга Ю. В. Андропова. Созданные ранее из выпускников КУОС боевые отряды «Зенит» и «Гром» свою миссию выполнили с честью. В июле 1980 г. вышло

постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании отряда особого назначения «Каскад» «для оказания практической помощи афганским друзьям в борьбе с бандформированиями». В него вошли слушатели КУОС и спецрезервисты. Первоначально планировалось отправить в Афган 130 человек, но жизнь внесла коррективы, и в спецподразделение вошло намного больше «каскадеров». Так называли его сотрудников не случайно: слишком явно просматривалась аналогия с известной профессией, связанной с большой степенью риска, профессиональным мастерством и надежностью, смелостью. Отряд был интернациональным по составу — в числе разведчиков были представители 14 национальностей, что не мешало им слаженно и эффективно работать. Хотя «Каскад» был самостоятельным подразделением, он взаимодействовал с частями армейской группировки. У «каскадеров» наладились отношения и с местными жителями. Порой те сами просили им помочь.

«Каскад» аккумулировал в себе боевой опыт ведения так называемых малых войн. Это были мобильные, в значительной мере независимые от Центра группы, представлявшие серьезную силу в борьбе с душманами. Достаточно сказать, что детище известных террористов Хекматияра и бен Ладена — элитное спецподразделение афганских моджахедов «Черный аист» — впервые потерпело сокрушительное поражение именно от «каскадеров». Отборные головорезы, прошедшие подготовку под руководством американских и пакистанских инструкторов, узнав, что поблизости появились «каскадеры», спешили покинуть эти места...

Задачи приходилось решать самые разные — от информирования командования об оперативной обстановке до помощи попавшим в «переплет» советским солдатам. Однажды неподалеку от Кандагара упал наш вертолет. Сообщили своему руководству о случившемся, а сами рванули туда. Бой был неслабый. Отбили вертолетчиков. Жертв с нашей стороны не было. «Каскадеры» вызволяли советских военнослужащих, попавших в плен, искали технику, украденную у наших войск. Помогали местным органам госбезопасности в их становлении. Занимались и тем, что называют политической и экономической разведкой.

Стрельба «по-македонски»

— Приходилось слышать, что «каскадеры» выделялись не только особым, чуть ли не фантастическим боевым мастерством, но и благородством...

— В Афганистане с июля 1980-го по апрель 1984 года действовало несколько спецподразделений «Каскад». Первые три помогли руководству Афганистана сформировать национальные органы безопасности (ХАД), в частности их структуру, занимавшуюся антитеррором. Поэтому главной задачей «Каскада-4» стало оказание помощи ХАДу в выявлении и пресечении подрывной деятельности контрреволюционного подполья, террористических групп. Это спецподразделение направила в Афганистан группа «Вымпел», основным назначением которой были разведывательные действия в глубоком тылу противника, агентурная работа, диверсии на стратегических объектах. Боевую практику чекисты проходили на Кубе, в Никарагуа, Вьетнаме, под видом военных советников в Анголе и Мозамбике. Из таких «командировок» они привезли, например, в подразделение тогда еще малоизвестное искусство стрельбы «флэш» (или по-македонски — комплекс действий человека, вооруженного ручным короткоствольным оружием).

О мужестве и благородстве «каскадеров» говорит следующий пример. 7 июля 1982 года крупный отряд душманов попытался овладеть административным центром Кандагар. Советские войсковые подразделения находились далеко от него. Ближайшей к месту событий боевой единицей оказалась команда «Каскада-4». Спецназовцы действовали решительно и грамотно (а о навыках их снайперской стрельбы говорит хотя бы тот факт, что многие из них со 100 метров попадали

в десятикопеечную монету!). Используя бронетехнику и умение вести бой в условиях города, они сумели вытеснить на окраины значительно превосходящего по численности противника и продолжали теснить его до подхода подкреплений. Благодаря «каскадерам» были предотвращены захват административных зданий, ликвидация партактива и органов народной власти. Результаты боя: 45 убитых и много раненых у противника, 1 убитый и 12 раненых — у наших. А вообще в Афганистане погибли всего шесть офицеров «Каскада», среди них двое из Беларуси: Александр Пунтус и Юрий Чечков. В 1983 году «Каскад-4» сменило другое подразделение «Вымпела» — группа «Омега».

После событий августа 1991 года группа «Вымпел» была передана в Агентство федеральной безопасности РФ. На счету вымпеловцев также немало блестящих операций. Таких, как молниеносный захват итальянских валютчиков и их московских пособников, намеревавшихся наводнить рынок 11 миллионами фальшивых долларов. Или предотвращение попытки вывоза радиоактивных материалов из-под Екатеринбурга.

Приспущенный «Вымпел»

— Спецназ КГБ называли спецформированием, опередившим время...

— После того, как группа отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ (спецназовцы действовали иным способом, выводя из Белого дома людей), ей не простили такого поведения. Указом Президента она была переведена в МВД. Поскольку из более чем 500 ее сотрудников только 50 согласились служить в милиции, группа как таковая перестала существовать. Многие ушли в коммерческие структуры, службы безопасности частных компаний. Позднее в МВД была образована группа спецназначения «Вега», которую возвратили в систему госбезопасности (управление «В» Антитеррористического центра ФСБ России). Сотрудники управления героически действовали в Чечне, несколько из них стали Героями России. Но, к сожалению, накопленный «каскадерами» богатый опыт ведения так называемых малых войн в Чечне практически не использовался...

Дальнейшие события оказались губительными для спецназа госбезопасности. Каждый руководитель более или менее крупной структуры хотел иметь свое спецподразделение. Их расплодилось множество, и вкупе с провалами в чеченской кампании они подрывали доверие к спецназу. Спецподразделение, сотрудники которого не знали слова «невозможно», перестало существовать. Для защиты общих интересов ветераны подразделений спецназначения органов госбезопасности объединились в международную общественную организацию «Вымпел». Эти люди честно выполнили свой долг, присягу, продемонстрировав высочайший профессионализм и мужество. И наряду с ними — заботу о мирных людях, уважение их прав и свобод. Многие из бойцов спецназа, уцелевшие в военных кампаниях, ушли от нас уже в мирное время. Среди них офицеры-«каскадеры», минчане Гарий Грибач, Петр Перевязкин, Михаил Шелягов. Вечная им память...

Герои и «примазавшиеся»

— Олег Владимирович, Вы, конечно же, не раз возвращались мыслями к упомянутым и другим эпизодам афганской войны. Почему Вам хочется снова и снова вернуться к этой, казалось бы, исчерпанной теме?

— Одна из причин — участники войны уходят из жизни. Возможно, виноваты перенесенные стрессы. Уже умер каждый третий вернувшийся с войны в Афганистане. Она продолжает собирать свою дань — в мирное время. Еще

немного статистики: каждый третий погибший там офицер — выходец из Беларуси. Это не может быть забыто... Есть и другие причины. Однажды собрались «афганцы» на Острове мужества и скорби в Минске, у памятника сынам Отечества, погибшим за его пределами. Я был с товарищем, тоже «каскадером». Подходит мужчина лет за сорок, в камуфляже: «Можно к вам присоединиться?» Слово за слово, разговорились. Он сказал, что в 1981—1982 годах служил в Афгане. На вопрос, где конкретно, ответил: «В Кандагаре. В отряде «Каскад». Больше ничего сказать не могу — отряд секретный». Знаете, его чуть не побили! Ведь мы же все друг друга знали поименно, в лицо! И таких «примазавшихся» к отряду, и вообще к той войне, немало, к сожалению.

В некоторых российских документальных фильмах об этих событиях можно увидеть каких-то случайных людей, рассказывающих о каких-то своих «подвигах», которые делятся «воспоминаниями». И поскольку это документалистика, люди верят им... Появляются «сенсационные» публикации, будто «каскадеры» занимались доставкой наркотиков в СССР чуть ли не тоннами (!), переходили нелегально границу и т. п. Конечно, не стоило бы обращать внимания на подобные измышления, если бы они не дискредитировали настоящих солдат и мужчин, тех, кто вынес на себе бремя этой войны, в глазах молодых воинов и тех, кому еще предстоит выполнить свой воинский долг. Они должны знать правду. Меня как-то пригласили выступить перед молодыми офицерами. Честно говоря, идти не хотелось. Думал, мероприятие ради галочки, молодежь будет делать вид, что слушает. Но все же мы пошли с коллегой из «Каскада». И удивились, как внимательно нас слушали! По окончании выступления никто не спешил уходить...

Песчинки в водовороте

— Но ведь случались и преступления — на войне как на войне!

— Конечно! Иные нарочно их совершали, чтобы через тюрьму попасть в Союз, но только не остаться в Афганистане, — было и такое. Надо представить себе всю бесконечную череду будней, иссушающих ум своей монотонностью и одновременно наполненных жестокой борьбой за существование. Обстановка в Афганистане вообще была морально тяжелая. Внезапно оторванные от привычной мирной жизни, от самой цивилизации, мы должны были с ходу сживаться с новым своим положением, что уже само по себе немалая драма. Когда входили в Афганистан первые наши воинские подразделения, в Кушке их провожали толпы растерянных, придавленных горем людей. Никто не понимал, что происходит, многие с ужасом ждали новой всенародной войны. Танки, бронетранспортеры, угрюмые солдаты с автоматами — все было похоже на плохой сон. Сморщенная, вся в черном старушка бросилась к сержанту, который мне это рассказывал, обняла и со словами «Храни тебя Господь, сынок!» перекрестила дрожащими руками. Эта старушка и ее благословение долго потом вспоминались ему...

Чувство общей большой беды владело каждым. Мы вошли в Афганистан на две или на три недели позже, первое потрясение уже улеглось, однако чувство это только усилилось. Особенно угнетало сознание того, что моя жизнь как бы всецело определялась кем-то другим и что мне отведена роль ничтожной песчинки в водовороте. На обычной службе процесс привыкания протекает хоть и болезненно, но все-таки каждый утешается мыслью, что и до него служили, и он отслужит свой срок. В Афганистане этого утешения не было. Помню, на второй месяц в нашем палаточном городке под Кандагаром установили громкоговоритель и по радио передавали песню: «Время мирное, вы вернетесь живыми, вы служите, мы вас подождем...» Наша рота как раз отдыхала после обеда, многие мои товарищи хорошо ее слышали. Сколько было перечувствовано и передумано в ту минуту! Со всех сторон грозила смертельная опасность, вспыхивали

эпидемии забытых в нашей стране болезней. И при виде все тех же пустынных гор не раз подступало отчаяние... Вот это-то пекло мы и вынесли на себе, говоря словами Достоевского.

Молчание солдат

— Говорят, что настоящие герои молчаливы?

— Существует любопытный феномен, который объясняет разницу психологического восприятия боя, например, журналистом и солдатом. Свои ощущения во время боевых действий журналист способен описать весьма красочно. Мысль, что он на войне, вероятно, его беспокоит, но все-таки ощущения неотвратимости своей судьбы у него нет. Между тем как солдат не может рассказать о бое почти ничего. Не то чтобы солдаты плохие рассказчики, — просто они действительно ничего не ощущают. События в бою слишком насыщены, стремительны, нервная система перегружена, чувства притуплены. Человек действует почти машинально. Я спустя много лет помню свой первый бой — но только как немую хронику, почти лишенную эмоциональной окраски и ощущений. Словно это случилось с кем-то другим. Это мне подтвердили и участники Великой Отечественной войны. Свист пуль, грохот выстрелов, даже смерть товарищей в бою скорее только фиксируются глазами, чем доходят до сознания.

— Война в Афганистане стала историей. Не секрет, что в обществе к ней по-разному относятся. Некоторые считают, что та война была позорной, упоминать о ней пристало даже с покаянием...

— Правда в том, что позором покрыло себя только политическое и военное руководство уже не существующей страны. А народ наш и здесь себя не уронил; и из этой войны со всей ее закулисной подоплекой он вышел чистым и незапятнанным. Он по-прежнему способен на великий подвиг. Его традиции, характер и дух не умерли, а с новой силой проявились в современном поколении. Что вообще явилось высшим испытанием наших войск в Афганистане? На мой взгляд, подчинение внешним, неотвратимым, фатальным обстоятельствам и было самым тяжелым испытанием, а их преодоление — высшим подвигом. Который, по сути, остался безвестным.

* * *

Остается добавить, что за войну в Афганистане Олег Владимирович Пересятник был награжден орденом Красной Звезды, другими наградами. Вернувшись на Родину, служил во внешней разведке. В настоящее время занимается вопросами экономики, обеспечения безопасности бизнеса. И, конечно, собирает все, что связано с «Каскадом», полной драматизма, героической историей отряда спецназа КГБ. Недавно ему была вручена российская «медаль Бояринова». Медалью имени Героя Советского Союза Г. И. Бояринова (погиб при взятии дворца Амина в Кабуле) награждаются ветераны, внесшие значительный вклад в становление спецподразделений органов госбезопасности. «Для меня эта тема дорога не только тем, что сам прошел эту школу, Афган. К сожалению, опыт «каскадеров» в условиях возрастания угрозы международного терроризма оказался никому не нужным, — с грустью констатирует Олег Владимирович. — Это показали, например, события в Чечне. Мы с трудом разыскиваем тех, кто был в отряде, их осталось очень мало. Может, скоро никто и не вспомнит, что был «Каскад»...» Что ж, постараемся, чтобы этого не случилось.

Беседовал Геннадий АНУФРИЕВ.

НАТАЛЬЯ ШАРАНГОВИЧ

Удивительные сны и сказки детства

В ее мастерской везде стоят цветы. На столах, на шкафу, на подоконнике и даже на стульях. Теперь, зимой, они сухие, но, собранные в большие букеты, не потеряли своей привлекательности, настоящее чудо, и это радует хозяйку — художницу Елену Георгиевну Лось.

— Оставила в букете листья цветной капусты и сама удивилась, когда обнаружила, какой нежный цвет они, уже засушенные, сохранили. Словно легким инеем приглушились сиреневые тона…

Она и сегодня, уже отпраздновав свое семидесятипятилетие, не может без работы. Известная в Беларуси и за ее пределами как книжный иллюстратор, станковый график, в последние годы Елена Лось занимается живописью, с увлечением пишет натюрморты. И сама признается, что «рука у нее еще крепкая…» Пишет с натуры — летом живые, зимой сухие цветы.

Это ее цветы-портреты с таким восхищением описывала поэтесса Людка Сильнова:

Мастачка малюе букеты —
Нібыта стварае партрэты
Людзей: у настроі святочным,
Прыўзнятым, вясёлым ці змрочным...
У цэнтры — дзівосныя кветкі,
А фонам — фіранкі, сурвэткі.
Абрус, які ўсё аб'яднае.
Глядзі: Беларусь маладая.

Натюрморты Елены Лось с первого взгляда удивляют некой изящной легкостью. Ее живописные работы фактурны, имеют яркое колористическое решение, подвижны и в то же время ритмичны. Художница нашла очень удачную форму подачи, внешне простую и декоративную, но тем не менее она помогает ей передавать глубокие и тонкие чувства — умиления, радости, искреннего, почти детского восхищения жизнью. Недаром она сохраняет в своей мастерской собранные летом цветы — они для нее словно живые, требующие теплоты и заботы.

В ее мастерской не устаешь удивляться: сколько вокруг разных необычных вещей! И симпатичные глиняные котики на шкафу. И куклы, которые делает сама хозяйка из деревянных толкушек, с фантазией раскрашивая их, а потом с удовольствием раздавая своим гостям. И даже расписанные волшебными птицами стеклянные дверцы старого самодельного подвесного шкафчика, который висит около окна... Этот шкафчик из мастерской чем-то напоминает шкаф с глиняными горшочками из полесской хаты (где художница жила во время летних путешествий по Припяти), описанной в стихотворном сборнике Н. Янченко «Лето в серванте».

Главные категории ее последних работ — цвет и фактура. Однако Елена Лось по профессии художник-график. Да еще какой замечательный график и книжный иллюстратор! Кто же не помнит с самого детства оформленных ею



Художница Елена Георгиевна Лось.

книжек с удивительно милыми, живыми героями. Это и сборники белорусских народных сказок «Ох і залатая табакерка», «З рога ўсяго многа», отдельные издания В. Витки «Дударык», З. Бядули «Скарб», А. Дзеружинского «Кую-кую ножку», Н. Гилевича «Загадкі», А. Якимовича «Вераб'ёвыя госці», В. Ядгвдика «Бабуліна варта». Всего Елена Лось оформила около 100 изданий. Среди них «Ляўкоўскі цыкл» на темы Я. Купалы, «Казкі жыцця» на темы произведений Я. Коласа; иллюстрации книг «Слово о полку Игореве», «Золотая яблонька» (с Г. Якубени), «Песни восточных славян» и «Руслан и Людмила» А. Пушкина, «Конек-Горбунок» П. Ершова. Первые издания появились в 1960-х, последние — в 1990-х годах. Многие из них отмечены наградами и дипломами республиканских и международных конкурсов...

Иллюстрации Елены Лось отличаются живым рисунком, точной проработкой деталей, сдержанным, но достаточно звучным по цвету колоритом. Но выделяет художницу среди ее коллег не только техника, мастерство рисовальщика и графика. Самое главное, ее иллюстрирование лишено жестких стереотипов в трактовке образов и построении композиции.

Легко проследить, как происходило становление образного языка художницы — от первых книжек с реалистично нарисованными картинками до последних, где произошли сложные образные и смысловые перестроения на основе этнографического материала, народного наива. В иллюстрациях Елены Лось можно найти и архитектурные мотивы, и многочисленные бытовые детали, и красивые пейзажи, и интересные образные характеристики героев. Во всем чувствуется сказочность и жизненность одновременно, стремление к обобщению, желание показать окружающий мир светлым и радостным.

Елена Лось всегда с удовольствием занималась детскими книгами, потому что именно здесь иллюстрации несут основную смысловую нагрузку, а текст только что-то поясняет или уточняет. Детская книга дает возможность углубиться в сказочный мир, бесконечно фантазировать и играть с героями, их внешним видом, обстоятельствами их существования. Создавая книжные образы, Елена, вероятно, вспоминала свои удивительные сны и сказки детства. Одна за другой выходили замечательно офомленные ею книжки, где можно было рассматривать удивительные города, сказочные цветы и райских птиц. Тема и композиция каждой иллюстрации разные, но художница стремилась как можно больше заполнить страницу и заставить читателя разглядывать детали. А что касается цветовой гаммы, то она всегда у нее тоново богатая. С именем Елены Лось связаны золотые десятилетия белорусской книжной иллюстрации. Ее работы, вместе

с работами А. Кашкуревича, В. Шаранговича, Г. Поплавского, вошли во второй том энциклопедии «Советская книжная иллюстрация», где были презентованы лучшие художники книги советского времени.

Часто задаюсь вопросом: откуда у Елены Георгиевны появилась такая искренняя и мощная национально-этнографическая направленность в творчестве? Со времени учебы в Вильнюсском университете? А может, это идет из детства? Из деревни Лысково, что на Пружанщине, недалеко от Беловежской пущи? Сюда привезли Елену совсем маленькой из Вильно[1], где она родилась 22 января 1933 года. Ее отец, сам родом с Брестчины, учился в Вильно, а вернулся работать доктором в Белоруссию, в деревню Лысково, где маленькая Елена провела семь лет. Девочке запомнились заснеженные хаты, сани, в которых ездили по околицам, большой деревенский дом, где жила их семья, росшие во дворе старые липы, на которые девочка залезала, чтобы осмотреть окрестности...

Мама Елены свободно говорила по-французски и по-немецки, языкам научила и дочку. Девочка же пошла в польскую школу, где начала осваивать еще и польскую грамоту. Однако вскоре отца перевели в соседнюю деревню Могилевцы, где открылась большая больница.

— Как там было красиво! Старый панский сад, озеро, где папа изредка катался на коньках. А я стояла на берегу и с восхищением наблюдала за ним. Именно в Могилевцах меня навсегда очаровала белорусская природа.

Позже семья переехала в Ружаны, некогда столицу князей Сапегов. Запомнились там девочке и костел, и церковь, и старые дома. Но в первую очередь — руины древнего замка. В Ружанах Елена с мамой и бабушкой провели военные годы. Девочке было восемь, но она запомнила чуть ли каждый день оккупации: немцы пришли в Ружаны на вторые сутки после начала военных действий. Отец был на фронте, его мобилизовали из Минска, где он проходил курсы повышения квалификации.

— Хватило всего — голода, холода. Во время войны спасало то, что мама хорошо знала немецкий язык. В нашем доме поселились немецкие лесничие. Маме пришлось пойти работать в бухгалтерию лесничества. Этой профессии пришлось научиться. Да и что было делать: я была маленькая, а бабушка — старенькая. Лесники были антифашистами, и мама помогала им спасать людей. Спасали целыми деревнями. Записывали всех рабочими лесничества. А вот после войны, когда маму вызвали в НКВД, ей помогли люди, которых она спасла, подтвердив ее содействие. И нашу семью не тронули, наоборот, маму назначили работать в местный банк.

Школа в Ружанах во время войны была закрыта, и воспитанием дочки занималась мама. Уже после войны девочка сразу пошла со второго класса в шестой.

— Школьные годы, — вспоминает Елена Георгиевна, — были очень светлыми. После занятий мы оставались с девочками в классе и пели песни. До сегодняшнего дня я благодарна судьбе, что почти с первых шагов своей жизни жила среди прекрасной природы, среди открытых белорусских людей. Может, это сочетание и пробудило во мне художника...

А рисовать девочка начала с детства. Родители купили ей хорошие акварельные краски. Отец и сам любил рисовать. Елена Георгиевна вспоминает его акварель с видом Лысковского костела, которая висела в их доме под стеклом. Кроме этого отец выписывал иллюстрированные французские журналы по искусству. И девочка имела возможность старательно рассматривать репродукции классических картин, которые вырезались и старательно сохранялись в ее семье.

Но никто рисовать специально девочку не учил. В школе даже не было учителя рисования. Елена ходила к подружке, отец которой считался местным художником, наблюдала за его работой, дома же делала иллюстрации к прочи-

[1] Вильно, официальное название г. Вильнюса до 1939 г. — *Прим. ред.*

танным книжкам. Рисовала много и с увлечением. Елена Георгиевна вспоминает, как во время войны ей не хватало бумаги. Помог неожиданный случай. Семья жила в старом деревянном доме, где на чердаке девочка нашла еврейские книги-талмуды с обложками, обтянутыми тонкой телячьей кожей. У книг были широкие белые поля. Елена вырезала из них полоски бумаги и рисовала. Отступая, немцы сожгли не только их дом, но и все дома на улице, на которой они жили. Вместе со всем сгорели и те французские журналы по искусству, и книги-талмуды, и рисунки маленькой Елены Лось.

После войны отец в семью не вернулся. Он остался работать в Минске, стал известным врачом, его портрет работы С. Волкова и сегодня хранится в Национальном художественном музее. Но дочке он все же помогал. Поддерживал материально, особенно когда в 1948 году Елена окончила в Ружанах девять класов и вместе с мамой и бабушкой переехала в Вильнюс, где жили мамины близкие, знакомые. Девочка поступила там в последний класс гимназии. Своим городским одноклассникам она не уступала в знаниях. Скоро выучила и литовский язык. Вообще, языки ей всегда давались легко.

— Я не уставала читать, часто ходила в библиотеку. Познакомилась с немолодым уже библиотекарем, рассказала ему о своем желании рисовать. А он в свое время учился на художественном факультете Виленского университета. Человек этот поддержал меня, рекомендовал необходимую для поступления в университет литературу, показал, как самостоятельно готовиться. И я до сегодняшнего дня ему благодарна.

Решение Елены учиться в Вильнюсе было обосновано еще и тем, что в Минске в то время не было высшего учебного заведения искусства. Театрально-художественный институт открылся только через несколько лет. А на первый курс художественного факультета Вильнюсского университета юношей и девушек принимали даже без необходимого художественного образования, давая им шанс научиться сложной науке живописи и рисунка за первый год обучения. Позволяли также сдавать экзамены на русском языке, хотя обучение велось по-литовски.

Удивительно, вспоминает Елена Георгиевна, но многие из тех, кто пришел, имея предварительное образование, растворились после окончания учебы в общей массе профессиональных художников. Их работы очень редко встречались на всесоюзных выставках в Москве, в оформлении книг. А вот те, кому пришлось немало потрудиться, чтобы догнать своих сокурсников в академических художественных дисциплинах, стали известными мастерами своего времени. Может, это и случайность, но в ней есть большая доля закономерности. Елена каждый день посещала дополнительные занятия, возвращаясь домой очень поздно. Такое старание и стремление к самосовершенствованию не прошли даром, дали девушке необходимую профессиональную подготовку и глубокие знания по технике графики. На факультете работали преподаватели европейского уровня, замечательные педагоги старой еще школы, получившие образование в Париже. Они рассказывали о мировых шедеврах живописи, учили свободе самовыражения, ощущению формы и цвета, мыслить. Они видели в студентах равных себе в будущем мастеров, которых и учить-то надо на собственном примере.

Дипломной работой Елены Лось стали иллюстрации к сказке «Граф и прачка» П. Цвирки.

— В Вильно когда-то жил сын А. Пушкина. Сохранился его загородный дом, построенный на холме в очень красивом месте, рядом с ним каплица. Теперь этот дом вошел в черту города. Раньше всегда, когда приезжала в Вильнюс, я приходила к этому поместью. Мне оно памятно. Когда занималась дипломной работой, рисовала графские апартаменты: красивые кресла, стол, часы на нем, чучело ястреба, множество мелочей того времени — пепельницы, шкатулки и другое. Потом музей закрыли на ремонт и реставрацию. Когда же открыли через десять лет, многое исчезло. Жаль...

Елена Лось могла бы быть литовской художницей. К этому были все предпосылки. В Вильнюсе похоронен ее дед, русский офицер-эмигрант, и бабушка. В Вильнюсе осталась жить ее мама. Елена, наконец, и сама родилась в этом городе. В Минск переехала вскоре после окончания учебы.

У этого события много причин. Начав работать в издательстве в литовской столице, Елена Лось внезапно заметила, что мечты о большом количестве оформленных ею книг не сбываются. Девушка замечательно владела литовским языком, но литовкой по национальности не была. И заказы на иллюстрирование изданий предлагали ей все реже и реже. Пришлось пойти работать оформителем в Высшую партийную школу, рисовать плакаты, оформлять стенды. Однако в этой работе было очень мало творчества.

— Однажды у подруги в гостях мама встретилась с Еленой Аладовой, директором Государственного художественного музея Беларуси. Рассказала про свою дочку-художницу. Рассказала и о том, что я не имею хорошей работы в Литве. И Аладова попросила показать мои рисунки. А их, на самом деле, было немало. Когда я закончила институт, много работала для себя. Аладовой мои работы понравились. Она пригласила меня приехать в Минск, познакомила с главным художником Белгосиздата. И когда мне предложили проиллюстрировать книгу, я использовала довольно редкую тогда технику граттажа — процарапывание пером или другим острым инструментом черной краски, залитой на бумагу или картон, что своими визуальными качествами напоминало гравюру. Всем понравилось. И мне предложили для оформления детскую книжку. Дело налаживалось.

А тут еще судьба свела Елену с молодым человеком. Еще во время учебы в Вильнюсском университете девушка познакомилась со студентами из Москвы, которые приезжали к ним на практику. Подружились. И Елена время от времени ездила к ним в гости. Там и встретила своего будущего мужа Гарри Якубени. Гарри — так назвала его мама, которая была немкой по национальности. А вот отец был белорусом. Но сам Гарри до тех пор ни разу не приезжал на родину отца. Тем не менее, женившись, решил вместе с Еленой перехать сначала в Литву, а вскоре и в Беларусь. Тут свою роль сыграл и интерес к родной земле, к ее культуре, истории. Елену же всегда привлекало белорусское народное творчество.

— Некоторое время я жила в Вильнюсе, а в Минск приезжала работать. Когда же вышла замуж, мы только одну зиму прожили в Литве. Умерла бабушка, а мама встретила очень хорошего человека. И мы с мужем переехали в Минск. Снимали маленькую комнатку, где вмещались только журнальный столик, стол и кровать. Одежда висела на гвоздиках. В такой комнатке приходилось не только жить, но и работать. Большинство первых книжек было сделано на том книжном столике. Работать в издательстве художником-оформителем мне нравилось. Первые книжки мы делали вместе с Гарри. Он любил все придумывать, а я — доводила работу до детального окончания. Мы подписывали книги двумя фамилиями.

К изучению белорусского наследия обоих молодых художников подтолкнул случай, который произошел в 1959 году, когда Елена и Гарри вместе с другом поехали путешествовать по Волге. Проехали Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль. Много рисовали. Ночевали в палатке или просто на вокзалах. А когда вернулись в Москву, случайно зашли на персональную выставку российской художницы Татьяны Мавриной. Ее работы были написаны именно в тех местах, откуда только что вернулись молодые художники. И понравилось Елене, как ярко, свободно, красиво зарисовала Татьяна Маврина уже знакомые пейзажи, церкви, архитектурные памятники, городские улочки. Да и автор оказалась тут же, на экспозиции. Елена и Гарри подошли, познакомились. И с того дня подружилась с художницей...

Вернувшись в Минск, Елена и Гарри под влиянием впечатлений от путешествия занялись изучением родного края, народного наследия. Собирали материалы для будущих работ, путешествовали по Полесью. Все собранное понадобилось для иллюстрирования первой совместной книжки — сказки «Каза-манюка»,

вышедшей в 1961 году. Необычная экспрессивная образная манера была характерной особенностью Гарри Якубени. Каждый зверь или птица были наделены человеческим характером. А вот точность рисунка, детальность проработки, сдержанный колорит выдавал руку Елены Лось.

— Меня всегда тянуло к белорусской этнографии. Может, это мое творческое предназначение. Когда я собиралась на пленэр, сначала изучала книги фольклористов начала XIX века, выписывала тексты местных песен и легенд. Тетрадки с записями у меня сохранились до сих пор. Мы с Гарри ездили по деревням. Зарисовывали в хатах традиционные вещи. Полюбили Витебщину с ее озерами. А все замеченное в путешествиях — от видов орнаментов и вышивок, форм горшков, бытовых предметов до распорядка ежедневной сельской жизни — использовали в иллюстрациях и станковых работах. Я и тут вела свою линию любви к национальному наследию и моему народу. Помню, когда пришлось резать гравюры на темы белорусских народных частушек, нашла возможность познакомиться с Р. Ширмой, чтобы глубже понять смысл национального фольклора и сделать работу по-настоящему аутентичной...

В иллюстрациях Елены Лось всегда много узнаваемых деталей: фасады сельских хат, ворота, горшочки на заборе... Сама художница — приверженец свободной линии, силуэтного рисунка, игры светотеней — работала и в смешанной технике, например, раскрашивала гравюру гуашью. Ее работы выходят за рамки иллюстративности, в них философское осмысление автором мира. А однажды она даже попробовала сама написать тексты и сделать к ним рисунки.

Книжка вышла в свет в 1984 году в издательстве «Юнацтва» и называлась «Дзесяць дзён у Барку». В ней рассказывается про путешествие самой Елены Лось в небольшую деревушку Млынок, разместившуюся на живописном берегу Припяти. Вот только Млынок превратился в рассказах в деревню Барок. Но образ полесской деревни с множеством узнаваемых деталей сохранился. В этом издании видно, как преобладает иллюстрация над текстом, как органично воспринимаются сельские зарисовки с образами соседей и друзей, коровок, гусей, птиц, коней, даже если они соединены с неизбежной условностью художественного произведения. Во всем этом чувствуется влияние принципов иллюстрирования Татьяны Мавриной.

Станковые графические работы Елены Лось вызывают глубокие, не поверхностные ассоциации, провоцируют зрителей на рождение неожиданных образов, предлагают не упрощенные правила, а яркую, запоминающуюся интеллектуальную игру. Именно такой подход, а не внешняя эффектность является особенностью творческого почерка художницы.

Сегодня Елена Лось работает не на бумаге, а на картоне. Привычными средствами графики считаются линия, штрих, контур, пятно и тон. Если еще цвет (а не тон) в графике можно «допустить», то с фактурой все сложней. А у Елены Лось в ее живописных натюрмортах фактура оказалась необычайно богатой, пластически отработанной, вызывает сравнение не просто с живописью, а скорее с живописной майоликой. Художницу привлекают не только декоративные особенности живописи. Ее привлекают красота и свет. То, что сопровождает ее творчество с самых первых самостоятельных шагов.



«Изобразить начало великого перелома»

Пишу почти в самый канун 90-летия со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Павловича Мележа. На рабочем столе — приглашение для участия в торжествах по поводу юбилея, которые пройдут в Хойникском районе, на Гомельщине. На родине писателя, чьи романы несколько десятилетий не выходили из перечня достижений белорусской советской литературы, особенно в статьях, дискуссиях в формате панорамном, олицетворяющем советскую многонациональную литературу. Сегодня такой панорамы нет. Все реже критические обозрения литературы прошедших времен связываются с осмыслением пространства, в котором творили поэты и прозаики на разных языках, с Советским Союзом и советским народом. В общем-то и понятно, почему так происходит. Но в связи с происходящим даже сегодня, всего через два десятилетия после исчезновения с политической карты мира СССР (но ведь жизненное и художественное пространство не только политическими картами измеряется), хотелось бы задаться вопросом: «Иван Мележ. Кто он — всего лишь белорусский советский писатель, оставшийся там, в своем времени? Или же — белорусский прозаик, художник слова, сумевший хотя бы чуточку всмотреться вдаль и предупредить читателя, своими романами, «Полесской хроникой» не только рисовавший известную ему картину жизни, а старавшийся обозначить непростые острые углы будущих социальных и духовных тревог?..» Согласитесь, вопрос достаточно непростой. Не спешите с ответом. Ведь его не «сошьешь» из парадных речей того же Ивана Павловича, лауреата Ленинской премии, депутата Верховного Совета БССР, как и из текстов некоторых выступлений в литературно-художественной и общественно-политической периодике 1950—1970-х. Одни зарисовки по красноречивости могут многое рассказать — 5 мая 1959 года «Литературная газета» публикует небольшую корреспонденцию И. Мележа «В ногу со временем» (в том числе — и о значении публицистики в пропаганде семилетнего плана), 19 января 1959-го в «Вечерней Москве» — статья белорусского прозаика «Цветущая Беларусь», к открытию XXII съезда КПСС, 17 октября 1961-го «Советская Белоруссия» печатает материал И. Мележа «Хорошая пора», «Чырвоная змена» публикует интервью под заголовком «Соединяет сильная дружба», «Правда» — статью «Дыхание правды» (в подзаголовке «Художник и время»)…

Недавно в Москве увидела свет книга известного литературного критика Леонида Теракопяна «Между исповедью и проповедью», составленная из очерков о писателях стран СНГ и Балтии. Нет Советского Союза, но есть территория бывшего СССР, остались народы и литературы. Процитирую отрывок из сборника Л. Теракопяна, кстати, обратившегося и к творчеству И. Мележа: «…Хочется верить, что эти расстыковочные сбои ненадолго. Слишком уж они противоречат как здравому смыслу, так и самому вектору развития цивилизации. А уж на пространствах России — или мире Евразии — они и вовсе опасны, поскольку нарушают естественный кровоток культуры и обрекают народы на отчуждение. Да и вообще тенденции разобщенности в сегодняшней глобализированной жизни заведомо бесперспективны. Ведь суверенитет — это не самоизоляция, а способ вхождения в мировую систе-

му, где для человечества по-своему весом вклад и полуторамиллиардного Китая, и таких малочисленных народов, как чукчи, нивхи или ненцы.

Любые локальные процессы по сути лишь фрагменты целостной мозаики, проявление выходящей за строгие государственные рамки полемики о миссии человека, о его способности сделать наше земное бытие более осмысленным и гуманным».

Так есть ли место в этой мозаике такому писателю, как Иван Павлович Мележ?.. Но, наверное, для начала заглянем в прежние десятилетия, попытаемся сверить ту систему координат, которую устанавливал сам писатель. И не в статьях, к заголовкам которых мы только что обратились, а скорее — в письмах. К литературоведам, переводчикам, издателям, просто читателям… Иван Павлович настойчиво и подробно объяснял те задачи, которые он поставил перед собой, создавая «Полесскую хронику».

15 марта 1961 года Мележ пишет в Минск, теще — Клавдии Ивановне Петровой: «…Сегодня высылаю Вам *ценную бандероль* — роман «Людзі на балоце». Шлю на Минск, почтамт, до востребования, где Вы должны его сразу получить и отдать для срочной перепечатки машинистке…» Так начиналась дорога «Полесской хроники» к читателю. И в этот же день пишет Яну Скрыгану. В основном — об особенностях «жывой палесскай мовы». Роман еще только в рукописи отправлен на перепечатку, но уже и в сердце, в голове у Мележа — особая тревога: «…Судьба моя, можно сказать, в Ваших руках. Буду с волнением ждать результатов».

2 июня 1961 года Иван Павлович отвечает на письмо Я. Скрыгана, который прочитал роман. Сначала отвечает на почтовой карточке: «Твое письмо о романе — одна из самых радостных для меня весточек из родных мест за многие и многие месяцы… Я подумал: может, правда, я не зря влез по уши в свои болота. Влез и не знаю, когда и как выберусь. И вообще выберусь ли, — в то время как другие будут ездить по чудесным дорогам современности». А несколько позже, в тот же день, 2 июня 1961 года, автор романа пишет своему товарищу по литературе и строгому редактору более подробное письмо: «Я, признаюсь, немало волновался, зная, что книга лежит на твоем письменном столе. Волновался потому, что хорошо знал, что при всей твоей доброте ты можешь быть и строгим, как прокурор…» И далее: «…а сейчас меня притягивает земля, поле, хаты наши, я думаю, что эти простые, в чем-то наивные, в чем-то мудрые, страдальцы-люди — и есть основа жизни. Из них берут начало, ими взращены первые ростки, которые дали и пятилетки, и семилетку, и спутник, и космический корабль «Восток». Великий путь испытаний из двадцатых годов к спутнику, и все это прошли люди за полвека жизни — и бесхлебье, и страхи великой ломки, и горе великой войны, и страдания испепеленной земли, — и обо всем этом забыть нельзя, ибо это жизнь людей, миллионов людей, и перед ним следует низко склонить голову. И об этом следует помнить и говорить, писать».

Известный литературовед Федор Кулешов (и еще — добрый друг автора «Полесской хроники») одну из своих книг об Иване Мележе так и назвал — «Подвиг художника». А сам Иван Павлович задумывался, что созданием своих романов о людях Полесья, об их тревогах и выборе он совершает нечто необычное, сравнимое с подвигом… 1 июня 1963 года Мележ пишет Николаю Александровичу Абалкину (в то время — редактору отдела литературы и искусства главной политической газеты Советского Союза «Правда»): «Хочу написать книгу в полном смысле народную, прославляющую народ, его подвиг, проникнутую великим уважением к нему и заботой о нем. Хочу вместе с тем, чтобы она, эта книга, была предельно правдивой: ведь только настоящая, неподдельная правда жизни может дать настоящую красоту искусства». И далее: «Один из главных мотивов «Хроники» — мысль об ответственности человека перед временем, перед делом, которое стало великим делом народа. Чем выше, величественнее дело народа, тем выше и ответственность каждого перед ним, особенно тех, кому выпало на долю быть мастером, бригадиром, руководителем в трудной, огромной стройке. Мотив этот будет одним из важнейших в том романе, который я пишу теперь».



Иван Мележ на берегу Сожа. 1978 г.

Так, может быть, Иван Мележ и совершил подвиг, но подвиг понятный и необходимый лишь только тому времени? И снова — вопрос, ответ на который найти, пожалуй, невозможно. «Хочу довести историю «Людей на болоте» до наших дней», — высказывал желание мастер художественного слова. Не довел, не успел. Хотя и обозначил, главные «гвозди» вбил так серьезно, что по прошествии некоторого времени — об этом сегодня воспоминает и Л. Теракопян — Алесь Адамович (пользуясь черновиками, фрагментами «Хроники», дневниковыми записями полесского вещуна) обозначил общие контуры мележевского проекта» (Л. Теракопян). Алесь Михайлович сравнил замысел гениального белорусского художника с бальзаковской «Человеческой комедией». Впереди должны были оказаться и коллективизация с уже противоречивыми ее итогами, партизанское движение, непростой послевоенный период, конечно же, «преобразование природы», вмешательство в экологию, мелиорация Полесья. Иван Павлович заглядывал на удивление далеко. Не знал еще Мележ о чернобыльской доле своих Куреней…

В середине 1960-х «Люди на болоте» активно переводятся на языки народов СССР и зарубежных стран. В 1963 году роман публикуется в «Роман-газете». В октябре того же года — отдельное издание на украинском языке. В ноябре 1964-го «Люди на болоте» выходят на эстонском. В том же 1964-м — минское издание отдельной книгой на русском (в переводе Наума Кислика). В 1965-м роман увидел свет на молдавском. В 1966-м — на латышском. В том же году «Люди на болоте» заговорили на румынском. А еще — новое издание на украинском (через три года после первого!).

Роман как будто начинает жить сам по себе. Но это — скорее внешнее впечатление. Иван Мележ — весь в «Полесской хронике». Работая над новыми страницами, он не просто спешит дописать «Дыхание грозы» (кстати, первоначально второй роман назывался иначе — «Гроза над полем»), а старается ввести в «Хронику» новое время, новые события, показать развитие, рост своих главных героев. Вот что пишет прозаик ученикам Сватковской средней школы Мядель-

ского района (учителем белорусской литературы там работал краевед Микола Пашкевич, которому Василь Быков посвятил одну из своих повестей) 25 апреля 1966 года: «Как на реальное, живое следует смотреть и на жизнь героев. Так люди жили сорок лет назад, тридцать пять лет назад. И так ломали, калечили их любовь и самые лучшие мечты бедность, безземелье, как калечили они жизнь Ганны, Василя, других героев. Если вы хотите понять героев романов, постарайтесь прежде всего понять *то время*, в котором они жили, особенности тех лет. И Василь, и Ганна, и Никанор — люди своего времени, они зависят от условий своего времени. Наше счастье как раз в том, что многое из того, что калечило людей, что мешало им жить по-человечески, осталось позади».

А ведь для сватковских школьников (пишут же Мележу из Западной Беларуси, где коллективизацией основательно занялись во второй половине 1940-х) время «людей на болоте» и вообще было рядом — лет двадцать назад. И со школьниками, несмотря на их юный возраст, Иван Павлович хотел повести серьезный разговор. Наверное, не только потому, что «Хроника» и ее герои не отпускали, держали «в себе», но еще и потому, что все свое видение мироздания писатель хотел, пытался изложить в своих романах. Иначе бы он и не взялся за столь широкомасштабный «проект». И прав, разумеется, Алесь Адамович, рассматривающий «Полесскую хронику» в совокупности с ее ненаписанными страницами как художественную и социальную «сверхзадачу».

Л. Теракопян — о романах Мележа: «Ощущение такое, словно не автор вел своих героев, а они его. Требовали слова, втягивали в выяснение отношений, втравляли в свои свары и неурядицы. Любой из них мог озадачить, перехватить в свои руки сюжетные бразды. Хоть Василь, хоть Ганна, хоть Евхим Глушак, хоть Хоня Зайчик или болтливая Сорока. Нет в эпопее Мележа ни главных, ни второстепенных персонажей. Каждый способен заварить кашу и завладеть вниманием.

Как и в самой реальности, все тут текуче, неустойчиво, подвижно. Сегодня — взлет, завтра — падение, сегодня — триумф, завтра — поминай как звали».

Оставаясь со своим временем, со всеми его страхами и противоречиями, Иван Мележ настойчиво пытался разобраться со временем, понять, насколько оно все-таки «текуче, неустойчиво, подвижно».

В июле 1966 года прозаик пишет ответ на письмо своего земляка Я. Смоленского, который в то время жил в Киеве: «…приятно получить весточку от тебя, которая для меня прозвучала как далекий и милый голос нашей молодости. Мне очень дорого все, что было в те далекие годы, и каждое напоминание будто возвращает — пусть на мгновение — туда, в ту жизнь, которая с каждым годом уходит все дальше.

Я время от времени езжу в наши родные края, бываю иногда в Хойниках, но вообще-то — признаться, — поездки эти оставляют грустное ощущение. Все вспоминается, и как-то особенно чувствуешь, что все ушло, не вернется».

Так, может быть, не нужно преувеличивать и стоит принять «Полесскую хронику» как яркое художественное решение знакомого Ивану Мележу материала? И только. Ведь и любимый белорусским прозаиком Михаил Шолохов со своей «Поднятой целиной» — уже архаика, лишенная прозорливости. А Мележ когда-то так высоко отзывался о Михаиле Александровиче: «Молодому, поначалу совсем юному, Шолохову, как и некоторым его товарищам, выпала на долю вдвойне трудная задача. Продолжая традиции, они должны были по существу создавать новую литературу, прокладывать новые пути дальше. Решать необычные задачи.

В этих условиях он поставил перед собой цель самой большой сложности: рассказать о невиданной революционной ломке, о кровопролитной битве, о сотворении нового — в самом трудном жанре, в эпопее. Необычно сложным был герой, которого он решил изобразить, — бунтующие, сражающиеся массы, народ, многоликий, многосудебный.

Время, когда он начинал, было очень беспокойное. Нелегко было, когда он писал «Поднятую целину», когда завершал дело многих лет своей жизни — «Тихий Дон».

Шолохов блестяще справился со своей задачей. Он издал произведения, которые стали образцом новой литературы. Он далеко вперед и вширь раздвинул горизонты литературы.

Совершив писательский и гражданский подвиг, всенародно и всемирно признанный мастер литературы, он создал свою замечательную традицию».

И снова — о подвиге. Высота Шолохова как художника не может не вызывать уважения. И Мележ по понятным причинам тянулся к ней. Но как писатель, уже поднявшийся по времени над коллективизацией, над 1920-ми годами, Иван Мележ смог в большей мере осознать всю трагичность деревни. И дело здесь даже, вероятно, не в идеологических, не исключительно в советских политических преобразованиях. Ганна, Василь, другие герои, даже партийный секретарь сельского райкома, их конфликты, противостояния — события из общего процесса разложения многовековых устоев деревенской, сельской жизни. И в этом «Полесская хроника», несмотря на свой «мирный» характер, ближе к «Тихому Дону», его традиции. Шолохов и Мележ — в одинаковой степени звонари, тревожно обозначившие всю трагедийность двадцатого столетия.

«От Шолохова, — писал Иван Павлович в 1975 году, — идут жизнедеятельные токи ко всему лучшему, что есть в советской литературе наших дней, и не только в русской. Думаю, что среди советских литератур нет ни одной, которая — прежде всего проза — не испытала бы благотворного влияния шолоховского гения». Гениальность можно по праву отнести и к свершенному Иваном Павловичем Мележем. Ведь все-таки не важной и по большому счету не существенной с высоты сегодняшнего времени оказывается вся его «советскость». И с точки зрения официальной, биографической. Да, все это было… И высокие государственные награды. В 1967 году советская власть отметила писателя орденом Трудового Красного Знамени. В 1971-м еще один орден Трудового Красного Знамени. В 1972 году Ивану Мележу присуждается Ленинская премия. В том же году автора «Полесской хроники» отмечают званием Народного писателя Белорусской ССР. Не раз И. Мележа избирали и депутатом Верховного Совета БССР. Было и другое. Социалистический реализм не просто предполагал, но и настойчиво требовал: такие панорамные полотна, взрывающие пласты народной жизни, обязаны были вобрать в себя и картины партийного влияния на жизнь деревни, на жизнь человека-единицы. Да, Мележ помнил это ежеминутно, ежесекундно. Но картинки так и остались картинками. А настоящая, вся остальная художественная панорама, пришла оттуда — из родной хойникской деревни, из своей и близких людей памяти. Иван Павлович Мележ как великий и честный художник сумел сказать правду. Не только словами и мыслями своих героев, но и — поступками, характерами, их линией поведения.

Высоту, взятую создателем «Полесской хроники», не так просто достигнуть и тем более одолеть. Критикой традиций, стремлением привнести в поле национальной литературы чужие семена и даже попытками взрастить из них свои цветы многие пытаются отодвинуть явления такого масштаба, как проза Мележа, Чигринова, Адамчика, куда-то в тень. Иногда получается. Но совсем не за счет художественного мастерства, философского осмысления времени, гениальной способности предвидеть завтрашний день. Поэтому верю, что глубоко национальный писатель со своей белорусской «Полесской хроникой» великий Иван Павлович Мележ надолго, наверное, навсегда, останется в истории не просто нашей литературы, но и вообще в истории нашего Отечества.

Михаил ПРИМАКА



Он писал о вечном

«Существует закон в искусстве: чем выше талант, тем, как правило, — сильнее его требовательность к себе», — как-то заметил Мележ. Необычайно высокая требовательность ко всему, что делал, была свойственна Мележу с юных лет. И он хотел идти по литературной стезе «не ветрогоном, а тружеником, с полновесной ношей, со своим искренним словом — работать честно».

Иван Мележ — один из тех художников, с именами и произведениями которых связано мировое значение белорусской литературы. Это человек высокого творческого полета и исключительного душевного богатства.

8 февраля 2011 года народному писателю Беларуси, лауреату Ленинской, Государственной и нескольких литературных премий, автору сборников рассказов и повестей, очерков и эссе, пьес и критических статей, знаменитых романов «Минское направление», «Люди на болоте», «Дыхание грозы», «Метели, декабрь», объединенных под названием «Полесская хроника», — произведений, которые давно стали хрестоматийными, были переведены на многие языки мира и вошли в золотой фонд белорусской литературы, — Ивану Павловичу Мележу исполнилось бы 90 лет.

Иван Мележ родился в деревне Глинище Хойникского района Гомельской области. Окончил среднюю школу с отличием, что давало право поступать без экзаменов в любое высшее учебное заведение страны, и поехал в Москву в надежде поступить в институт. Но обычному парню из полесской глуши в приеме было отказано. Его мечта сбылась только на следующий год: Иван стал студентом Московского института истории, философии и литературы, откуда с первого курса был призван в Советскую Армию. С самого начала войны он на фронте. Долгие месяцы тяжелого отступления, окружения и выходы из них — все это пришлось пережить юному Мележу.

В 1942 году Иван Мележ окончил курсы политсостава, после которых служил в редакции дивизионной газеты. В июне 1942 года в Ростове-на-Дону осколком бомбы ему раздробило правое плечо. Была угроза ампутации руки. Но хирург Антонов, фамилию которого Иван Павлович запомнил на всю жизнь, сказав, что парню рука еще пригодится, прооперировал плечо и спас-таки руку! Правда, последствия этого ранения давали о себе знать на протяжении всей жизни. «Такие жизненные испытания, такие потрясения и переживания не проходят бесследно. С одной стороны, они безжалостно исчерпывают духовную и физическую энергию, отпущенную высшими силами на жизнь для человека. С другой, высвечивая в жизни — особенно ярко и выразительно — хорошее и плохое, светлое и темное, животворное и жизнеразрушающее , формируют человека, творят его духовный мир», — отметил С. Андреюк.

Потом были больницы в Ессентуках и Тбилиси, где Иван Мележ попробовал писать свои первые стихи и рассказы. Много лет спустя он скажет: «К моему счастью, я скоро понял, что по складу своему я не поэт... Считаю, я хорошо сделал, что, не теряя времени, вскоре перешел к прозе». Но еще до этого он вел военные дневники, изданные посмертно под названием «Первая книга». В предисловии к этому изданию Иван Мележ писал: «В этой книге ничего вымышленного. В ней только то, что было. Со мной лично или с людьми... Понадобилось много лет, чтобы я понял, что это само по себе произведение, может быть, не менее значительное, чем вымышленное. Ибо это — живое свидетельство незабываемого, не похожего ни на какое другое время».

Первыми произведениями Мележа, написанными в жанре прозы, были рассказы о войне, которые составили и его первую книгу «В метель», вышедшую в 1946 году. Уже тогда было понятно, что в белорусскую литературу пришел писатель, который стремится к истинному отражению жизни, ищет психологическое обоснование поступков человека, писатель, который способен углубляться во внутренний мир своих героев. Эти произведения несли в себе немало правды времени, выделялись психологической точностью. Их высоко оценил Кузьма Чорный, написав Ивану Мележу: «Я чувствую в вас талант и желаю вам больших успехов».

Поддержка К. Чорного, а затем и высокая оценка А. Фадеевым «Минского направления» были для Ивана Павловича большой радостью. «Все годы светила мне и светит сейчас эта фадеевская доброта», — подчеркнул он в интервью об А. Фадееве.

В творчестве Ивана Мележа «Минское направление» занимает особое место. Ни одно произведение не занимало так много времени, не требовало такого напряжения и такой работы, не приносило писателю столько забот и волнений. Кроме того, этот роман писатель постоянно дорабатывал. Стремясь к широкому охвату реальных событий, Мележ стремился показать всенародный характер борьбы за освобождение Беларуси. В романе действуют десятки героев. Многие из них запоминаются отличительными человеческими качествами, неповторимыми жизненными биографиями, необычными военными судьбами. Читатель видит бессонные ночи командующего Третьим Белорусским фронтом И. Д. Черняховского, суровую борьбу партизан с немецкой армией, неслыханно тяжелую жизнь подполья в Минске, суровые будни танкистов, фашистские концентрационные лагеря и партизанские блокады.

Пять лет напряженного труда над романом «Минское направление». А после журнальной публикации — разгромная статья Ивана Кудрявцева. Изданная уже книга была снята с продаж и на полгода осталась на складах. Не побоялся заступиться за молодого коллегу только Янка Мавр.

Надо отметить, что с издателями Ивану Мележу не везло. Он был уже секретарем Союза писателей БССР, известным в СССР автором, а московская «Художественная литература» предлагала ему сократить роман «Дыхание грозы» наполовину. Ну а работа над последним романом «Метели, декабрь» вообще растянулась на целое десятилетие. И все равно в конце концов пришлось обращаться за помощью к секретарю ЦК КПБ по идеологии А. Кузьмину, который и дал команду публиковать роман без значительных купюр.

Трудно поверить, но народный писатель, лауреат Ленинской премии с огромными трудностями издал свою последнюю прижизненную книгу «Жизненные заботы» — сборник литературно-критических статей, выступлений, очерков, эссе, который как бы итожил его писательский труд. Из этого сборника цензоры выбрасывали целые страницы, где шла речь о нигилистическом отношении чиновников к белорусской культуре, защищались белорусская интеллигенция и белорусский язык. За эту книгу Мележу была присуждена Государственная премия БССР. Посмертно... Хотя выдвигался на награду при жизни... Но отложили, потому что кто-то не так оформил бумаги.

Самой большой удачей стала для Ивана Мележа «Полесская хроника», работу над которой он начал в 1956 году и уже не прекращал до конца своих дней. «Главная мележевская книга подготавливалась всем предшествующим творчеством писателя. И его рассказами, среди которых, в качестве наиболее дорогих для себя, обычно выделял «В метель», «Встреча за городом», «В горах дожди». И повестями, причем, самая первая — «Горячий август» (1946) — казалась ему очень важной», — писал Д. Бугаев. Это был огромный творческий прорыв. Именно она с наибольшей полнотой выявила творческий потенциал прозаика.

«Настоящий писатель пишет не одним тем временем, которое идет на написание раздела, страницы, — он фактически пишет всей жизнью», — определял Иван Мележ специфику литераторского труда. Так создавалась «Полесская хроника», вобравшая в себя много раз передуманное, заветное. Вот почему он снова

и снова повторял: «В каждом из них (героев хроники) частичка моего сердца»… «Я не мог — рано или поздно — не написать эти романы — «Люди на болоте» и «Дыхание грозы», ибо носил их в себе как радость и муку долгие годы. Они часть меня самого — и очень дорогая. Родная деревня, люди, моя юность — все это жило в моем сердце и не давало покоя».

Эпически широко и несколько замедленно, спокойно начинается мележевский рассказ про «людей на болоте». Полноводное художественное течение жизни постепенно приобретает сильное драматическое звучание, проникается глубоким лиризмом, не теряя при этом полноты и жизненной непосредственности.

Жизнь в «Полесской хронике» воспроизводится в такой эпической полноте, где природа и человек, мир духовный и мир материальный едины. Для нее характерно гармоническое соответствие мира внутреннего и внешнего, жизни личной и общественной, характеров и условий. Именно тем, что Мележу мастерски удается достичь художественного синтеза объективного отражения действительности с ее субъективным восприятием и осмыслением персонажами, и обусловлено впечатление полноты и целостности действительности в произведении.

«Люди на болоте» — это наш национальный эпос. Иван Мележ создал то, что немногим удалось в XX веке. В числе удачливых — Уильям Фолкнер и Габриель Гарсиа Маркес, которые историю своего края, «клочка земли величиной с почтовую марку», написали как книгу судьбы своего народа и всей цивилизации. Для Мележа эта земля — Полесье, вся Беларусь. Да, мы — люди на болоте. Вода — самая неуничтожимая и подвижная из стихий, и реки, озера, болота Беларуси делают эту страну «синей-синей» (В. Короткевич). Герои Мележа сражаются за свой клочок земли, отвоевывая ее у воды, и так дорожат этим благом, что порой ставят землю выше семейного счастья. Борьба за существование, за свой удел в жизни знакома каждой земной нации, и этот мотив делает проблематику мележевской хроники универсальной», — отметил Петро Васюченко.

Мир «Полесской хроники» — это богатый реальный мир простых людей в их искренне-душевном единстве с землей, в естественном единстве с природой, в сложном, противоречивом, бытовом и социальном переплетении. Своих героев Мележ показывает во всей их жизненной реальной конкретности. Нельзя представить себе Ганну, Василя, Хадоську, Евхима или представителей старшего поколения без ежедневных забот, без работы, вне дома и семьи. Литературная жизнь героев в хронике воспринимается как жизнь реальная. Они словно выхвачены из жизни, но не отделены от нее.

С особым поэтическим мастерством и индивидуальной неповторимостью, социально и психологически глубоко написан образ Василя Дятла. Василь на страницах хроники живет. Живет присущей только ему собственной жизнью. Живет, как его односельчане, и вместе с тем, его жизнь ни на чью не похожа. Так может жить только он один. В мыслях спорит с Ганной и с теми, кто, по сути, заставляет вступать в колхоз, и в этом споре высказывает самое заветное: «Отдай свое поле, где каждый стебелек, кажется, согрел бы сам! Шел бы от одного к другому и дышал бы на него, чтобы не мерз! Отдай чужому, которому на него наплевать! И сам работай неизвестно на кого, невесть за что!..» Или: «Отдай поле, обобщи! Отдай поле — ето все равно что — отдай душу! Попробуй, оторви душу!» — словно говорил он Миканору. Потом бросил говорить ему; обежав взглядом полосу, подумал про себя: «Вся сила человека — в земле. И сила вся, и радость! Нет земли — нет, считай, и человека!»

С. Андреюк подчеркнул: «Земля — как будто магнитное поле, вокруг которого группируются, к которому тянутся все герои. Мележ исключительно глубоко, сильно, нисколько не уступая в этом плане ни Я. Коласу, ни К. Чорному, развивая их традицию, показал органическую, как бы даже стихийную, неотделимую от самой сути человека, связь крестьянина с землей. Земля — основа его жизни, его жизнь, радость и горе, светлые мечты и горькие разочарования».

С не меньшей убедительностью, правдивостью и большой художественной силой представлены и другие образы хроники. Ганна, старый Глушак, Башлыков,

Миканор, Апейка, Хадоська... Эти масштабные, многогранные и очень органичные характеры выписаны с неповторимой художественной убедительностью. Каждый из них наделен своей личной биографией, у каждого свой глубокий внутренний мир, своя психология. Каждый неповторим в своей человеческой характерности, идейной и психологической содержательности. И это относится ко всем персонажам, как положительным, так и отрицательным.

События, особенно важные, переломные в жизни героев, определяющие в идейном смысле, раскрываются в разных поворотах, подаются в самых противоречивых оценках. Все это обусловлено главной авторской задачей: дать возможность героям самим сказать о себе, выразить именно свою правду, исследовать человеческую судьбу в сложное время. Для этого нужно было высокое мастерство психологического анализа, тонкое ощущение слова, совершенное владение богатством народного языка. Мележу это блестяще удалось. Сегодня известно всем, что героев «Полесской хроники», без которых он, как сам говорил, не представлял своей жизни, Иван Мележ не дописал так, как хотел. Но, как справедливо заметил Д. Бугаев: «...и того, что удалось сказать о полешуках, достаточно, чтобы они навсегда остались в сознании белорусов — пока мы будем существовать как народ, как нация. Потому что герои рождены сложным и противоречивым временем. Они несут в себе наши слабости и силу, поиски, муки, радости и беды, нашу трагическую историю на ее крутом переломе, нашу жизнь».

В предисловии Алеся Адамовича к «Собранию сочинений Ивана Мележа» есть такие слова: «Для Мележа родная литература — какой он хотел ее видеть и которую делать хотелось, — это часть, проявление самой жизни. Как хлеб сеять или дом строить. Очень уж по-народному, просто по-крестьянски выкладывался он на литературной ниве, с не меньшим упорством, чем его герои на своей. Недаром одну из своих книг Иван Павлович мне подписал: «От Василя Дятла».

В произведениях Мележа неповторимо сочетались глубокомыслие исследователя народной жизни и тонкая наблюдательность художника. Его книгам присущи психологическая правда и эпический размах, социальная масштабность и суровый драматизм жизни. Они насыщены яркими народными характерами-типами. Они вобрали в себя богатейшие языковые сокровища народа.

Будучи мастером широкого творческого диапазона, Иван Мележ внес также значительный вклад в развитие белорусского театра. Его пьесы «Пока вы молоды» и «Дни нашего рождения» пользуются заслуженным успехом у зрителя. Публицистическим выступлениям писателя, научным исследованиям и критическим статьям, собранным в книге «Жизненные заботы», характерны правдивость оценок, философская глубина, высокий гражданский пафос.

Много сил Иван Павлович Мележ отдавал общественной деятельности. Он был членом Всемирного Совета Мира, председателем Белорусского комитета защиты мира, председателем Белорусского отделения общества «СССР — Франция», депутатом Верховного Совета БССР, членом правления Союза писателей БССР. В течение многих лет работал секретарем, а затем заместителем председателя правления Союза писателей БССР.

Главными критериями творчества для Мележа стали вечные ценности — правда и человечность. Утверждение гуманного отношения к человеку через всестороннее, глубоко истинное отражение и аналитическое осмысление действительности — в этом эстетическая сущность произведений писателя.

Ивана Павловича Мележа нет с нами вот уже более тридцати лет. А его книги живут. Живут активной общественной и литературной жизнью. Являясь примером служения творца истине и человеку, они и сегодня заставляют читателя серьезно думать и над прошлым, и над настоящим, и над будущим. Потому что над написанным в них не властно время.

Потому что они о вечном.

Елена МАНКЕВИЧ

Евгений Глебов.
СУДЬБЫ СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ.
Воспоминания, интервью, посвящения, эссе. Составитель Лариса Глебова.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Издательство «Мастацкая літаратура» приступило к осуществлению еще одного проекта, который, несомненно, найдет своих почитателей, — «Беларусь музычная». Новую издательскую серию разработали Владислав Мачульский, Виктор Правдин и Виктор Шнип. Отрадно и то, что первенцем в новой библиотечке стала красочно оформленная книга, посвященная жизни и творчеству народного артиста СССР Евгения Глебова. Хотя в Беларуси и немало композиторов, известных и за пределами страны, Е. Глебов в этом списке был, безусловно, одним из первых. Хотя, почему был? Евгений Александрович по-прежнему живет среди нас своими замечательными произведениями, а это симфонии «Партизанская» и «К миру», балеты «Альпийская баллада», «Избранница», «Тиль Уленшпигель», «Маленький принц», опера «Мастер и Маргарита». Облик Е. Глебова — композитора, человека, замечательного нашего современника, восстает из воспоминаний тех, кто его хорошо знал (среди них, например, народный писатель Беларуси Василь Быков), а также тех, кто писал о нем и его творчестве. Пищу для размышлений дают и рассуждения самого Е. Глебова — «Отрывки из ненаписанного».

ЖИЗНЬ НА ПУТИ ПРАВДЫ.
Митрополит Филарет из рода Вахромеевых. Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2010.

Красивая, со вкусом оформленная книга «Жизнь на пути правды» (кстати, на Национальном конкурсе «Искусство книги-2010» она отмечена дипломом II степени в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия») посвящена 75-летию Высокопреосвященного Филарета (Вахромеева), Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Почему такое название, можно узнать из эпиграфа к третьей ее части. «На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти», — так звучит одно из высказываний Книги Притчей Соломоновых. Стремлением к правде в широком понимании этого слова воспринимается жизнь и пасторская деятельность и Митрополита Филарета. Между прочим, так же достойно и честно жили и его предки. О происхождении рода Вахромеевых, о наиболее ярких его представителях, а также о родителях Владыки можно узнать в первой части издания — «История рода Вахромеевых и семейная хроника Варфоломея Александровича Вахромеева», где представлена семейная летопись, составленная в свое время отцом Патриаршего Экзарха всея Беларуси Варфоломеем Вахромеевым. Вторая часть, «Владыка Филарет: «...Как в любой патриархальной семье», это исповедь митрополита, который возвращается в годы своего детства и юности, рассказывает о том, как постепенно убедился, что его путь — это путь служения Богу. Третья, заключительная часть «Предстоятель Белорусской Православной Церкви» — повествование о том, как «более тридцати лет жизнь Православия на земле Белой Руси окормляет Митрополит Филарет (Вахромеев)».

Сяргей Кавалёў.
ШМАТМОЎНАЯ ПАЭЗІЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ЭПОХІ РЭНЕСАНСУ.
Мн.: Кнігазбор, 2010.

Неоднократно обращаясь к истокам белорусской поэзии, о чем, в частности, свидетельствуют предыдущие книги этого автора «Героіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца XVI ст.», «Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу», «Літаратура Беларусі позняга Рэнесансу: жанры, творы, асобы», Сергей Ковалев в монографии «Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу» подробно воссоздает историю развития поэтического жанра в Литве и Беларуси в XVI—XVII веках. При этом он не только опирается на свои прежние публикации, но и успешно вводит в научный контекст сведения, полу-

ченные в результате новых изысканий. О большой проделанной автором работе свидетельствует уже то, что только список привлеченной литературы насчитывает десятки наименований как на белорусском, так и на украинском, русском и польском языках. Эта книга будет интересна не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей национальной изящной словесности.

Алесь Марціновіч.
РАГНЕДА І РАГНЕДЗІЧЫ.
Гісторыя ў асобах.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

К своей новой книге «Рагнеда і Рагнедзічы» Алесь Мартинович не случайно взял эпиграфом одно из высказываний русского фольклориста и археографа Петра Киреевского: «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства — беспамятность, что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти». Ни в одной летописи не встретишь понятия Рогнедичи. Только не надо забывать, что у славян особо почиталась женщина, благодаря которой и продолжался род человеческий. Так кто же они, Рогнедичи? Да те, кто не может не вызывать у нас, белорусов, чувства национальной гордости: сама Рогнеда, ее сыновья Изяслав, Ярослав (тот самый Ярослав Мудрый), Мстислав, дочки Ярослава Владимировича, а следовательно, Рогнедины внучки Анастасия, Анна и Елизавета, ставшие соответственно венгерской, французской и норвежской королевами. В книге есть место приключениям и интриге, измене и любви, а за всем этим — жизнь тех, кого мы, белорусы, должны всегда помнить, ибо они — кровинка нашего народа.

Уладзімір Ліпскі. АЗБУКА ЖЫЦЦЯ.
Кніга для дзяцей.
Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2010.

«Азбука жыцця» Владимира Липского совсем не похожа на те занимательные азбуки, которые до этого писали наши писатели и поэты. В ней в алфавитном порядке представлены все буквы и соответственно — понятия, начинающиеся с той или иной из них, но поскольку охват материала широкий, получилась своего рода небольшая, компактная энциклопедия. Эта книга, безусловно, заинтересует и старшеклассников, ее смогут использовать в своей работе учителя, а также воспитатели. Да и родители. В. Липский объясняет значение не только тех понятий, которые, как говорится, на слуху. Нашлось место и таким, как «бюджэт», «дыпламатыя», «канстытуцыя», «нацыяналізм», «рэферэндум», «цывілізацыя», «эканоміка»... Завершает книгу статья известной исследовательницы белорусской детской литературы Маргариты Ефимовой «Верны сябра дзяцей», в которой подробно рассказывается о жизненном и творческом пути В. Липского.

Міхась Пазнякоў.
ПАМІЖ РАДАСЦЮ І БОЛЕМ.
Апавяданні, эсэ, абразкі, гумар.
Мн.: Чатыры чвэрці, 2010.

Во многих произведениях, составивших новую книгу Михася Позднякова «Паміж радасцю і болем», звучит тема «малой родины». «Усе мы з хат», — както точно подметил Янка Сипаков. «Хата» М. Позднякова — его родная деревня Забродье, находящаяся в Быховском районе. Бывая в ней, писатель и в самом деле находится как бы «паміж радасцю і болем». Радостно ему оттого, что можно соприкоснуться с местами, исхоженными некогда. Грустно — потому что сегодня это уже не та деревня, которую он помнит с детства: в ней осталось только несколько хат, да и то не во всех из них живут люди. Что ж, такая наша нынешняя действительность, когда многие расстаются с отчим краем и только через время понимают, как много они утратили. Обо всем этом и пишет М. Поздняков. Его произведениям присущи элегическое настроение, задушевность и чистота. В книге также есть и юмористическая подборка «З новым падыходам», которая получилась очень интересной.

Евгений БОРКОВСКИЙ

Авторы номера

ДУДАРЕВ Алексей Ануфриевич. Родился в 1950 г. в д. Клены Дубровенского района Витебской области. Окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. Драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей. Награжден орденом «Знак Почета», лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1982), премии Ленинского комсомола (1984), Государственной премии СССР, премии «За духовное возрождение», Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Живет в Минске.

БАДАК Алесь Николаевич. Родился в 1966 г. в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Главный редактор журнала «Нёман». Автор сборников поэзии «Будзень», «За ценем самотнага сонца», «Маланкавы посах», книг для детей «Верабей з рагаткай», «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» и др. Живет в Минске.

САЛАМАХА Владимир Петрович. Родился в 1949 г. в д. Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист. Автор книг прозы «На ўзмежку радасці», «Прывід у скураным крэсле», «Напрадвесні» и др. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

ПРОХАР Маргарита Петровна. Родилась в 1979 г. на Гродненщине. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета, аспирантуру при нем. Автор книг рассказов «Навстречу солнцу» и «Приближение». Живет и работает в Минске.

СИПАКОВ Янка (Иван Данилович). Родился в 1936 г. в д. Зубревичи Оршанского района Витебской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг поэзии и прозы. Лауреат Государственной премии БССР, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Живет в Минске.

ШАБОВИЧ Микола (Николай Викторович). Родился в 1959 г. в д. Бадени Мядельского района Минской области. Окончил Минский государственный педагогический институт имени М. Горького, где и работает сейчас. Кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусского языкознания. Автор ряда поэтических книг. Живет в Минске.

ПАРХИМОВИЧ Наталья Альбертовна. Родилась в г. Хабаровске (Россия). Окончила Белорусский государственный университет. Много лет проработала в редакции журнала «Нёман». В настоящее время — заведующая отделом литературного редактирования РИУ «Литература и Искусство». Живет в Минске.

БАРЖАВЕЛЬ Рене. Французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе. Родился в 1911 г. в г. Ньон на юге Франции. Окончил коллеж Кюссе возле Виши. Считается первым автором французской научной фантастики XX века. Работал в кино (сценарист, диалогист), в основном с режиссером Жюльеном Дювивье. Умер в 1985 г. в Париже.